



Ирина Батакова

БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СЕРЫЙ

«Русский Гулливер»

Москва

2020

УДК 821.161
ББК 84(2Рос=Рус)6
Б48

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Издательский проект «Русский Гулливер»
Руководитель проекта
Вадим Месяц

Ирина Батакова

Б48 Белый, красный, черный, серый. — Роман — М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2019. —250 с.

*В оформлении обложки использована картина
Натальи Залозной*

Россия, 2061-й. Два непересекающихся мира: богатая хайтековская Москва — закрытый мегаполис для бессмертных, живущих под «линзой» спецслужб, и Зона Светляков — бедная, патриархальная окраина, где жизнь течет по церковному календарю. Главные герои — 90-летний старик и 16-летняя девочка. Он — московский профессор, научный гений, который пытается разгадать тайны человеческого мозга, она — случайная жертва его эксперимента. Но жертвой оказывается сам экспериментатор.

ISBN 978-5-91627-235-2

© И.Батакова, текст, 2019
© Русский Гулливер, издание, 2019
© Центр современной литературы, 2019

1. Письмо

*«Профессору Леднёву Д. А.
от следователя Отделения Духовной Безопасности
при Комитете Тайных Дел
Дурмана И. А.*

Уважаемый Дмитрий Антонович!

Обращение мое к Вам связано с делом вандализма и богоборчества, а именно — с поджогом храма св. Стилиана (приход ДГ-8 Энского уезда). По сему делу проходит у нас заключенная №1097 (далее — зэка-1097), девица 16-ти лет, которая была включена в программу испытаний вашим РЕВ-препаратом и с 11 сентября сего года переведена в Тюрьму Секретного Режима г. Москвы, где и находится по сей день.

Результаты экспериментального нейродопроса под РЕВ-препаратом, проведенного 12 сентября с. г., были признаны Комитетом как чрезвычайно спорные.

Так, например, из расшифровки нейрограммы следует, будто бы зэка-1097 обладает даром вангования. Однако вся практика нашего ведомства отвергает чудеса. В связи с чем мы имеем непростительные сомнения в том, что Ваш РЕВ-препарат соответствует заявленным характеристикам.

Просим в кратчайшие сроки развеять их.

А до тех пор Комитет будет вынужден заморозить производство РЕВ-препарата и остановить работу Вашей Лаборатории Памяти.

*С глубочайшим почтением и надеждой на понимание,
всегда Ваш
Дурман И. А.
ОДБ КТД
среда 07:05
18.09.2061».*

Леднев с брезгливой поспешностью сворачивает экран. Как будто это может отсрочить катастрофу. Переключает линзу в режим обычного зрения. В комнату сквозь циновку падает косыми полосами солнечный свет. Прекрасное осеннее утро. Если бы не Дурман.

Какой-то приход ДГ-8... Детский Город? Энский уезд... Где это? Какая-нибудь тьмутаракань, медвежий угол, чипированные пейзажи, которые отсчитывают дни по церковному календарю. Не дай бог, еще придется ехать туда, в зону светляков. Зона светляков... Он поморщился.

А все-таки надо что-то ответить. Чем раньше, тем лучше. Дмитрий Антонович развернул воздушный дисплей и снова открыл письмо. Так. Главное, не суетиться. Четко, кратко, по делу. Телеграфным стилем. Но и чтоб не очень сухо. Чуть сервильно и с душой.

«Всегда готов к сотрудничеству. Прошу выслать материалы дела. И расшифровку допроса в исполнении грамотного ретранскрибатора с научной степенью в области нейрокомпьютерной лингвистики. Уверен, что смогу разрешить недоразумение сразу же, как ознакомлюсь с деталями. Сердечно признателен за оказанное мне высокое доверие. Профессор Леднев Д. А.»

Подумал, удалил фразу про сердечную признательность и нажал «отправить».

— Глаша! Кофе подай! И что там у нас на завтрак... — крикнул по пути в ванную.

В коридоре его догнало еще одно письмо. Оно было написано стилосом от руки, изукрашено буквицами и пересыпано архаичными смайлами:

«Деда, здрав будь! :) Муха ву хьо?¹ Выручи, а?))) Мне буквально двух сомов² на петар³ не хватает (((((Кинь мне на счет, а лучше три, лады? Я у тебя в долгу!!!)))

*лобзы,
твой првнк
Глеб».*

«Что за манера у молодежи все мешать в одну кучу: и эти допотопные двоеточия со скобками, и новомодный волапюк», — проворчал Дмитрий Антонович.

¹Как ты? (чеч.)

²Сом — тысяча рублей (сленг, чеч.)

³Петар — квартира (сленг, чеч.)

Он перевел деньги, встал под холодный душ — и на несколько минут, пока ледяные иглы жалили и прошивали его насквозь, обо всем забыл — только рычал, шипел и фыркал. Затем долго и жестко, до красноты, растирался полотенцем, с удовольствием и уважением разглядывая в зеркале свое длинное, крепкое, как доска, тело. Ему нравилась собственная старость. И сухие жилистые ноги, и покрытый седой кудрявой шерстью пах, и безупречно лысый череп, сверкающий бликами под лампами ванной. Он не жалел о глупых нежных локонах, которые давно и быстро растерял. А уж тем более — о своем молодом лице. Треугольное, с узким подбородком и выпуклыми, широко расставленными глазами — так, что они казались приделанными по бокам, у самых висков, — оно выглядело безвольным и комичным, пока он был юн, курчав и круглощек. С возрастом оно высохло, затвердело, щеки благородно впали, скулы заострились, глаза приобрели металлический блеск — и теперь во всех его чертах появилась какая-то сила и хватка, что-то даже гипнотическое и опасное. В лаборатории его называли «наш Богомол». Наш Богомол сучит жвалами. Наш Богомол поймал крупную добычу. Наш Богомол оторвет тебе голову... Безграмотная аналогия, да что с них взять. Дети.

— Иди, Глаша. Спасибо. Отдыхай.

Он съел завтрак, стоя у подоконника, отламывая пальцами от брикета маленькие кусочки. Смотрел немигающими глазами на город и чувствовал себя большим хищным насекомым. За окном, прошитая солнцем насквозь, шумела и неслась утренняя Москва — навесная, подземная, воздухопельсовая, шатровая, купольная... Город-гам. Будто по кольцу протянута турбина, и в ней безостановочно шугает и воет ветер.

Быстро просмотрел график приемов на сегодня, одновременно вслепую распахнул гардероб и длинными пальцами пробежался по плечикам костюмов, как по клавишам. На ощупь выбрал свой любимый, из шерсти перуанской викуньи, золотисто-песочного цвета. Так... А туфли? Сандаловые замшевые от Ли? Или кожаные цвета черного чая от Квинхао?.. Сегодня обещали дождь. Значит, Квинхао. Черный чай, кожа. Да.

— Глаша! — крикнул, выходя из квартиры. — Если прилетит Ворона, открой ей окно, пожалуйста! И покорми!

На автостоянке его догнало новое письмо. Дурман, чтоб его.

«Примите расшифровку нейрограммы и материалы дела. Дедлайн завтра в пять утра. Жду ответа, как соловей лета».

Издавается.

Леднев сел в машину и открыл файл. «Дело зэка-1097».

2. Луч Правды

Зима исходит. День с ночью равняются.

Сегодня пятый день масленицы, сырная седмица, мясопустная неделя.

Уроки закончились. Мы сидим в классе, окна зашторены, только подсвечен неоновой рамкой портрет Государя на стене, а под ним горит экран: в эфире Луч Правды. Пятница — значит, покажут казнь. Судят какого-то большого начальника, генерала, по фамилии Жижа — и сам до чего противный тип, слава богу, телевизор запахов не передает, — потому что по фактуре видно: зело вонюч гражданин. Обширный хряк, пудов на десять — отожрался на добре народном, краденом — весь жирным потом сочится, рубаха шелковая на нем, вишневая с кантом золотым, черная в подмышках и на пузе разъехалась, а пузо рыхлым валиком над брючным ремнем нависает, как тесто ползет из кадки, и колышется, и трясется, и пупом тарасится... Тут еще, конечно, Луч Правды свойство такое имеет — иного так засветит, что вся мерзость нутряная наружу. А иной сидит, ручки сложил — и такой весь кроткий, ясный, прямо бестелесный — это уже, будьте-нате, враг поковарней, это духовный враг, вот как отец Всеволод Озерцов, раскольник, которого в другую пятницу судили.

И вот, значит, сидит этот Жижа-генерал — с брюхом своим, гадкий, опупевший. А над ним — голоса прокурора и судьи разносятся, державно-благостно и скорбно, будто звонны колокольные в Страстную неделю — и так на душе легко становится! Так покойно! Все правильно, все хорошо — так и надо, только так и надо, так всем нам и надо, думаешь. А что «так надо» — Бог весть, просто твердо знаешь: надо, и все. Никакой суеты в уме. Умиротворение.

«Следствием установлено, что подсудимый Жижа... Злоупотребляя служебным положением... Незаконное преследование подвластных чиновников и торговых людей... Вымогательства, коррупционные сделки...» — читает прокурор.

Рядом со мною Рита ерзает, мается. Украдкой зевает.

— Скорей бы казнь. Ноги затекли. Потом айда на речку? — шепчет. — Там наши с ножами на кулачках сегодня биться будут. А мы — метелицу плясать.

Я киваю. Хотя — сколько можно плясать эту метелицу. Сказано: от звезды и до воды — а святки давно минули.

На парту шлепается самолетик, Рита разворачивает, толкает меня локтем:

— Зырь.

Записка узким прямым почерком: «Возьмете в хелхар? ;)»

— Юрочка, — томно сообщает Рита, глянув через плечо.

Ну, да. Кто еще хоровод модным хелхаром обзывает? И архаичные смайлы рисует? Неоэклектист. У него даже шнурки на ботинках завязаны на манер смутного времени.

Я тоже оборачиваюсь. С задней парты, пригнувшись, пристально смотрит на меня Юрочка Базлаев. Подмигивает. Потом указательным и безымянным пальцами изображает танцующего человечка.

— Ой! А что это ты так покраснела, кума? — прищуривает глаза Рита.

— Я?.. Разве?..

— Да ваще! — она понарошку плюет на палец, прикладывает к моей щеке:

— Пс-с-с!

— Перестань!

— Остынь! — смеется Рита.

Ментор стучит указкой по столу:

— Гамаюн, Дерюгина! Разговорчики! Еще одно слово — и расскажу!

«...Для чего была создана целая организация преступного сообщества. Следствие длилось три года, 500 томов сведений агентурного учета... Все члены ОПС и подельники установлены и будут привлечены...».

Куда-то делось мое умиротворение... Все из-за Риты.

Ей лишь бы поддеть, подзанизить: Юрочка, Юрочка... А что Юрочка — я и сама не знаю. У него такие светлые, бледно-русые волосы и вообще. Ментор говорит, мол, лицом и духовными исканиями наш Юрочка похож на графа Льва Толстого, героя Крымской войны. Глаза-незабудки, нос уточкой, широкий пухлый рот. И Юрочка шутя на герои готовится — а может, и правда станет: вроде, долговяз и сух,

а силен, как жила. Ходит у Ментора в любимчиках. Тот, хоть и ворчит на него часто, но любя, заботливо. Бывало, скажет: «На этой неделе снова у нас по всем предметам Базлаев впереди. Смотри, Юра, не знавайся, беги да не забегай. Помни: первый всегда одинок». И обязательно добавит — уже всему классу: «Но, как сказал наш Верховный муфтий, «если первый повернут к одиночеству лицом, то последний подставляет ему спину».

«...Был испытан сывороткой правды... Мы все знаем этот механизм... Преступник состоит из множества мерцающих слоев: ложь-правда-ложь-правда... И как при отчитке изгоняемые бесы...»

— Да, да, — кивает Ментор. Он весь подался к экрану, шею вытянув, лицо от умиления замалинилось, глаза сияют благоговейной влагой.

Я, наверное, тоже преступник: правда и ложь во мне прячутся друг за другом и рядятся друг в друга. А вот Рита не такая. В ней нет обмана, но много игры, вызова. Даже когда она лукавит, то смотрит на тебя такими веселыми глазами, будто говорит: видишь, я тебя за нос вожу — ну-ка, разгадай, в чем дело. И вещи у нее такие же — все с каким-нибудь фокусом: пенал с тайной катушкой, на которую наматывается шпаргалка, ручка с невидимыми чернилами, светящиеся в темноте бусы, ластик-хамелеоны, китайская коробочка-головоломка... Мальчишки обступят и кричат: «Оба-на! Ого! Ничего себе! А это что? А как оно работает? А дай потрогать?». Рита раздаривает свои сокровища направо и налево: «мне папа еще привезет». Ее отец — капитан дальнего плавания, ходит по Волжскому пути через Идель-Урал на Каспий — оттуда морем в Иран. Однажды он привез ей красный хиджаб. Вроде что тут особенного — ну, хиджаб, ну, красный... Но какой это был красный! Не наш родной кумачовый, а какой-то райский, сказочно-алый, как перо жар-птицы. А ткань!.. Не ткань, а воздух. И когда она перехлестнула этот огненный воздух вокруг своей балетной шеи и пошла по коридору, вся такая узкая, точеная, с фарфоровым лицом, в этом нимбе алого сияния, сквозь толпу кургузых пионеров и кохров⁴ — казалось, будто она идет по канату... В тот же вечер ее вызвала к себе на ковер Морковка: «Спрячь эту прельстивую тряпку с глаз долой! Ты меня в гроб загонишь! Молчи, не хочу ничего слышать, это угроза режиму, я не позволю...»

⁴Кохры — члены Коммунистическо-христианской партии молодежи (сокр. КОХР) — все ученики приходских школ, достигшие 14-ти лет.

Морковка — завуч наша, Ольга Марковна — хорошая женщина, просто очень издерганная. Мы ее все в гроб загоним. Когда она кричит, ее мучнистое лицо идет красными пятнами. Она загоняется в гроб по любому пустяку: малейшее отклонение от правил, шаг в сторону от единообразия — угроза режиму. Путь к хаосу. Что с нами станет тогда? Мы все превратимся в опасных ублюдков. Поэтому — только дисциплина, только режим.

Режим неизменен, каждый день расписан по минутам. Подъем в 6 утра, зарядка и 15-минутный кросс вокруг школы — какая это мука зимой. Черное утро, заледеневшие дорожки, скелеты деревьев рядами уходят в холодную тьму — оттуда веет хтонической жутью, мертвящим сквозняком, а ты бежишь — пар изо рта, в груди печет, кеды стучат резиновыми подошвами по мерзлой земле, как деревяшки: тук-тук, тук-тук, и это никогда не кончится. Вот когда нутром постигаешь суру аль-Фалаяк: «прибегаю к защите Господа рассвета от зла мрака!» — когда до рассвета не добежать, и ни проблеска зари, ни луча. Только в окнах свет — холостой, казенный, нагоняет тоску, и эта тоска хуже, чем боль в груди от бега, чем морок тьмы и мороз. За окнами маячат резко освещенные фигуры — дневальные по спальням сонно возят швабрами, снуют туда-сюда нянечки и воспитатели, на кухне кипят котлы и дымят сковородки, и в клубах чада белеют халаты поварих, мелькают их распаренные лица и круглые локти, а в столовой бродят теньями дежурные, снимают стулья со столов, готовясь накрывать завтрак. Боже всеблагодой, прости мне тайный грех уныния в эти ранние часы!

А кто тошнит по дороге — тот без завтрака остается. Но ничего! На пустой живот и наука идет, как говорит Ментор. Науки много у нас, в день по шесть-семь уроков, в субботу охочий день, и вместо Луча Правды — передача Дозорная Вышка. Ну, а воскресенье — праздник, сперва всей школой в храм, к Литургии, — а кого и домой отпускают, если родители имеют права категории А, вот как Юрочкины: отец агроном, мать доярка, передовики труда, гордость колхоза Сталинский Ковчег, многодетная семья — вместе с Юрочкой восемь чад, и все — перворядные ученики в нашем Детском Городе. Правда, Юрочка и сам не очень-то рвется в свои черноземы и часто по выходным остается в интернате, что Уставом не запрещено, а, наоборот, поощряется, ведь все мы знаем, что духовное родство выше кровного, все мы помним закон роевого сознания: не улей для ячейки, а ячейка

для улья, где ячейка — это семья, а Государство — духовный улей. Все мы — государственные дети, и только потом — родительские.

«...Сознался в мотиве своих злодеяний: «Все делал ради детей». Итак. Перед нами тот самый случай, когда злейшие враги человека — домочадцы его. В данном случае — чада. Да, они невиновны, но разве невинны? Нет, нет и нет! Они безнадежно испорчены, поелику разьединены с массой, вычтены из нее и погружены с малолетства в незаконную роскошь, добытую преступной деятельностью подсудимого. Но даже будь они чисты, как новокрещенные младенцы, — разве не сказано: *Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода?*.. Так исполним же закон, первое правило которого гласит: нет мотива — нет и преступления. Мы не колдуны, не гадалки и не можем читать в сердцах, чтобы заранее истребить мотив, до того как преступление свершится. Но мы обязаны уничтожить мотив уже постфактум — в назидание остальным. Чтобы каждый трепетал, осознавая: будь ты хоть пескарик придонный, хоть действительный тайный советник 1-го ранга — не избежешь кары, если зло чинишь против Государства. А нет хуже кары, чем видеть: все, ради чего ты пренебрег своей жизнью и честью, будет уничтожено без жалости и сомнений. Без жалости и сомнений! Только так мы возбудим в тайно преступных сердцах покорность и законопослушание. Уважаемый суд! Требую высшей меры наказания по статье 59 с применением поправки 12-б. У меня все».

— Ну, слава богу... — ворчит Рита, сдавливая челюстями зевок. — Сейчас пойдет забава.

— А что за поправка 12-б? — говорю.

— Не знаю. Вот и посмотрим.

— Так, все! — кричит Ментор, яростно колотя указкой. — Я предупреждал!

Рита пригибает голову и, по странной своей привычке, скалит зубы, языком проводя по резцам. Это ее не портит. Зубы у нее как белое лезвие. Черные волосы, синие глаза, фарфоровая кожа, маленький пунцовый рот — вся ее красота безжалостна, как небесный приговор, потому что завистники попадают в ад. Иногда мне становится невыносимо ее присутствие: она будто стрелка, всегда указывающая на мой грех. Поэтому, когда сегодня утром она сказала, что завтра уезжает домой на выходные, я испытала облегчение.

Она редко уезжает — только когда отец приходит из плавания, раз

в три месяца, а порой рейс длится полгода. Несмотря на престижную должность отца, ее семья — не самая образцовая, до категории А не дотягивает. Поэтому, хоть ей и разрешается навещать родительский дом, но нечасто, и то лишь когда отец там бывает в отпуске. Все остальное время Рита живет в интернате.

А я здесь живу всегда, с семи лет. Дом свой я помню смутно — он ничем не отличался от множества барачных зданий в нашей коммуне. Зато я хорошо помню ремесленную артель, где работал мой отец и другие художники, огромные мастерские с высокими, до потолка, окнами, запах скипидара, льняного лака и какой-то особый, едва уловимый сладковато-рыбный аромат масляных красок. Чтобы я не сучала и никому не мешала, отец выдавал мне бумагу, кисти и краски, или уголь, или цветные мелки, — я рисовала, поглядывая на художников — веселых бородатых мужиков и остроглазых баб в черных халатах, заляпанных разноцветной грязью, — и была уверена, что тоже принадлежу к артели. Устав, я шла бродить по коридорам и заглядывала к другим — все двери были открыты, и никто не гнал меня. Сейчас мне кажется, что там всегда было солнечно: на дощатых полах лежали квадраты света, расчерченные длинными тенями от мольбертов, и все пространство будто стояло на косых солнечных столбах, в которых роилась сверкающая пыль. Только в скульптурных мастерских, расположенных на цокольном этаже, царила мрачная мистическая атмосфера: запах подzemелья, чугунные ванны, заполненные сырой глиной, а вдоль стен, на станках, словно призраки в саванах, возвышались обернутые в полиэтиленовую пленку серые истуканы.

Я была счастлива первые шесть с половиной лет своей жизни. А потом отец исчез. Его искали — не нашли, и никто не знает, что с ним случилось. Но из-за подозрений, что он бежал, нашу семью понизили в статусе. Куда можно сбежать из зоны светляков? Говорят, где-то есть тайные коммуны, где живут беглецы-невидимки. А может, и есть. Россия велика — от Финского залива до Урала. Поди за всем уследи...

— Гамаюн — сюда, за первую парту! Позубоскаль мне, позубоскаль. Давай, встала и пошла. Да, вот сюда... На место Маши. А ты, Маша, к Дерюгиной иди... Давай, давай. Вот, молодец. Так и сидите впрядь. И всем молчать! Иначе прокляну!

Теперь сидеть мне с Машей до морковкина заговенья. Ну, ладно, что ж... Может, оно и к лучшему. От Риты только терзанья да печаль.

«...Суд постановляет: признать подсудимого виновным согласно

статье 59-й «создание организованного преступного сообщества». Признать его признание достаточным для применения 12-й поправки пункт «б»: государственное преступление в интересах биологических детей. Суд выносит приговор: уничтожить мотив преступления на глазах у виновного с последующей казнью самого виновного. Ввести детей и приступить к исполнению приговора немедленно, без последнего причастия... В камеру вводят девочку-подростка и кудрявого толстого юношу, ставят лицом к стенке и расстреливают. «Что-о?! Что такое?! Отставить!» — страшным безумным голосом ревет Жижа. Палачи поворачиваются и несколько раз стреляют ему в лицо.

3. В гостях у сказки

Не тот ли это Жижа, который... Да-да, расстрелянный вместе с детьми восемь месяцев назад. Громкое было дело. Первый случай такой жестокой расправы своих со своими. Первый случай применения 12-б поправки — и сразу к детям комитетчика. Ходили слухи, что это война между черными и серыми... Вот, поди ж ты. И в зоне светляков такое показывают.

Со всех сторон доносились нервные гудки автомобилей. Леднев свернул расшифровку нейтрограммы и огляделся, но не увидел ни зги: кругом мело снегом, и в стекла Чангана пляхулись мокрые белые кляксы.

— Что это?

— Пробка, — ответил Чанган.

— Вижу, что пробка. А это вот, это вот что?

— Метель.

— В сентябре? Куда смотрит городской голова! — проворчал Леднев. — Десять лет обещает купол над Садовым, и что? Все завтраками кормит... А синоптик твой где, отключен?

— Синоптик обещал до полудня дождь, а после обеда — солнце.

Леднев тихо выругался. Знал бы — взял вместо электропузыря старую кондовую ладу... А теперь вот буксуй в этой каше, весь по стеклу заляпанный кашей. Одно утешает: вокруг — такие же дураки в пузырях.

В наушнике пикнуло: у вас одно новое голосовое сообщение.

*«Здравствуйте! С вами центр «Добрый Доктор Айболит». Вы заявляли третьего дня о пропаже домашнего животного? Примите наши соболезнования. Найден труп вороны (вид — *Corvus cornix*) с разраженным клеймом, просим явиться на опознание и кремацию. Цена услуги — 1 рубль 12 копеек. Штраф за неявку — две базовых единицы. С нетерпением ждем. «Добрый Доктор Айболит» — это лучшая забота о ваших питомцах! Покупайте наши корма и лекарства, и ваши любимцы всегда будут...».*

Конечно, это не она. Конечно, они перепутали. Идиоты... «Приносим наши соболезнования»... Вежливые кретины. Дмитрий Антонович откинулся в кресле и, глядя в потолок, продиктовал ответ ветклинике:

*«Уверен, это ошибка. Вы указали другой биологический вид — *Corvus cornix*. Тогда как вид искомой птицы — *Corvus corax*. Это не мое животное. Снимите запрос на опознание трупа».*

Чанган свернул в Трехпрудный переулок. Поравнялся с резной вывеской «В гостях у Сказки».

— Тпру! — сказал Дмитрий Антонович. — Стоять.

Выскочил и, скукожившись, на цыпочках помчался в лавку. Ветер дал ему пощечину, насыпал за воротник и задрал подол, как блудной девке.

Отбиваясь, тяжело дыша, он ворвался внутрь. Как только за ним захлопнулась дверь, все стихло в блаженном покое. В лавке пахло елем, сосновыми шишками и горячими пирогами. Ни одного человека. Окно кассы было закрыто деревянными ставнями с вырезанными на них петухами. Рядом висел колокольчик.

Леднев подергал нетерпеливо. Раздалась старинная советская мелодия: сперва вступление на металлофоне рассыпчатыми переживаниями, затем фальшиво-детский голосок пропел:

Если вы не так уж боитесь Кашея
Или Бармалея и Бабу Ягу,
Приходите в гости к нам поскорее —
Там, где зеленый дуб на берегу...

Ставни медленно растворились, и в окне появилось заспанное женское лицо в кичке с натертыми свеклой щеками. На шлейке сарафана — берестяная табличка: «Тетя Валя».

— Доброе утро, тетя Валь, — сказал Леднев, все еще отряхиваясь.
— Во погода, да? — ответило свекольное лицо, зевая.
— И не говорите... Как моя звезда? Готова ли?
— А что ей сделается, Дмитрий Антонович. Одну минуточку.
Она повозилась и просунула наружу деревянную звезду-головоломку:

— Ваша?

— Моя.

Молча расплатился, сунул звезду подмышку и поспешил к Чангану. Ветер набросился на него, закружил, разорвал, швыряясь дождем и снегом. Вдруг, сквозь весь этот бедлам, Леднев увидел свою Ворону. Она весело кувыркалась в вихре, хватая клювом на лету какие-то бумажки, листья...

— Ворона! — закричал Дмитрий Антонович, вытянув шею и уже не замечая, как его лупит со всех сторон.

Он даже было ринулся вслед за ней — бежал, хватая воздух растопыренными пальцами. В рукава ему забивались бумажки и листья. По лицу хлестал мокрый снег. Что же я делаю? — опомнился он. Я схожу с ума. И, совершенно растерзанный метелью, насквозь мокрый и печальный, вернулся к своему пузырю.

— Трогай, голубчик. Улетела наша Ворона. А может, и не наша. Кто там разберет, вишь, пурга какая... Глаза ведь могут обмануть? — делился он переживаниями с беспилотником. Чанган молчал, добросовестно исполняя свою механическую работу.

— Идиоты, — горестно прошептал он. — Труп вороны... Да я и сам дурак. Не мог дать ей нормальное имя? Вот теперь и объясняй всем, что Ворона — на самом деле ворон. *Corvus corax*.

Идеально черная птица, перо к перу, блестящая, как вулканическое стекло. Леднев подобрал ее слетком в Зарядье прошлой весной. Гулял по медленной тропинке, прицеливаясь линзой к объектам природы, и вдруг холодной щекоткой пробрало насквозь: а что если я сам — объект наблюдения природы? Остановился. Вгляделся. И точно. Из травы на него смотрел умный злой глаз.

Это был глаз врага — который понимает, что обнаружен, и готов умереть с боем. Птенец лежал неподвижно, плашмя, слившись с землей, так хорошо замаскированный, что Ледневу стало досадно на себя: зачем я увидел его? Как будто что-то непоправимо испортил. Если бы в этот момент огромные черные враны низринулись с неба

и поклевали его... Но никто не поклевал — видимо, зеленая полиция уже застрелила родителей птенца. Он подождал, огляделся. Ничего. Подошел. Вороненок поднял клюв, раззявил алую пасть и каркнул. Леднев набросил на него шарф.

Держал на террасе, кормил с руки, еду заказывал в «Живом уголке» — Глаша составляла меню: толстые личинки, древесные гусеницы, мокрицы из-под влажных камней, прямокрылые кузнечики, мыши домашние и полевые, птичьи яйца, рыбы глаза, белое мясо, творожное зерно... Все другое — какие-то очень полезные корни, одуванчики, тертую морковь, овсянку, сваренную на медовой пыльце и утренней росе — Ворона презирала.

Через год она заговорила приятным баритоном: «Мышь, мышь, кушать мышь».

— Какая кровожадная, — сказала Глаша.

— Вся в меня, — усмехнулся Леднев.

— И голос ваш, хозяин.

— Правда? — он прислушался. — А ведь действительно. Черт. Я бы и не узнал, звучит как-то... зловеще.

— Вот именно, хозяин.

Надо бы отключить Глаше эту дурацкую старорежимную функцию «хозяин» — давно копилось это раздражение. Да все некогда. Лень разбираться. Легче отключить сразу всю речь. Интересно, у кого она более осмысленна: у птицы-пересмешницы или у гиноида?

После еды Ворона требовала голосом Дмитрия Антоновича: «Неваляшка, неваляшка». Единственная игрушка, которую эта бестия не сломала. Говорила с четким московским акцентом, проглатывая безударные и растягивая ударные. Подпрыгивала от нетерпения, вперевалку бегала за ним на черных косых лапах. Смешно. И все-таки жутко... Жутко, когда твой собственный голос раздается не из машины, не из аудиозаписи, а из кого-то другого: живого организма, души неведомой.

Но ведь чертовски умна, собака. Не отнять. Пришло время — загадала и секрет неваляшки. Разломала, выгрызла из пустого нутра грузило — и заскучала. Чтобы направить энергию разрушения в мирное русло — и просто из любопытства: а что еще она может? — Леднев начал задавать ей логические задачки. Достань из колбы вкусный рыбий глаз при помощи воды и камней. Открой стеклянный ящик — догадайся, как, — чтобы получить розовую сладкую креветку. Сложи

кубики в нужном порядке — и па-бам, кушай мышь, кушай мышь. Реши головоломку — и вот тебе к столу филе молочного теленка.

Конечно, собрать какой-нибудь дьявольский куб или ханойскую башню она не могла — зато как она разбирала! Как разбирала! Мастерила инструменты из проволоки: загибала крючками, компенсируя технические недостатки собственного клюва. Будь у нее клюв попугая, она могла бы разобрать на детали всю адскую машинерию Данте, все кинетические механизмы Тео Янсена... Даже челнок от швейной машинки Зингер с кожаным ремнем привода и чугунной педалью...

4. Белые кляксы

— Это несправедливо, — говорю.

Мы гуляем с Ритой и Юрочкой в школьном парке. День стоит светло-серый, немой и слабый, как бывает в канун оттепели. Тишина, только вороны сварливо перекаркиваются, ковыряясь в снегу. У Юрочки свежий фингал под глазом и губа разбита, кровит, — в кулачном бою кохров с комусами⁵ ему досталось, но зубы целы, и двух вайнахов он положил — теперь сияет.

— Ты о чем? — спрашивает Рита.

— О сегодняшнем приговоре.

Рита фыркает и хмурится, сбивает с ветки снег варежкой:

— Нашла о чем думать.

— Мы все должны об этом думать! — грозно басит Юрочка, изображая голос прокурора. — Эй! Ну что вы такие мрачные, девчонки, а? Что, стремно вам? У-у-у! — Юрочка забегает во фронт и, высоко задирая свои длинные голенастые ноги, идет к лесу задом, а к нам передом. — Рита, Ритуля, страшно тебе, да? В очи зри мне, отроковица! Молви сердцем не лукавя: чего боишься ты, капитанская дочка? А-а! Дай догадаюсь! Что папаню твоего за ноздрю схватят, и он тебя сдаст по статье 59-126? И будешь ты принародно, на всех экранах страны, предана лютой казни в своем заморском контрафактном хиджабе?

— Я смерти не боюсь.

Юрочка выбрасывает руку навстречу ей:

— Нийса ду!⁶

Рита бьет его по ладони. Юрочка на ходу поворачивается на каб-

⁵Комусы — члены Коммунистическо-мусульманской партии молодежи (все ученики медресе, достигшие 14-ти лет).

⁶Чеченский: «это правильно».

луке, словно ее удар придавал ему угловую скорость, и продолжает шагать вперед уже спиной к нам, театрально воздев руки горе и распевая:

— Никтоже да убоится смерти, свободы бо нас Спасова смерть, угаси ю, иже от нея держимый, плени ада, сошедый во ад!.. Где твое, смерти, жало? Где твоя, аде, победа?..

— Ты какой-то чудной в последнее время, — говорит Рита. — Как помешанный.

— Правда? — он смеется. — А может, и так.

— Может, ты влюбился?

— А может, и влюбился!

— И в кого же?

— Не скажу, — он загадочно сияет.

— Ну, скажи, скажи... — не отстает Рита.

— Ладно. Но только на ушко. Каждой по секрету.

Он быстро наклоняется к Рите, я отвожу глаза. Затем ко мне, выдыхает: «В тебя!».

Рита смотрит на меня почему-то победоносно и с жалостью.

Я не успеваю понять, что произошло, — какая-то тень метнулась от дерева к дереву.

— Что это? — вскрикивает Рита.

— Где? — оборачивается Юрочка.

В наступившей тишине треснула ветка. Из-за ствола появилась черная фигура. Демьян Воропай.

— Маршалла, брателло! — Юрочка мгновенно принял свой обычный вальяжный вид. — Какого лешего ты один? И что ты тут делаешь?

— Дрочу, — сказал Воропай, пожимая протянутую Юрочкой руку. — Кстати, я дрочу правой.

Он бросил тяжелый косой взгляд в нашу с Ритой сторону.

— Как ты вульгарен, мой друг, — вздохнул Юрочка, невольно вытирая ладонь, которой поздоровался с ним, о штанину.

Воропай у нас инопланетянин. Шесть лет назад его семья сгорела в пожаре. Год он провел в психиатрической лечебнице, а когда вернулся в интернат, попал в наш класс. Нам тогда было по десять-одиннадцать, а Воропаю уже двенадцать, но выглядел он еще старше — из-за странной одутловатости лица и угрюмого, неприятно рассеянного взгляда: вроде, вглядывается в тебя, а не видит. На самом деле, вся

эта мрачная старообразность объяснялась просто: Воропай за год в больнице опух от лекарств, а причиной его нехорошего взгляда была обыкновенная близорукость. Но тогда мы об этом не знали, новичок никому не понравился — жутковатый чудик, да ну его. И ведет себя какой-то зловещей придурью — мальчишки рассказывали, что по ночам он встает, подходит к окну и подает в небо сигналы азбуки морзе, не обращая внимания на шепот и смешки за спиной, — в открытую задирать его боялись. Так продолжалось неделю-две, а потом мальчишки собрали для него мешочек с дарами, чтобы только узнать его тайну. И тогда он «сознался»: «А вы думаете, почему я выгляжу таким старым? Мне ведь не двенадцать лет. А тридцать. Просто я инопланетянин. Меня сюда внедрили с миссией. Я притворяюсь русским пионером. И под этим прикрытием передаю данные нашей галактической разведке. Но я спалился: мои *гнездовые* родители-земляне меня раскусили. Так что мне пришлось спалить нахер всю семейку». И никто не смеялся. Что-то было в его тоне такое невыдуманное, какое-то натуральное рептильное бездушие. И если раньше его чурались, то теперь стали относиться с тайным страхом и уважением. Даже некоторые учителя заискивали перед ним — как-то в ярости он стукнул кулаком по столу русицы, когда получил двойку, в другой раз нахамил учителю богословия, — и все ему сходило с рук. В гневе глаза его становились выпуклыми и печальными, в движениях появлялась какая-то чуткая угроза. Говорят, они с Юрочкой долго испытывали друг друга на кулачках — и никто не мог одолеть. На том и побратались. Мальчишки! Все у них так.

— Темнеет, — говорит Рита. — Опять сыплется эта рянда с неба, чтоб ее... Кто знает время? Не опоздать бы на самоподготовку...

— Пять двадцать пять, бежим! — спохватывается Юрочка.

Мы бежим. Все, кроме Воропая.

— А где же твой кулончик? Этот... с часиками внутри? — кричит Юрочка Рите на бегу, сквозь снежные хлопья, налипающие на разбитые в кровь губы, на ресницы — белобрысые на фоне фиолетового синяка...

— Подарила, не помню кому...

— Ну, и дура! — скачет он. — Я тебя обманул, еще есть пятнадцать минут!

Рита сбивает с него шапку. Юрочка хватается Риту за талию и опрокидывает в сугроб. Они борются и смеются.

Не спеша подходит Воропай.

— Как дети, — он сплевывает себе под ноги. — А ты чего такая злая стоишь? Иди подерись с ними.

— Какая хочу, такая и стою.

Похоже, Воропая совершенно не волнует, что мы застучали его в одиночестве. Он как будто даже доволен собой: снова он — особенный, над законом, и владеет какой-то страшной тайной.

— Что уставилась? Не можешь сообразить, как это я хер положил на Спутник?

— Могу.

— Не можешь, — он бросает взгляд туда, где барахтаются Рита и Юрочка. — Все бабы делятся на два типа: либо дуры, либо шкуры. Третьего не дано. Ладно... Развлекайтесь, — засовывает руки в карманы, уходит.

Он срезает путь и чешет без дороги меж деревьев, по рыхлому насту, вверх по холму с зачерствевшими гребнями снега. Я смотрю ему вслед. Он останавливается, оборачивается — едва различимый сквозь отвесную пелену белых клякс — кричит:

— Я умею быть невидимым!

И шагает дальше.

Рита и Юрочка все еще возятся в сугробе. Я туда не смотрю.

— Ну, все!.. Отстань уже!.. Хватит! Пусти! — шипит Рита. — Мы опоздаем! Ну, все... Мы опоздали!

— Стой... Где моя шапка? Стой! Где моя шапка? Где моя шапка?

Наконец они выбирают на дорогу, отряхиваются, выбивают комья снега из-за пазух и воротников, из рукавов и карманов.

— Во перхляк повалил! — оглядывается Юрочка. — Завтра с зарей по свежему следу можно на зайца идти... А вот и шапка моя! Динка, что ж ты молчишь, прямо у тебя под ногою! Аль не видишь?

— Динка у нас такая, да. Ничего не вижу, ничего не слышу. Ничего никому не скажу. — Рита обнимает меня ласково. — Дин, ты ведь не скажешь никому?

— Про шапку?

— Какая прелесть! — хохочет Юрочка. — Она всегда такая? Динка-льдинка, ты всегда такая? А покажи свои уши?

— Зачем? — я теснее прижимаю платок к ушам.

— У тебя глаза косульи! Вдруг и уши такие же — длинные, мохнатые?

И всю дорогу до школы он меня дразнит.

На самоподготовке, сидя над математической задачей, я вдруг поняла, что Юрочка пошутил с нами: шепнул и мне, и Рите одни и те же слова: «в тебя». Признался в любви нам обеим. Вот почему Рита так смотрела на меня. Она и не догадалась... Тем лучше — иначе она бы меня возненавидела. Но в груди так ныло, так тянуло, словно кто из меня нитку сучил. Что со мной?.. Пустое. Надо вернуться к математике.

Так... Что тут... Задача. «Некий имярек нашел денежный клад. Часть денег он отдал в государеву казну, а разность у него отобрали грабители. Загоревал имярек и размечтался: вот бы, де, к сему кладу прибавить то, что вычли в казну, да сложить с тем, что отграбили, так было бы у меня 999 рублей! Вопрос: могло ли число рублей в кладе быть целым? Объясни почему». Почему. Почему. Почему я чувствую себя как этот глупый имярек, у которого в глазах двоится от жадной тоски и потеря вырастает вдвое? Я ведь даже ничего не нашла и не потеряла. О чем горюю и мечтаю? Что со мной? Я ревную? Почему? Разве я люблю? Как это — любить? И что все это значит? Весь этот день, этот бледный морок, войлочное небо, и деревья словно из валяной шерсти, и медленно летящие вороны над пологими холмами и застругами, сквозь снегопад... Снегопад — это рукопись Бога, он пишет набело, пишет и пишет, и буквы падают с неба, но мы не различаем ничего, кроме бесформенных клякс... Я могу быть невидимым — что означают эти слова? «Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? — говорит Господь. — Не наполняю ли Я небо и землю?»... Тающие хлопья на окровавленных юрочкиных губах, опрокинутая ногами вверх Рита — зачем во всем этом столько красоты, желания и муки? К чему мне знать, было ли некое число целым, если я сама дроблёная и себя не знаю...

В задумчивости я не заметила, как рука моя пошла гулять и выводить на полях узоры, закорючки и спирали. Известно, грех тут невелик, а все ж есть риск получить от Ментора указкой по пальцам за рассеянность и мыслеблудие. Но тут я заметила, что черточки и линии складываются в какой-то намек образа. Я немного дорисовала и получилось дерево со спиральями в кроне, как бывает, когда фонарь зимней ночью горит сквозь заиндевевшие ветви. Всегда хотелось нарисовать этот конус света от фонаря, в котором летит снег. Но там вся красота — в движении, которое происходит только в маленьких

пределах света, а за его границами исчезает.

Я взглянула на Ментора: не следит ли? Не намеревается ли обойти класс, как он любит, медленно и бесшумно, надолго замирая там и тут, чтобы в нужный момент подкрасться к нарушителю? Нет, вроде ничего: сидит за своей конторкой, углубившись в книгу. Из-за наклонной столешницы не видно обложки, но наверняка это какие-нибудь Четьи-Минеи или Политический Атлас. Он сидит в своей обычной «мыслительной» позе, буквой зет. Он принадлежит к множеству целых чисел.

«Рита дура. Юрочка пустозвон», — пишу я поверх рисунка, вырываю лист из тетради и прячу в карман.

Все-таки хорошо, что Ментор рассадил нас с Ритой, и теперь со мной за партой сидит Маша Великанова. Это необыкновенное везение: Маша умна, как Луначарский, и флегматична, как артельная колова. Она никогда не интересуется, что я там вытворяю в своих тетрадках. Или в своем уме.

5. Молодильное яблоко

Чанган свернул в Большой Палашевский и — пока скользил до поворота на Малую Бронную — вдруг развиднелось. Снег превратился в дождь, пошел крупными плетями, сквозь них, ослепляя, сверкая в каплях, пробило злое маленькое солнце и зажгло медным огнем буквы над входом в угловое здание. Вверху — лозунг клиники, Леднев сам его когда-то и придумал, взяв из 1-го послания к коринфянам:

Последний же враг истребится — смерть.

А ниже — шильда:

клинический центр
МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОКО

Московского государственного института долголетия
им. Святого Помазанника Божьего...

Имя Государя было замазано: по нему красной краской был выведен символ хакер-анархистов — хер в круге, перечеркнутый внизу буквой аз. Взбесились они сегодня ночью, что ли?

— Ты погляди, ну! — сказал он Чангану, расплачиваясь и выпрастывая наружу свои длинные ноги. — Мерзавцы!

— Спасибо на здоровье добрый путь! — ответил вежливый беспилотник и ушелестел вдаль.

Леднев прошел через тяжелые деревянные двери старинной работы — уступка моде, они выполняли чисто декоративную функцию, как и весь наружный контур здания. Внутри этого помпезного нововдела в стиле сталинской эклектики располагалась сеть разноэтажных переходов с ИД-пропусками на каждом уровне — и с лифтовой будкой в конце.

— Все клин-роботы на уборку территории! — заходя в лифт, рявкнул Леднев, — Органические сотрудники! У вас глаза на жопе? Что это такое? Вы шильду на входе видели? Вы там что, с ума посходили? Если через тридцать секунд не будет чисто, всех уволю нахрен.

Последнее он мог бы и не добавлять — все в клинике знали: фразу «органические сотрудники» Леднев произносит, когда хочет стереть с лица Земли все человечество, а не то что кого-то там уволить.

Он возглавлял клинику уже двадцать пять лет — после смерти бывшего главы, доктора Кохана. А работал здесь — более тридцати. С тех пор как под научным руководством Кохана — который любил и вел его аж с довоенных времен, с прекрасных времен аспирантуры и защиты диссертации, — Леднев создал формулу «Кошечевой иглы». Собственно, на базе их исследовательской работы и была основана клиника. Почему Кохан не захотел воспользоваться изобретением любимого ученика и предпочел умереть от старости — загадка.

Леднев знал: в околонучной среде расплозились отвратительные слухи. Будто бы он украл изобретение у Кохана, присвоил себе, а Кохан — тут его изображали человеком не от мира сего, на грани аутизма, эскапистом и социофобом, эдаким безумным профессором — каким он, разумеется, не был, иначе не смог бы возглавлять институт и ворочать этими глыбами, магматическими породами человеческих отношений... — так вот, будто бы святой Кохан не захотел бороться с коварством вероломного ученика, и — вот, избрал такую меру протеста: уйти из жизни, презрев «Кошечеву иглу», как презирают пользоваться украденным предметом из рук вора.

Яд просачивался в СМИ. И вот уже появились идеи, будто Леднев сам и убил Кохана. Тут версии пошли одна другой мерзопакостнее. Какая-то газетенка распространила сплетню про их гомосексуальную связь: мол, Леднев, жестоко играя чувствами Кохана, просто до-

вел старика до инфаркта. Другая, где в редакции сидели охранители духовных скреп, яростно вступила в полемику: мол, не надо грязи, руки прочь от Кохана, не позволим пятнать имя великого русского ученого! — и в итоге договорились до того, что Леднев спровоцировал инфаркт учителя, отравив его каким-то хитрым препаратом.

Все это змеиное шипение, эти укусы исподтишка сильно подпортили характер Леднева — солярный, гедонистический и даже наивный. И где-то к семидесяти годам он превратился в «Богомола», в хищное сухое насекомое, которое сейчас всем поотрывает головы... Хотя, если разобраться, это все та же декоративная дверь, не что иное как дань моде — удобный для всех и всеми признанный образ.

Он спустился на базовый этаж, перешел в другую кабину и поднялся в холл. Здесь, на вахте с обычным роторным турникетом, стоит обычная «белковая» охрана — сегодня это ражий дебелый парень Артем. Самый простодушный из охранников. Сколько бы ни было выстроено уровней технозащит, где-то в этой цепи обязательно должен присутствовать человек. Даже если этот человек — дурак.

— Ну, вы им жару задали! — говорит Артем восхищенно, полакейски отделяя себе от «них» — тех, кому сделал выговор Леднев.

— Здравствуй, Артем, — Леднев отряхивается и заодно как бы рассеянно вынимает из подмышки сверток с головоломкой-звездой.

— Доброго утречка, Дмитрий Антонович. А это что это у вас там такое, ну-ка, ну-ка? Предъявите!

Голос его звучит игриво и лукаво. Он, как и все глупые люди, думает, что наделен исключительной проницательностью и чувством юмора.

Леднев разворачивает сверток.

— Опять какая-то умная хреновина? Куда вы их только складываете? У вас там, поди, и места не осталось!

— А, пожалуй, ты и прав, — говорит Леднев озадаченно. — Не осталось. Вся полка забита.

Артем самодовольно лыбится.

— Может, поддержишь эту штуку у себя до конца рабочего дня? Пока я там разгребусь... Освобожу место. Ставить-то некуда. Заодно разгадаешь.

Толстые уши охранника мгновенно воспаляются.

— Да я-то в два счета разгадаю! В два счета! А смысл? А? Зачем же мне вам удовольствие ломать! Я ж не зверь какой! Не-не, и даже не

просите — не буду! Вот еще вздумали... Да и времени у меня нет — служба!

— Служба — это дело. Понимаю, — Леднев проходит через турникет, оборачивается. — Но Лигу-то будешь смотреть?

Артем радостно вспыхивает и переливается всеми цветами радуги, как синекольчатый осьминог.

— А то! Полуфинал же! Святое!

Леднев идет к лифту третьего уровня, триумфально вскидывая над головой большой палец: мы с тобой одной крови! Теперь этот лопоухий мальчик даже не вспомнит, что я там нес подмышкой: звезду, шар или параллелепипед.

6. Ветер, намеченный грубой кистью

От отца осталась картина. Она казалась незаконченной. В ней не было порядка: ни твердой формы, ни отчетливых силуэтов, одна крошечная зелень. Множество оттенков зеленого, светящихся изнутри, как сколы драгоценных камней. Из мглы грубых тесно наложенных мазков проступал сад — буйные густопсовые кроны, простреленные насквозь солнцем, ветром зачесанные набок косматые травы и розоватый пробор тропинки, которая, нарушая все законы перспективы, как бы тоже вздувалась на ветру — но особенно меня поражало движение выпуклых и рваных, как струпья, мазков — оно имело свой ход, противоположный ветру, меняя направление смысла, обещая какую-то тайну.

Я никогда не видела ничего подобного в живой природе, но странно: я как будто все здесь узнавала. Мне казалось, что эта картина — про меня. Что это я иду по тропинке в лучезарном саду с двумя ветрами и что все это было со мной когда-то давным-давно и до сих пор продолжается. В детстве я почему-то думала, что память умеет оглядываться не только назад, но и вперед, что «давным-давно» — это не обязательно о прошлом, это может быть и о будущем. И когда взрослые говорили о каком-то событии «это было столько-то лет назад», я воображала, что фраза «это было столько-то лет вперед» прозвучала бы так же естественно. Возможно, потому, что сама я, из-за малых лет, еще ничего не помнила из своего прошлого, кроме смутных образов и ощущений, которые невозможно было отнести к какому-то

определенному времени.

Мы жили в 12-м корпусе семейного общежития, комната была разделена ширмой — с одной стороны обитали мы с бабушкой, с другой — мать с отцом. Когда отец пропал, нас уплотнили тремя старухами. Я помню ту мучительную тесноту, в которой мы внезапно оказались: нагромождение чужих вещей и запахов, какие-то бесконечные коробочки, пакеты, смрадные тряпки, вечные склоки, толкотня, шипение... Соседки целыми днями ругались между собой, а когда не ругались — рассказывали о своих болячках, стараясь перещеголять друг дружку, чья болячка больнее, — и снова все заканчивалось сварой. Мирились они только когда начинали перемывать косточки мужчинам — одна из них была безмужницей, старой девой, а две другие вдовы, и всем трем было что вспомнить. Тут уж к злобным старухам присоединялась и наша бабушка, и я с тоской слушала, как она клянет моего непутевого отца-художника, который, сволочь такая, нам всю жизнь сломал, и лучше бы он сдох, чем вот так пропал, как сквозь землю провалился, ведь именно из-за его таинственного исчезновения нас понизили до В-категории и ухудшили жилищные условия, о чем он думал, спрашивается? Когда мама не выдерживала и начинала заступаться за отца, бабушка подхватывалась: «А ты тоже дура. С большого перебору выбрала засеру», — и старухи одобрительно заливались беззубым смехом. «Тьхудожник! Весь вонючий от своих красок, грязный, нечесаный, да еще какую-нибудь свою мазню в дом тащит — о!» — она тыкала артритным пальцем в его картину, которая висела у меня над кроватью. Словно указывая на какой-то позор. «Натяпал-наляпал — ничего не разобрать». Старухи качали головами, хихикали. «Так и я могу», — говорила одна из них. «А я и получше умею», — похлопывала ладонью другая по шпалере у себя над головой, где была изображена ваза с красными цветами. «Вот картина, я понимаю, — показывала третья какую-то вырезку из журнала. — А? Красота!»

Через полгода мать простудилась на полевых работах — стояло холодное лето с затяжными морозящими дождями, — и в две недели умерла от воспаления легких. За пять минут до ее смерти я проснулась и увидела ее лицо в лунном свете — удивительно ясное, с открытыми внимательными глазами. «Мам! — позвала я. — Ты чего?». Она молчала, вглядываясь куда-то. «Шевелится», — прошептала она. «Кто?». Она слабым жестом указала на картину: «Там... ветер...

сильный ветер... дует оттуда на меня... Зовет меня... туда». Я прижалась к ее горячим сухим рукам и заплакала. «Не плачь, — сказала она. — Там хорошо».

Через несколько дней после похорон был субботник, повсюду жгли мусор в больших железных бочках, и бабушка сказала: «Не могу ее больше видеть» — сняла картину со стены и понесла во двор, чтобы с ветошью и хламом бросить в огонь. Я закричала и повисла у нее на руке. Дальше не помню. В истории моей болезни стоит: «приступ беснования». Говорят, я покусала ее до крови. Кому-то расцарапала глаз. Кому-то оторвала рукав. Вызвали охрану, меня отвезли в спецприемник, продержали до сентября и прямо оттуда — по возрасту, как всех семилеток — отправили на поселение в Детский Город. Я знаю, бабушка добивалась права на свидания со мной, но ей отказали. Жива ли она сейчас? Что стало с картиной — успела она ее бросить в бочку с огнем или нет? Не знаю. Я жила в мерцающих оттенках зеленого, в шумном вихре мазков, закрученных против ветра, живых и грубых, царапающих пальцы.

Меня держала мечта найти то место и время, где все это происходит... Где ничего не происходит. Это означало — найти художника, который все это нарисовал. А раз найти его не смогла даже тайная полиция, я стала искать его в себе. Карандаш как-то незаметно прирос к моей руке. И так я ощупывала мир: я думала карандашом по бумаге, видела карандашом по бумаге — и по-другому уже не умела.

Когда мне исполнилось четырнадцать, мастерица подала в Епархию просьбу-рекомендацию принять меня в школу юных иконописцев при местной церкви. Я обрадовалась: там будет все по-взрослому, все иначе — настоящие краски, материалы. Все всерьез, как в артели у отца. С нетерпением я ждала ответа из Епархии — когда же, когда... Месяц прошел, и вдруг объявляют этот закон. Закон о Второй Заповеди. Запрет на образа.

Это было два года назад. С тех пор — «ни зверя, ни человека, ни ангела, ни духа».

На школьном дворе несколько дней пылали костры из наших рисунков, книжек с картинками, плакатов, размалеванных и гравированных досок, гобеленов, штампованных иконок, статуэток, — а мы все несли и несли, и они все не кончались... Вся анимотека была перевернута вверх дном, от мультфильмов ничего не осталось. Но

дети ликовали. Это были несколько счастливых дней чистого разрушения. Дымы вились над холмами Детского Города, пепел и копоть носились в воздухе, черные хлопья покрыли сады и парки, скамейки и дорожки, на месяц хватило работы дворникам. И когда наконец все было вынесено и сожжено, дети еще долго не могли успокоиться: кто тащил двуногую корягу из живого уголка, кто — любимую куклу, кто — семейную фотографию. Но взрослые нам объяснили, что игрушки, коряги и фотографии не запрещены законом.

«Чем отличается детский рисунок от детской игрушки? — говорил Ментор. — Рисуя нечто живое, телесное, с глазами и чертами, вы искушаетесь, поскольку создаете характер, и характер этот легко принять за душу — вот и ловушка! Никто не может вдохнуть душу в творение, кроме Господа. А игрушку штампует машина. Понимаете разницу? То же и фотография. Это просто механика: щелк на кнопку, и все. Помните, что душа человека — это для нас вдох. А для Бога — выдох. Метафизическая циркуляция духа. Душа человеческая — выдох Бога. Но что может выдохнуть человек в свое так называемое творение, кроме углекислого газа? Посему сказано: не делай себе никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, ибо в Судный День великому мучению будут подвергнуты художники!».

Рисование было повсеместно запрещено. Нет, конечно, что-то осталось. На уроках женского ремесла мастерица задавала нам придумывать разные узоры — геометрические или из цветов и листьев, по которым мы затем делали вышивки, плели из бисера, расписывали по тарелкам. Иногда было задание: сочинить орнамент для фигурной решетки, оконного ставня или печного изразца — тут следовало угодить мужскому вкусу, потому что эскизы отдавали мальчикам, чтоб уже на своих уроках они по нашим рисункам гнули металл, точили дерево, выпекали кафель. Иногда мы рисовали перья птиц. На павлиньих перьях есть глаза — ненастоящие, вроде маскарадных. Это можно. Некоторые цветы тоже выглядят как очи. А бывает что и похожи на фигуры людей, зверей, ангелов и бесов. Таковы орхидеи. Их рисовать — только по особому разрешению. Самый безопасный для рисования цветок — роза. Ничего в нем нет человеческого, одна закрученная внутрь спираль. Чистая математика.

Математика — это хорошо. Хоть и умный предмет, а богоугодный.

Так говорит наш Великий Государь Помазанник в своем Послании «О пользе и вреде знаний», которое каждый год, 1-го сентября, мы слушаем на торжественной линейке.

«В математике нет символов для неясных мыслей. Она не искутит тебя пустословием и мудрствованием лукавым. Она речет на языке идеальных форм и чисел, которые суть отблеск Божества. Ибо это единственная наука, что стоит посредником меж духом и материей и позволяет слабому человеческому разуму воспарить, но не вознестись, понеже паки и паки преподносит ему урок смирения пред лицом бесконечности и величием Божьего замысла.

Смирись и возрадуйся! Не каждый способен к наукам — но каждый способен к полезному труду. Задача школы — обнаружить и развить твои способности, обучить ремеслам и дать знания, которые послужат дальнейшему процветанию и укреплению Нашего Великого Государства во славу Нашу.

Вот единственная практическая цель существования умных предметов и отраслей знания, по большей части бесполезных для духовного воспитания. А иные, о коих умолчим, и вовсе способствуют развращению умов и падению нравов. Вы знаете, что случилось с нашими внешними врагами, — все они, молясь на так называемый научно-технический прогресс, погрязли в обезьяньем позоре своих богомерзких учений и так оскотинились, что мы вынуждены были огородиться от них нашим Великим Чеканным Окладом. Но с высоты дозорных башен мы зорко следим за ними — и что говорим? Правильно. Слава Богу! Хвала Всевышнему, что хранит благословенную Нашу Державу и помогает уберечь возлюбленный Наш народ от испарений трупного яда, которым насквозь отравлен воздух внешнего мира.

Сказано в Писании: «Начало мудрости — страх Господень», и яко Мы, по высочайшей воле Нашей, страх имеем, тако даруется Нам и мудрость в державном управлении и духовном окормлении народа Нашего возлюбленного. Недаром одной из первых и мудрейших реформ наших стала реформа образования: из школ Мы изгнали все богопротивные науки и сатанинские учения, предав их забвению.

Но сие лишь начало пути: еще многое предстоит совершить во славу Нашу. Вы еще увидите великие чистки и благодатные кары — скоро, скоро грядет новая эра целомудрия, поелику страх и мудрость Наши возрастают и взывают к решительному действию. Возлюблен-

ный Наш народ! Возрадуйся! Скоро, скоро вся твоя жизнь станет одним страхом Божиим, а все грехи твои, яко багряные, как снег убелятся. И так унаследуем Царствие Небесное!».

Я не осмысливала всех слов, но звуки впивались в мою душу и, будто кристаллы, распускались ледяными узорами по всему телу, вызывая дрожь. Дрожь и восторг — и сострадание ко всем детям внешнего мира: как они там, в миазмах трупного яда?.. Почему-то представлялись мне они все какими-то формами без движения, вроде зародышей, которые лежат полумертвыми в зловонных ямах, во тьме, поодиночке, и даже стонать не могут от недостатка сил. О, если бы услышали они животворный благовест колокольных звонов или песни муэдзинов на восходе луны! Узрели светлоогненный лик Стожильного Государя!

Еще до Закона о Второй Заповеди впервые пыталась я срисовать с фотографических портретов его черты: пухлые младенческие ланиты, золотые уста и газовые очи... Но Ментор сразу мне указал, что не следует рисовать Государя никому, кроме изуграфов с лицензией, а тем более — детям неразумным, мол, кощунство это. «Носи его здесь, — он приложил к своей груди руку. — И не дерзай уловить на кончик грифеля образ того, кто повсюду». Да, Государь, — повсюду. В цитатах, портретах, речах и песнях, на всех экранах, во всех фильмах и книгах, в молитвах и учебниках... Хрестоматия русской литературы наполовину состоит из его великих произведений, а наполовину — из текстов о нем: хвалебных од, гимнов, биографических рассказов. Вчера, например, мы писали изложение по отрывку из романа Добрыни Портного «Колоб света».

«Люблю! Люблю этот младенческий круглый лик, в своем мерцании переходящий все возрасты. Этот колоб света, плод непорочно-го зачатия... — читала наша маленькая горбатая русица, похожая на сову, вцепившись в книгу, как в добычу, крючковатым носом вода по строчкам. — О, великий, сияющий, стоочитый, стожильный царственный младенец! Окропи золотой уриной наши сердца! Бей фонтаном агисмы по черным врагам Отечества! О, метафизический уд в трех ипостасях войны — в битве за кровь, за слово и за время. Разве не благодаря тебе мы победили прошлое и будущее, перемолов его словом и оросив кровью? Явив изумленным народам наш уникальный исторический миф. Нашу великую русскую судьбу. Наш особый духовный путь по кругу, путь-хоровод. Разве не каждая девица

вождедеет понести от тебя, чтобы иметь тебя во чреве своем?»

На этом месте несколько человек захихикали. Русица пронзила класс дальнорезкими хищными глазами. Все обмерли, как мыши. Она продолжила: «Но чу! Я вижу парад всеобщего счастья, я вижу возрождение Государя в новой ипостаси: он восходит на трибуну в красном плаще — и народ благодарно плачет».

7. Хаканарх

Леднев прошел в кабинет, сияющий после утренней уборки, как зеркало. Бросил деревянную звезду на цветочный столик. Размотал шарф и, выпучив глаза, на пару секунд замер перед стеной с биометрическим распознавателем.

— Идентификация подтверждена, — сказала стена, просканировав его радужную оболочку, и открыла доступ к панели управления, где, в свою очередь, стоял еще один замок — дактилоскопический сенсор. Леднев ввел цифровой код.

— Идентификация подтверждена. Код верен. Доброе утро, Дмитрий Антонович! Включить рабочий режим?

— Нет, — язвительно проворчал Леднев. — Я просто так с этими уровнями защиты бодаюсь каждый день. Странные вы вопросы задаете, барышня.

— Не понимаю ответа. Повторяю вопрос. Включить рабочий ре...

— Да, да. Будь так добра. Это шутка была. Шутка. Дожил — со стеной по душам разговариваю...

— Я понимаю, что такое шутка. Ха, ха, ха. Рабочий режим включен. Включить систему хирургического ассистирования?

— Валяй, — сказал Леднев, снимая мокрое пальто и встряхивая.

Из рукава что-то выпало. Какая-то бумажка. Видимо, забилась с ветром и мусором, когда он бежал к Чангану от сувенирной лавки «В гостях у сказки». Нагнулся, поднял, развернул. Листовка.

«Воспрянь, человек! Хаканарх идет! Всеочищающий ураган гнева и справедливости! Слышишь? Слышишь роковой этот рокот и скрежет великого горизонтального колеса? Чуешь? Чуешь этот воздух — свежий, грозовой, электрический воздух свободы? Это — Хаканарх, его поступь и дыхание! Это — буря, в черных тучах закипающая буря

народного терпения и слез. Сегодня разразится она молниями и ливнями — и закрутится ураганными вихрями — и сметет всю неправду, на длинных ходулях которая из веку ходит над нами и топчет нас. И грянет за ней война великая, страшная, последняя брань между небом и землей, как обещали нам старцы. А за войной придет голод людоедский. Но и война, и голод будут нам во спасение — как сказал схиархимандрит Христофор: «если не будет войны, то плохо будет, все погибнут. А если будет война, то недолгая, и многие спасутся, а если не будет, то никто не спасётся»...

— Что за...

Леднев разорвал листовку на мелкие кусочки и бросил в корзину.

Никогда, ни на секунду он не забывал про встроенную в линзу камеру: все, что он видит, — видят и они. Дурманы. Невидимки.

Но каков слог! И что-то в нем есть неуловимо знакомое. Эта пышная кровожадная лексика, эти синтаксические инверсии, которые вдруг ломают весь речевой строй, из-за чего кажется, что текст написан роботом... Ну, конечно! Это же типичный образчик государственной литературной компьютерной программы «Русский стиль». Никакие анархисты не стали бы так изъясняться. Тем более — хакер-анархисты. Они говорили бы на языке молодежи, на этом гнусном чечено-китайско-старорусском волапюке, которым пользуется поколение Глеба.

— Дмитрий Антонович, поступил новый запрос на прием, — сказала стена.

— Что там?

— Консультация. Клиентка — Семицветова Анна Игнатьевна.

— Когда она хочет?

— Сегодня.

— Ну, так назначь ей. Согласуй там с графиком. У меня, вроде, как раз два окна сегодня, — он переоделся в медицинский халат.

— Система приведена в готовность, — сообщила стена. — Дмитрий Антонович! У вас очень грязные туфли. Включить антисептик?

— Включи. Включи, дорогая, — пробормотал Леднев, закидывая руки за голову и прикрывая глаза.

Зачем она притворяется заботливой женой? К чему эти фразы про туфли? Антисептик включается автоматически, как только надеваешь халат, — каждый дурак это знает. Но они зачем-то поставили мне

эту пошлую программу «женская забота», которая задает кучу бессмысленных «человеческих» вопросов.

Слава богу, систему хирургического ассистирования он сам отрегулировал с установщиком — и сделал ее максимально молчаливой, никакой симуляции эмоций, кроме чрезвычайных ситуаций, когда роботы обязаны вопить о неполадках.

Леднев включил режим «контроль», прошел из приемного кабинета в смотровую и оттуда, через дезинфекционную камеру, — в операционную. Все ассистенты были на местах. Анестезиолог — многосуставная клешня на колесах — загружал в себя патронташ из шприц-тюбиков. Зеленым светом мигала беспроводная липучка-анестезистка, настраивая программу пульса. Жужжали дроны-медсестры. Еще одна клешня — разветвленная в три руки — закладывала в свои секции упаковки ватных тампонов, наборы скальпелей, пинцетов и перевязочных лигатур.

Тут же, в операционной, за лазерной решеткой, высилась бесконечная передвижная башня клон-банка. Леднев ввел через линзу код отмены охранной сигнализации, включил режим «расписание операций на сегодня» — пронаблюдал, как ячейки с нужными номерами выстроились в нужный порядок, дал команду «верно» и снова закрыл решеткой.

Все готово к работе. До первого пациента осталось десять минут.

Он вернулся в приемную, сел за стол, снова вытянул ноги и погрузился в нейрограмму допроса зэка-1097.

8. Смерть на Вихляйке

— Се чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое, не усрамяся, ниже убойся, и да не скрыеши что от мене...

Голос у отца Андрея напевный, медовый. Хорошо, что сегодня он служит. Он добрый и лицом красив, не то что отец Григорий, с красным носом и курьим глазом, волоса маслом смазаны, сам весь раздут от сала и важности, а шея тонка яко кишка. И злющий — жуть! А то пришлось бы этому индюку исповедоваться в своих художествах. В прошлый раз он как услышал, что имею тайный грех рисования, — так аж затрясся весь, как медный чайник на огне, и епитимью наложил. Андрей не наложит... А хоть и наложит — от него и наказание

в радость...

Вот первый кто-то пошел к аналою, исповедь началась, а я и не заметила, как пропустила все чинопоследование. Благо, моя очередь еще не скоро.

Страшно мне опять. Сколько раз я уже каялась и твердила «больше никогда» — а все повторяется, значит, живого раскаяния нету. А вдруг на этот раз отец Андрей рассердится? Вдруг закричит: «Упорствуешь!». Интересно, как он сердится? А если утаить? Скажу про другие грехи, а этот как бы забуду.

Не рассказываю ведь я, как мы по ночам с Ритой развлекаемся... Или вон, Демьян Воропай — вряд ли ведь признается в преступном одиночестве и рукоблудии... Хотя про рукоблудие мог тогда и наврать. Зачем? А поглумиться. То-то зыркал на нас с Ритой — как нам рожи свело. Нет, вот он-то как раз в охотку и расповедает кротчайшему отцу Андрею о своих пакостях. В деталях. И присочинит еще сверху.

Нет, нельзя утаить. И думать о том не смей. Как потом в обмане причащаться?

Ира Левицкая идет к аналою — как белая овечка к жертвенному алтарю. Это надолго... Почему самые невинные дольше всех исповедуются? В чем ей каяться? Видно, перечисляет всех букашек и клопов, которых раздавила в постели. А нам тут стой, жди, трясись.

Все, наконец епитрахилью ее покрывает отец Андрей. Я за ней. Моя очередь.

Подхожу.

Хотела начать с грехов против ближнего, но вдруг сразу выпалила:

— Образы рисовала.

— Опять? — отец Андрей даже как будто хочет засмеяться, но сдерживается.

Но не сердится:

— Что за образы?

— Разные. Ангелов, людей, животных всяких...

— Ангелов какого чина?

— Не знаю. Просто ангелов. С крылами.

— Грех это, — как бы опомнившись, говорит Андрей и задумывается.

— А выражение лиц какое? — спрашивает затем потише, с любопытством. — Грустное, радостное, злое?

— Не знаю... Пожалуй, никакое. Спокойное. И немного строгое, — я тоже перехожу на шепот.

— Грех это, — повторяет он мягко. Будто я сама не знаю! Конечно, грех...

Смотрит внимательно. В глазах огоньки от свечей. Улыбается:

— А людей? Тоже просто людей? Без имен?

— Нет... С именами.

— Мужеского полу?

— Всякого.

— Прелюбодействовала с кем-нибудь из них в мечтах?

— Нет. То есть... Я не знаю... Один из них... Мне хочется зачем-то, чтоб он меня любил. А он только шутит. И я от этого злюсь. На всех. Такая злая стала! Всех мысленно браню и осуждаю. Вот про нашего отца Григория недавно думала: индюк.

Отец Андрей смешливо вскинул брови, но вовремя поджал губу и снова повторил:

— Грех это.

Вот заладил! Что же я, сама не знаю? Иначе бы зачем говорила? Это как если бы на уроке географии задание было перечислить страны, какие знаю. И я бы называла: Австралия, Китай, Идель-Урал, Междуморье, Турция... — а учитель бы всякий раз мне такой: страна это, страна это... Так я о чем и говорю: страна! Задание такое — страны называть. А тут задание — грехи, вот я грехи и называю.

Опять грешу, теперь вот ругаю духовника. Сказать ему? Не буду, а то как Ира Левицкая стану поперек всей очереди костью в горле.

— Все у тебя, чадо? — спрашивает.

— Все, батюшка.

— При тщеславных помыслах молитву святого Иоанна Кронштадтского читай — и буде с тебя. Она краткая. Иисусову молитву не забывай на любой случай. А образы уничтожь в отхожем месте и боле не рисуй. Порви и смой. Обещаешь?

— Да, батюшка.

— Голову склони. Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия...

Выходишь после службы из храма, а внутри еще долго песнопение какое-нибудь разливается — Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, или Символ веры, или Богородице дево, радуйся...

Идешь, идешь, а оно звучит, звучит... Горло дрожит, безгласно подпевает, в ноздрах — курение древесного масла. И так на всем пути, до самой школы. Вроде бы идешь — а вроде там еще стоишь... А лучше сказать — несешь с собой храм, вместе с хором и елеем... Благодать!

А на улице ведро и благорастворение воздуха: мороз и солнце, день чудесный — как писал когда-то штабс-капитан пехоты... Не помню имени, кудрявый такой, смуглявый.

Но то был обман погоды, коварство умирающей зимы. Неделя серенькой оттепели — потом дрязга на двое суток, и вдруг небо разоблачилось, и солнце засияло, воздух затрещал — но лед на реке успел уже подтаять за неделю и не успел схватиться заморозком за день. И вот эти дыры побежали по льду, чтобы срезать путь до школы. Хотелось им быстрее.

Две провалились. Таня Куриленко сразу канула. Вторая — Люся Городец — чернела черной точкой в полынье, хватаясь за края. А третья — Ира Левицкая — ей повезло: под ней не треснуло, она стояла в двух шагах от полыньи, где чернела Люсина голова, — страх приморозил ее к месту. Мы видели с берега только узкий силуэт, поникший, сгорбленный. Как обгорелая спичка.

Первым побежал Ментор. Скинул шинель, пиджак, рубаху, все до исподнего, принялся было разматывать портянки, но бросил и помчался так. Полосы портянок взвивались следом, тяжелея с каждым шагом от налипающего снега. Но и десяти шагов не сделал: едва только забереги пересек — как провалился. Морковка заголосила: «Тонет, тонет, помогите! Сергей Владимирович, миленький, держитесь! Кто-нибудь!». Пока Морковка, ослепленная горем, бегала по берегу туда-обратно и расцарапывала щеки на лице, Ментор каким-то одним ловким движением перекатился из полыньи на лед и стремглав помчался дальше, к цели. Морковка, протерев глаза от слез, видит: полынья пуста — и как завоет: «Утону-у-ул! Сергей Владими... Господи! Сережа!.. Утонул!..» — не замечая, как Ментор, стремительно удаляясь, бежит живехонький по льду реки, весь красный, словно кипятком ошпаренный. «Вот же он! Живой! Вон там, вот там, смотрите, Ольга Марковна!» — закричали ей со всех сторон. И тотчас Ментор снова провалился. Ухнул под лед с головой. Вынырнул. И завозился в густой воде, как муха в киселе. «Да что же это?!» — Морковка закрыла ладонями лицо и хлопнулась пышным задом в снег — аж юбка вздулась шаром. На этот раз Ментор застрял. По его тяжелым, вязким

движениям было видно — изнемог. Он пытался выскользнуть из полыньи, по-тюленьи наползая на лед, — но лед под ним гулял и ломался.

Вдруг из толпы выскочил какой-то старшекласник, мигом разоблачился, выдернул из штанов ремень и, намотав на кулак, побежал к реке, сверкая в солнце жемчужными мускулистыми статями. Все закричали: Тимур! Тимоха! Давай-давай!

Он двигался мощно и грациозно, как дикая кошка на мягких лапах, — длинными прыжками домчался до лунки Ментора, лег плашмя за три локтя и бросил ему конец своего ремня, но Ментор не взял, а сердито закричал что-то, затряс сосульками волос, кивая в сторону девочек: мол, не меня спасай, а тех...

Про тех уже все забыли.

Я посмотрела на них: Люся все еще держалась, откуда только силы? Такая хрупкая, малахольная, всегда последняя на физкультуре. А Ира так и стояла рядом спичкой, в той же позе. Уж не померла ли стоймя?

Здесь, у подножья Храмовой горы, река Вихляйка вширь берет, а зимой, засыпанная снегом, кажется бескрайней, сливаясь с дальним пологим берегом и как бы продолжаясь в нем до горизонта. Посередине реки обычно темнеет несколько промоин — в том месте лед как промокашка, слабый, рыхлый. Видимо, там проходит быстрина, бурное течение точит лед даже в сильные морозы. Как раз в полосе промоин они и находились. Если такие щепки, как Люся с Таней, там проломили лед, — что же будет с Тимуром? Он по весу как раз за двух за них сойдет.

Не знаю, что на меня нашло... Как будто ноги сами понесли. На ходу платок размотала, сорвала с головы... Бегу — а вслед Морковка: «Дерюгина, куда?! Назад, вернись на место!». Поздно.

У Люси — сизое лицо без выражения: все мышцы и зубы дробно трясутся с частотой какого-то заводного механизма, глаза остекленели. «Хватайся за платок! Люся! Пожалуйста!» — прошу я. Она не реагирует. Наконец просовывает вперед прозрачную паучью лапку и вцепляется в платок. Но только я потянула, как он выскользнул из ее окоченевших пальцев. Я снова бросила, но Люся уже была где-то далеко, она словно задремала, голова ее откинулась назад и легла на воду с какой-то успокоенной, нежной улыбкой.

Непонятно было, что делать дальше. Я лежала ничком на ледяной

каше и звала: Люся, Люся! Одежда пропиталась снизу водой, обкладывая тело холодом, как глиной... А Ира Левицкая все стояла рядом, застыв над нами черной тенью, как смерть. Смерть... Это была даже не мысль, а внезапная тоска, словно в груди пошевелилось что-то гнусное, вялое — и сразу все показалось напрасным... Было и другое — досада на себя, неловкость за свой порыв — зачем так выделась, если ни на что не пригодилась? И что теперь — бесславно отползти? Вдвойне позорно... Лучше замерзнуть тут с ними, умереть. А даже если все мы тут умрем, — вдруг явилась простая мысль, легкая, ясная, — разве сейчас не лучшее для этого время? Самая пора! Ведь мы все только-только причастились. Чего ж бояться? Никто же да убоится смерти, свободы бо нас Спасова смерть...

Я проползла на локтях вперед, протянула руку к Люсе — и провалилась. Ледяная вода клацнула над моей головой, как челюсти.

9. Автограф со слезами

Дверь жажнула, и в кабинет ворвался какой-то стихийный человек.

Это был высокий, идеально сложенный, очень суетливый и ловкий господин — при входе уронил вешалку и успел ее поймать на лету, словно жонглер ухватив тремя руками падающие вещи. Точно и аккуратно вернул все на место. Улыбнулся по-детски широко и беззащитно:

— Ох, извините, ради бога! Я опоздал, такие пробки сегодня, погода как взбесилась, вы тоже попали в метель? Нет, ну где это видано — метель в сентябре?

— И не говорите, — ответил Леднев.

Он развернул экран с графиком дня. Так, это у нас кто... Господь всеблагой! Это же сам Николай Верховцев! В народе — Коля Трехочковый, легенда баскетбола, многократный чемпион Внутреннего Мира, член зала спортивной славы России, герой физического труда и совершенства, как же я...

— Как я мог... Как я мог вас не узнать, — пробормотал смущенно Леднев, вставая и отдавая посетителю спортивный салют. — Как я... Нет. Просто не верится... Это вы? Это правда вы — Коля Трехочковый? О! Что это был за матч! Что за бросок! Это было что-то невероятное... На последних секундах! Бросок с сиреной! И — оп-па! — он

даже подпрыгнул, изобразив руками бросок. — Так чисто, не касаясь дужки, с таким нежным шорохом — шших! — и точно в корзину!

Верховцев покраснел до слез и с восторгом воскликнул:

— Нежный шорох! Как хорошо вы сказали! Я до сих пор слышу его... — этот нежный, с захлестом, шорох сетки, когда сквозь нее проходит мяч... словно сквозь сердце... Боже, что за звук... Божественный звук! Сколько же лет с тех пор прошло...

— Пятнадцать.

— Пятнадцать! Вот ведь... А как вчера! И все еще помнят люди! Помнят... — с умилением загрустил Верховцев. — Ручка у вас есть?

— Ручка? Какая ручка?

— Вы не приготовили ручку? А как я тогда вам автограф дам?

— Ах, это. У меня вот... Инк-стилос. Заваялся.

— Это же американская модель?!

— Китайская.

— Но содрали-то у пиндосов? А? Вот китаезы, да?.. Тоже мне братки-союзники, одно название, да? Сколько волка ни корми...

— Заваялся, — повторил Леднев раскаянно.

— Так это... На чем расписаться?

Леднев снял медицинский колпак с головы:

— Здесь, пожалуйста. Напишите: Глебу. Это мой правнук... Когда-то баскетболил, хотел стать такой же звездой, как вы.

— О, правда? В вас, небось, ростом пошел?

Леднев засмеялся:

— Верите ли, в детстве я ненавидел свой рост. Мне кто-то сказал, что таких длинных не берут в космонавты. А я, представьте себе, мечтал полететь на Луну.

— На Луну? — удивился Верховцев. — Зачем?

— Это была общая мечта всех мальчишек моего времени. Знаете, Лунная программа и все такое. После полета Гагарина о чем еще можно было мечтать? Только о полете на Луну.

— Гагарин, — озадаченно произнес Верховцев. — Гагарин. Знакомая фамилия. Был у нас в команде один Гагарин. Маленький такой клоп, а прыгучий, и так с мячом слипался, что поди отними. Неплохой был игрок, да... Значит, кому?.. Как, вы сказали, зовут вашего парня?

— Глеб. Он ваш преданный фанат. Был легким форвардом в школьной команде... Потом в универе... Рост два метра пять, очень был хорош в передней линии атаки. Сейчас-то, конечно, не играет, не до

того — работа, дела...

Верховцев, одобрительно кивая, расписывал колпак старательными каракулями, но вдруг, на последних словах Леднева, бросил ручку, уронил голову в ладони и беззвучно зарыдал.

— Что с вами? — всполошился Дмитрий Антонович. — Дорогой мой! Что такое?

От его сочувственного голоса Верховцев не успокоился, а наоборот, впал в совершенное отчаяние. Не справляясь со слезами, он схватил колпак с автографом и прижал к лицу.

— Мой сын... Мой сын... — всхлипывал он. — Помогите мне... Я не могу... Я этого не выдержу...

Леднев поднес ему стакан воды и деликатно похлопал по плечу:

— Ну-ну... Не надо, не надо. Я помогу вам, помогу, обещаю. Что случилось? Расскажите.

— Он погиб. Наш единственный мальчик. Три дня назад. Я не знаю, как дальше жить. Моя жена третьи сутки ничего не ест, не спит и молчит. Он был такой... такой... Таких не бывает... Прошу вас, клонируйте его! Верните мне его! Вы ведь можете, правда?

Леднев с тяжелым вздохом потер переносицу:

— Нет. Тут я помочь не могу. Репродуктивное клонирование человека запрещено Духовным Комитетом.

Он почти не врал. Клонирование человека действительно было запрещено. Всякого человека, любого. Кроме одного единственного — Государя-Помазанника. Да и в самом деле, кто бы осмелился сказать, что Государь — это какой-то там «всякий, любой»? Никто.

Тем более, что никто и не знал об этом — кроме особо секретного спецотдела ОТО (Охрана Тела номер Один). В народе, конечно, ходили слухи, будто бы у Государя есть клоны, — но слухи эти ходят испокон веков, как байки об инопланетянах и шпионах-андроидах, и давно перешли в разряд фольклора. За все годы работы Леднева в клинике было лишь три случая, когда к нему обращались с такой просьбой: в первых двух это были такие же, как Верховцев, осиротевшие, обезумевшие от горя родители — второй из них дался ему очень тяжело, пришлось даже вызывать охрану. А третий случай — почти анекдот: красавец-альфонс, женатый на миллионерше, который мечтал, чтобы клон выполнял его супружеские обязанности, пока сам он будет наслаждаться обществом друзей и юных дев.

«Дорогой мой, — сказал ему Леднев. — Кроме того, что это незаконно, это еще и глупо: неужели вы думаете, что ваш клон появится из пробирки, как гомункул — сразу в виде вашей готовой взрослой копии? Его ведь нужно, как минимум, двадцать лет где-то растить, а вас все это время регулярно омолаживать, ведя довольно сложные биохимические расчеты, чтобы в итоге ваши возрасты совпали. Я уж не говорю о том, что когда ваш клон созреет, вдруг может оказаться, что он совсем не горит спать с вашей престарелой женой и быть вашим алиби. И вообще быть с вами заодно. Вполне возможно, что ему, наоборот, очень захочется стать вашим злейшим врагом. И что тогда, а?».

И все. Не надо ничего говорить о морали. Аргумент к закону тоже часто не действует. Чтобы человек оставил свою безумную мечту, иногда достаточно показать ему краешек экзистенциальной бездны, в которую он ввергает себя этой мечтой.

Иногда — да. Но не в случае с Верховцевым.

— Не понимаю, — твердит он. — Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы же обещали помочь, вы же сказали...

— Я помогу вам. Но в пределах закона. Если вы не можете больше иметь детей, вы их сможете заиметь благодаря нашему методу...

— Нам не нужны другие дети! Как вы не понимаете? Нам нужен только он...

— Послушайте. Клон — это лишь внешнее подобие. При всей своей генетической идентичности это будет совсем другая личность. Отдельная воля. Другое сознание.

— Пусть будет! У меня есть деньги! У меня три усадьбы — я все продам! Только верните мне его!

И вот тогда ничего не остается, кроме как повторять аргумент к закону. Тупо повторять, раз за разом, невзирая на все мольбы:

— Это противозаконно. Это нельзя. Запрещено. Нам никто не позволит. Ну, сами посудите, как? Вы же знаете: Комитет нас видит и слышит. Вот прямо сейчас.

— Тогда пусть Комитет ответит, почему какого-то дохлого пекинеса можно клонировать, а нашего мальчика — нет? — Верховцев выхватывает из кармана мятый рекламный буклет «Доктора Айболита» и бросает на стол Ледневу.

Что ж такое, опять этот «Доктор Айболит», он меня сегодня преследует, что ли?

— Потому что, — медленно и устало говорит Дмитрий Антонович, отправляя буклет в измельчитель, — человек сложнее пекинеса. Вы едва ли сможете отличить, что вам подсунули: другого пекинеса или копию вашего. Он будет так же гавкать и вилять хвостом. Перемены его характера и привычек вы отнесете к каким-то загадочным свойствам его звериного естества. Мало ли что взбрело в голову собаке? Но человек — не собака. Имей вы близнецов, вы бы очень скоро заметили между ними разницу. И точно так же вы сразу заметите разницу между вашим любимым сыном и его клоном. Даже если вам очень хочется обознаться. Но, видите ли, чем больше вам хочется обознаться — тем больнее будет прозрение.

«А ведь и впрямь забавно, — вдруг подумал он. — Что человеку запрещено, то разрешено зверю и Помазаннику».

Он представил, как произносит ту же речь над Телом Номер Один: «Перемены его характера и привычек вы отнесете к каким-то загадочным свойствам его звериного естества». Леднев встряхнул головой: прочь, прочь, крамола. Я всего лишь веселый авантюрист в этом море грязной пены.

Выпроводив беспокойного посетителя ни с чем, Дмитрий Антонович снова развернул текст нейрограммы и заставил себя вернуться к чтению. Подспудно его что-то тревожило в этой расшифровке. Что-то не предусмотренное им, не заложенное в ожидания. Что-то в душевном устройстве этой дикой зонной девочки... Он пытался понять: насколько эта сложность правдоподобна? Вспомнить: насколько он сам был сложен в свои шестнадцать? Вспомнил — и ему показалось, что тогда он был гораздо сложнее, чем сейчас. Но куда охотнее он вспомнил бы себя другим, тем, кем он был еще до ломки голоса, — совсем простым, маленьким и ясным. Зачатком человека.

10. Прозрачный изолятор

Люся утонула сразу, как только я провалилась, сломав под нами лед. Ее и Куриленко Таню потом нашли по светлякам.

А меня и Левицкую Иру спасла береговая охрана. Не помню, как. Очнулась я уже в больнице.

На другой день мне передали посылку от девочек — медсестра

принесла в палату, показала, но не отдала (нельзя до выписки): банку клюквы в сахаре, моченые яблоки, несколько разноцветных лент с подписями и деревянную коробочку-головоломку — это, конечно, от Риты. Видно, вещица из тех заморских сувениров, которые отец привез ей из недавнего плавания. У Риты уже были такие шкатулки с невидимым замком — она отдавала их на круг, и мы всем классом искали «ключ», кто первый справится, тому и награда. Внутри коробочки обычно лежал какой-нибудь сюрприз: шоколадный орех в съедобной бумаге, или желатиновый червяк, или магнетик, или еще какая-нибудь невиданная чепуха, и Рита всегда великодушно оставляла награду победителю. Хотя и само разгадывание уже было наградой, но теперь она всё отдала мне — и загадку, и заключенный в ней подарок. Мне стало совестно: зачем я злилась на нее и обзывала в мыслях душой?

Лечили меня какими-то вонючими отварами, ставили припарки из печной золы и прокаленного песка, из горчичного семени, овса и отрубей. Огненные банки, водяные грелки, компрессы с хреном — все как положено. Однако я ни то ни сё — не поправлялась и не кончалась, а только вдруг по роже огники пошли, и с подозрением на корь меня перевели в инфекцию.

И вот я здесь — который уже день по счету, не знаю.

Инфекционное отделение — место особое, все об этом говорят: здесь в палатах лежат поодиночке. И всегда мне казалось большим везением попасть сюда, всегда было любопытно: как это — жить неделю-две, а порой и месяц в одиночестве? Как это возможно? Оказалось, что никак. Уединение здесь невозможно. Инфекционный изолятор — самый просвечиваемый из космоса объект. Да и космоса не нужно: все стены здесь стеклянные, все палаты видны насквозь из любой точки обзора, каждый угол как на ладони. Здесь, как нигде, ты чувствуешь себя беспомощным и голым: одежду отобрали, ходи в срамной рубахе с завязочками на спине и всякий божий день при осмотре заголяйся... И каждый из своей стеклянной клетки позор другого видит. Даже в туалете не закрыться — справляй нужду в горшок за шторкой на корчах.

И жар. И все в каком-то отвратительном бреду.

То крутит меня, то выжимает — то озноб, то огневица, то сон, то явь, то лицо врача, то рыло демона, и что-то говорят, смеются, то

день, то ночь, и снова чьи-то лица, разговоры, вопросы «как самочувствие?», «ну-с, посмотрим», «был сегодня стул?» — какой стул, к чему все это, где я, зачем, что происходит, когда все это кончится? Никогда.

Ночь. Все время ночь. Сколько она длится? Где я? Кто я? Что со мной? — будто придавило бетонной плитой, ни шелохнуться, ни позвать на помощь — лежу как на дне шахты, а потолок — ш-шух — лифтом вверх, стены — крак — и вдруг сместились, и лезут на меня, кривоугольные, косые — все теснее, теснее, душат, сдавливают, давят, давят, сжимают, давят, трещат, господа, не надо — кости выворачиваются, хрустят, хр-рустят, зубы з-з-зубы кр-р-рошатся — не надо — все крошится, разламывается, дробится на осколки, где я, где стены, какие стены, что такое я? — я гряда, перемолотая гряда камней, гора обломков, я шершавое, толченное стекло, песком и гравием забитый рот, я гора булыжников, меня все больше, больше, и сверху рушатся, сыплются ковшами камни, словно какой-то исполинский экскаватор работает извне, огромная клин-баба разбивает твердый мир, крушит, дробит, долбит — и это тоже я, все камни с неба — тоже я... Я и не я. Где я? Кто я? Что я? Ты больше ничего, нигде, ты умираешь — отозвалось что-то. И стало вдруг тихо и пусто. Словно дунуло — и все исчезло: твердый мир, раздробленность, булыжная телесность. Какое облегчение, спасибо, Господи, как хорошо. Вот только жизни жаль. Куда она теперь? Зачем все это было? Предчувствие, разлитое повсюду, — подкожный трепет мира, облаченная в нищенские ризы тайна... Весь Божий мир — тайна, и вот она уходит от меня, сейчас закроет дверь, и я останусь в черной комнате смерти, здесь так пусто, так бесконечно пусто... Господи, как пусто. Как бесконечно пусто, бесконечно, бесконечно... И смысла нет ни в чем — ни в слове «смысл», ни в слове «господи», ни в слове «бесконечно»...

Черная космическая тьма, которой нет предела. Как это? Что это? Тайна — грандиозная, не вмещающаяся ни в какое воображение... И я ее не узнаю. Умру и не узнаю. Если бы можно было это представить — то, что представить невозможно, — не жаль было бы и умереть.

Увидеть бесконечность... Наверное, это была жажда чуда, какого-то немислимого дара — недоступного другим знания, которое утешило бы меня в смерти. Я молилась не о спасении души, нет — я выпрашивала себе у Бога этот последний дар истово и жадно, повторяя

всем сердцем: покажи, покажи! Бог молчал. Вокруг было все так же темно, узко и донно, как в шахте. Потом что-то сдвинулось, и я начала падать — не совсем падать, потому что низ и верх исчезли, и сама я исчезла — а вместо меня возникла невесомость. То, что когда-то было мной, сжалось в точку и понеслось по черному тоннелю — при этом и точка, и тоннель составляли нечто целое, но каким-то образом одно двигалось в другом с огромной скоростью. Это продолжалось вечность — или один миг? — не знаю. Затем тоннель вывернулся наизнанку — и замкнулся в шар, вогнутый с полюсов, как яблоко. Яблоко, сверкнув отблеском райского сада, мгновенно сжалось в точку — снова летящую в черном тоннеле. И все повторилось. И снова, и снова, и снова — но как будто не повторялось никогда, потому что все содержится в бесконечно исчезающей, не имеющей никаких измерений точке вечности. Все. Абсолютно все.

Мое сердце плачет от благодарности: он показал! Показал! Он здесь, со мной, держит меня за руку, и теперь я могу спокойно умереть...

Свет. Тяжелый. Гирей давит на веки. Глаз не открыть.

— Подними-ка ей рубашку, Володя. Да, повыше.

Голоса плывут глубоководными рыбами. Прикосновение холодных пальцев.

— Обратите внимание, коллеги — клиническая картина: цвет и форма экзантемы, характерное слияние, распространение сыпи — все как по учебнику. На слизистой — пятна Бельского-Филатова-Коплика...

— Это уже пятый случай...

— Думаю, нам следует готовиться к эпидемии.

— Да-да, я уже доложил, там принимают меры.

Голоса скрипят, меняют тембр и темп, как будто рябь идет по ним волнами. Этот приемник испорчен, выключите звук. Уйдите. Погасите свет.

— Удивительно, что она выжила.

— А я вам говорил! Не судите по категории...

— Я по телу сужу.

— А что тело? Тип атлетический.

— Скорее, эктоморфный.

— Это общее истощение. Они живут между великими и малыми

постами.

Голоса свиваются, ныряют, выплывают, тонут, отдаляются. Уходят... Уходя гасите свет. Рассеиваются, смеются вдалеке.

Приятный зимний полумрак. Вся палата видна как будто сверху и насквозь. Не так насквозь, как раньше — горизонтально, благодаря стеклянным стенам, — а вертикально, вглубь и ввысь. Вглубь я вижу цокольный этаж и печальную, озлобленную вечным девством старуху-кастеляншу, которая передает тюки с бельем своим молодым веселым товаркам — обе с крепкими короткими ногами и черноглазы. Сегодня стирка. На тюках казенные печати. На робах женщин — трафаретом номера. Кряхтят и трясутся стиральные машины, центрифуги то взвизгивают, набирая скорость, то замирают и выжидательно урчат. А рядом, если взглядом провести левее от прачечной, — морг. Три санитаря маются бездельем, режутся в самодельные карты с лицевыми запретными картинками — не то что дамы-короли-валеты, а даже джокеры там есть в трико срамном, в бесовских позах скачущие, с бубенцами на рогатых колпаках. На столе расстелена газета — первая страница с фотографией Государя. Прямо на его светлоогненном лице санитары режут белково-жировой рулет и малосольный огурец. Угрюмо шутят. Чокаются колбами со спиртом. Тут же в комнате — от пола до потолка — морозильные шкафы. В одном из них лежит утопленница Таня Куриленко, со святыми упокой. В другом — Люся Городец, прозрачная, как фарфоровая чашка, с тонкой, едва уловимой улыбкой блаженства, как и подобает красавице в хрустальном гробе.

Не надо, хватит. Больше не хочу. Я не хочу все это видеть. Погасите свет.

— Что такое, дорогуша?

Надо мной склонилось бабье лицо — размытое, с каймой света по контуру, с двойными бликами в диоптриях, в марлевом наморднике и санитарном платке с красным крестиком на лбу.

— Свет. Вы клю чи те свет, — язык ворочается во рту засохшим пластилином.

— Это утро. Утро, красавица моя. Свет утренней зари.

11. Халиф навек

Так. Десять сорок пять. Через пятнадцать минут — операция по регулярному НКС-омоложению. Клиент — тот самый Икс. Чеченский халиф.

«Внимание всем сотрудникам! — раздаётся в наушниках. — Протокол «А». Приготовиться к слепому режиму. Ровно в одиннадцать ваши персональные линзы будут отключены. Займите места по протоколу. Повторяю. Внимание...».

Ну, сейчас пойдет потеха. Вся клиника забегает по стенам и потолку. Леднев прислушался: так и есть — носятся, топочут, дверьми хлопают. Прячутся. А то как застанет слепота в неподобающем месте, будешь тыкаться по коридору и еще, чего доброго, под каблук Иксу попадешь.

И вот он входит. Коротышка с песьей шерстью на голове. В своем знаменитом спортивном костюме — лампасы, золотые позументы, серебряные газыри. По бокам от него движутся нукеры в черном. И спереди, и позади. Не меньше дюжины. Над головой кружат «ангелы-хранители» — боевые дроны-инсектоиды. В ушах жужжит, в глазах темно.

И вся эта чертова дюжина под колышущимся облаком насекомой авиации вваливается в кабинет. У каждого нукера — сабля и пистолет. Как работать в таких условиях?

— Маршалла, профессор! Мир тебе.

— Мир тебе, почтеннейший. Скажи своим кунакам выйти подождать за дверью. Ты же знаешь. Посторонним вход запрещен. Только дроны. У нас тут режим... Стерильность... Тайна операции и все такое...

— Ай-я-яй. Ты зачем говоришь «посторонние»? Ты на что намекаешь, друг? Что я не могу доверять своим людям? Ты плохо знаешь о доверии.

— Таковы правила, — бурчит Леднев. — Только дроны.

Это ритуал. Всегда одно и то же. Сейчас он покуражится еще немного, потянет нервы, изречет какую-нибудь восточную мудрость...

— Вы слышите, что говорит этот ученый кяфир? Профессор, итить-колотить! Да я и сам муджтахид, поученее тебя!

Нукеры похохатывают.

— Пряма-таки муджтахид, — ехидно скрипит Леднев. — Когда это

ты арабский выучил?

— Побурси тут еще, — добродушно скалится халиф.

Он взмахивает своей рыжеволосой короткопалой рукой — знак им уйти, и, в плотоядной улыбке щуря колючие свои глазки, говорит:

— Э! Не обижайся, Дмитрий Антоныч, дорогой! Парни устали, сутки на ногах. Хотел повеселить ребят, понимаешь, да?

Это уже его четвертая инъекция. Первая была тридцать лет назад, когда халифу (тогда еще только получившему этот нововведенный титул) исполнилось шестьдесят. Сейчас он выглядит и чувствует себя на сорок. Лучший для мужчины его статуса возраст.

— Ну, что. Проходи, раздевайся. Железки с тела снять не забудь.

— Знаю, знаю.

К халифу летит уже парикмахер — выбрить маленький кружок на затылке, куда вскоре Леднев воткнет «Кощееву иглу». Анестезиолог готовит первую, расслабляющую инъекцию. В операционной идет проверка всех систем, за которой Дмитрий Антонович наблюдает по линз-дисплею. Рутина.

Боевые дроны-охранники тем временем рассредоточиваются по рабочей территории и, прикрепляясь к потолкам, замирают.

Наконец, все готово. Через дезинфекционную камеру автокаталка везет прибалдевшего от наркоза «муджтахид» в операционную. «Ха-ха-ха», — смеется он и что-то говорит на своем языке. Леднев различает только отдельные, самые простые, слова: мама, гора, небо, автомат Калашникова, сто процентов...

Как там было? Халиф на час? Нет, это халиф навек. И я ему обеспечу этот век. Я, который не смог даже сберечь свою Галку.

«Как же я устала стареть! А ведь это только начало», — однажды с веселым отчаянием сказала она. Ей было тогда сорок семь. Она, наверное, испробовала все «экологические» методы омоложения. ВЗ-диета, холотропное дыхание, лечебное голодание, йога, плавание, бег по утрам, фармакологическая очистка организма, медитация, прыжки с парашютом... Одна беда — она быстро теряла ко всему интерес. Всегда одно и то же. Сначала: «Димка, ты не представляешь, как это круто! Я будто сбросила десять лет!». Потом: «Хожу-хожу — а толку? Я потратила год на то, чтобы моя задница подтянулась на сантиметр». И наконец: «Дима! Я поняла одну парадоксальную вещь. Все эти методы омоложения — для молодых. У них есть время на все это». Цикл

завершался всегда одинаково: ее решением пойти с белым флагом в клинику пластической хирургии.

«Не дури, Галка, — увещевал он. — Не суетись, а? Потерпи — все будет в срок. Я тут работаю как раз над одной штукой. О! Ты не представляешь... Если получится — это изменит всю геронтологию».

«Да-да-да. Ты все время работаешь над какой-нибудь одной штукой. А я жить хочу!».

«Воот! В том-то и штука, солнышко, что ты будешь жить — в три, четыре, а может и в пять раз дольше».

«Ага. В десять!»

«Это вероятно. Может, и в десять. Просто мы пока делаем скромные прогнозы. Но чем черт не шутит! Тысяча лет — прикинь?».

«Вот счастье-то! Быть тысячеклеточной старухой. Девятьсот лет деменции и паркинсона. Красота!».

«Ну уж нет, — смеялся он. — В том-то и дело! В том и суть. Мы работаем над омоложением мозга. Нейрогенез — вот ключ ко всему. Панацея. Эликсир вечной молодости».

«Еще лучше, — не сдавалась она, — жить в дряхлом теле с мозгами школьницы. Это мало чем отличается от классического склероза. Только в десять раз дольше. Лучше застрели меня сразу».

«Да нет же, нет. Все не так. Помнишь древний эксперимент над мышами? Грубо говоря, берем старую мышь, молодую мышь и эмбрион мыши. Вводим в медиобазальную область гипоталамуса старой мыши нервные стволовые клетки эмбриона — и в течение двух месяцев у нее возрастает мускульная сила и выносливость, возвращается легкость движений и гибкость костей, отрастает новый шелковистый мех, обостряются все чувства — зрение там, слух, обоняние... А главное — улучшаются интеллектуальные способности. Ты понимаешь, что это значит?»

«А молодая мышь? — спрашивает она, недобро сузив глаза. — Что с ней стало?».

«Гм... Ну, с молодой там... Как бы тебе объяснить. Короче, тут важно что? Важно понять, что в мозге найдены клетки, которые регулируют скорость старения организма. Условно — клетки молодости, так? Волшебные клетки. Когда их много — организм бодр, умен и свеж. Но с возрастом их становится все меньше и ме... — он осекается, натываясь на ее неотступно являющийся взгляд. — А... Ну так вот. Про молодую мышь. Эксперимент такой. Берем ее — и с помощью

особого вируса уничтожаем три четверти этих волшебных клеток. В результате — молодое животное начинает катастрофически быстро стареть и умирает гораздо раньше срока. Понимаешь, что это значит? Это значит, что все — вот здесь», — он, сияя, постучал себя пальцем по лбу.

«Это значит, что ты садист».

— Перевернуть в прон-позицию. Интубация. Спинальная анестезия. Креобанк, НСК-ячейка номер пять, код один ноль один. Забор НСК-материала, время доставки девяносто пять секунд, обратный отсчет: девяносто четыре, девяносто три...

Девяносто три. Сейчас ей могло бы быть девяносто три. Леднев часто думал о том, как бы она выглядела. На сорок? На тридцать пять? Или даже на двадцать — как тогда, когда они только начали встречаться... Боже мой, какая же красивая она была! Никогда не встречал таких... Золотисто-рыжие, как бы вспенившиеся кудри. Глаза — берлинская лазурь. И — веснушки. По всей коже веснушки. Словно природа перестаралась, оттачивая этот мрамор, и решила немного испортить, заляпать его, чтобы вышло не так ослепительно.

Но вышло даже лучше. Это известный прием: художники так «оживляют» чрезмерно проработанную картину — брызгают на нее краской, царапают, смазывают какие-то детали... как бы маскируя идеальную форму — которая всегда несет в себе знак посредственности.

Да. Галка была ангельски красива, но и только. Ее ничто не занимало, кроме неясных грез о каком-то невиданном, только для нее предназначенном счастье. Где-то там, впереди, но уже как будто бы здесь и сейчас, оно ждало ее. Блеск, роскошь, нега, весьма именитые персоны застыли в своих бриллиантах — чего-то ждут. Как чего? Чего еще можно ждать? Королеву бала. И вот она является — в лучах софитов, вся длинная, прозрачная, тягучая — как струя меда, и звезды ей рукоплещут. Но какое может быть счастье, какие звезды, если красота уходит? И с каждым годом — все зримей, все быстрее. Необходимо было торопиться, что-то срочно предпринимать.

— Показатели в норме. Он еще нас всех переживет, — н-да, странное это говорить ассистентам-роботам, да что уж там. — Заживляйте.

Она сбежала от него к какому-то режиссеру сериалов. Оказывается, втайне от Леднева она писала сценарии. Он потом видел эти

фильмы... «И очень даже хорошо, просто замечательно, что всю эту кинодряннь запретили», — злорадно подумал Леднев.

— Готово. В палату его. Пусть отморозится. И, ради бога, не впускайте к нему весь этот балет Хачатуряна с саблями.

Галка умерла спустя десять лет. От дочери он узнал, что после пластики «мама подседа на эмбриональную стволовую терапию». Видимо, рассказ о мышах не прошел таки даром. Ах, да, он ведь не догадался предупредить, что стволовые клетки от донорских эмбрионов опасны. Впрочем, она бы все равно ничего не поняла. В двадцатых, когда предел Хейфлика был преодолен и произошел какой-то атомно-реактивный взлет биотехнологий, Леднев наконец нашел то, что искал. То, что когда-то обещал Галке: вечную молодость. Но для нее уже было слишком поздно. И не сказать, чтобы это его расстраивало. Если кто-нибудь участливо спрашивал: «От чего умерла ваша жена?» — он, не без мстительного удовольствия, отвечал словами чеховского героя: «Покрасиветь хотела».

А теперь вот у каждого вельможи есть собственная ячейка в клон-банке. Мы с тобой, конечно, Галка, не вельможи, но не будь ты такой сукой, Галка дорогая, я бы тебе устроил по благу. Как себе. И была бы ты сейчас... ох, какой бы ты была, Галка. Какой бы ты была, девочка моя, рыжая моя девочка... А какой бы ты ни была — это все равно лучше, чем быть мертвой.

12. Вина

Болезнь прошла, и вместе с ней прошла и я — словно меня и не было до сих пор, одно только снование туда-сюда, простое сокращение мышц — мясных, словесных, умственных, то вялое, то судорожное вздрагивание кожи в сцепке с кожей мира, слабый нервный ток... И вот какая рифма, какое совпадение — вместе с засохшими струпами кори от меня отпала вся моя былая жизнь — как заскорузлая омертвевшая корка. То, что раньше было мной, так истончилось, что пропускало свет, как папиросная бумага.

Когда меня выписали, одели, натялили на мое неузнаваемо легкое тело мое же неузнаваемо тяжелое кургузое пальто, всунули в руки какой-то сверток барахла и вывели в больничный двор, я зашаталась от воздуха и солнца. словно из-под ног вдруг выдернул пьяный та-

мада скатертью-дорогу. Оно понятно: долгая болезнь, лихорадочное выгорание, затхлый изолятор — и вот: открыты двери настезь, а там — весна... Кого не закачает? Куда удивительнее было, что я могу идти. Ступать по жирной сверкающей грязи ногами. Могу шататься от глотка воздуха. Могу дышать. Могу смотреть и видеть.

Я вижу: лужи — дыры в небо, голубые проруби в земле, с перевернутой трансляцией бегущих облаков. Зачерствевший снег в тени, весь в черных оспинах и слюдяных следах. А на свету — блистающая хлябь, мартовское тимение почвы, сальные разливы с подсохшими краями. Вся земля внутри пронизана зеленой кровью трав, в ней упрямо растет маленькая жизнь сквозь большие мускулы древесных корней. Корни дерева под корой белы, как мясо пресноводных рыб, и скручены, как веревия в сетях для их поимки. Бурая с налетом седины кора ствола, бороздчатая, грубая, с южной стороны облита черным потом, а с северной — покрыта нежно-изумрудным мхом. Ветви прозрачны и коленчатые, как суставы кузнечика. В них течет молочно-сладкий сок. Я слышу, как он течет, чувствую предсмертное напряжение почки. Сейчас она лопнет, выпустит побег.

Вещество мира состоит из колебаний света, вся материя — сверкающая ткань из плотного спирального переплетения радужных нитей.

Я слышу разногласицу биения сердец двух медсестер, что ведут меня через двор по доскам, высланным поверх весенних топей. Левое стучит легко и мерно. Правое — жадными глотками захлебывается кровью. Для этой женщины уже готова домовина.

Как странно. Завтра она уже мертва, но сегодня все еще жива, идет вот рядом, пахнет вчерашними щами, любимой кошкой, постылым мужем, поддерживает меня за локоть. Это ли не чудо? Чудо, что все мы живы и мертвы одновременно — для вечности нет завтра и сегодня, нет времени, нет будущего, прошлого, сиюминутного — и все одновременно уже есть, все проявлено в замысле, как в точке, растянутой не в линию, а в глубину себя. Взять хоть этот вяз. Он надолго переживет и этих двух медсестер, и меня. Для вяза нас почти уже и нет, мы в его отрезке времени большую часть просуществоваем в виде костей и праха. Он живет, цветет, благоухает и разбрасывает по ветру свои крылатые плоды там, где я уже давно мертва. Истлела.

— Ты как привидение, — сказала Рита, когда я вошла в спальню. — Худющая! Одни глаза. Эх, мне бы заболеть! Хотя б недельку

понежиться в постели — и ничего, ни-че-го не делать... Мечта! А что в мешке? Ну-ка, дай-ка. Девки, это наши гостинцы, домой вернулись. О, а вот и моя коробочка... Что ж ты ее не раскрыла? Ума не достало?

Все стеснились вокруг нас. Коробочка пошла по рукам — ее принялись вертеть и разгадывать. Несмотря на шум и столпотворение, комната выглядела как-то просторнее, чем я ее помнила. Тут только я заметила: двух коек не хватает. Ах да... Таня и Люся... Таня утонула, а Люся... Люсю утопила я.

Я упала на кровать ничком и отвернулась лицом к стене. Если человек лежит в такой позе — кто угодно догадается: нужно оставить его в покое. Кто угодно, только не Рита — она стала меня бесцеремонно расталкивать:

— Эй, кума, ты чего? Дохлым жучком решила прикинуться? Ну-ка, давай, давай... — приговаривала она и зачем-то принялась выдумывать — это было слышно по ее лукавому голосу — будто администрация школы меня отметила за изрядство и на доске похвалу вывесила.

— Да не, — возразила Марьялова. — Не похвалу, а порицание, и не за изрядство, а за дерзость непослушания...

— И за публичное обнажение головы, — подхватила Усманова.

— Ну, или так, — досадливо сказала Рита, — короче ты у нас теперь герой-девица. Слышь?

Я в оцепенении рассматривала трещины на побелке, которые расходились от серого пятна отколотой краски, и они складывались в рисунок полыньи. Рита вдруг топнула ногой:

— Эй, девки, где Динкина шкатулка, кто заныкал? руки оторву...

В толпе послышалось легкое движение, и кто-то аккуратно положил драгоценную коробочку передо мной на подушку. Этот деликатный жест, и Рита, которая как будто хотела защитить меня от чего-то, заговорить, заболтать всем известную правду — это все было даже хуже, чем если бы они не притворялись, если бы прямо обвинили меня: это ты, ты убила Люсю, из-за тебя, выскочка, герой-девица сраная, она утонула. Пусть бы они меня лучше побили, чем так.

Девчонки разошлись по своим койкам, заскрипели пружинами — десять минут до самоподготовки, можно еще поваляться. И Рита тоже плюхнулась на свою кровать, стоявшую рядом с моей, но я чувствовала по напряжению воздуха между нами, что мыслью своей она все кружила надо мной, выискивая, с какой стороны зайти и достать меня. Зачем? Может, чтобы утешить, приласкать, а может —

вывести на чистую воду. А может, и высмеять. Или все вместе — с переходами от одного к другому и третьему в любом произвольном порядке — в одном ее душевном движении могли стихийно сочетаться противоположные импульсы...

— А! — воскликнула Рита, как бы вдруг вспомнив. — Еще, слышь, наградили того парня из 10-го! Как его... Тимур Верясов. За которым ты копыта подошла — тыг-дык, тыг-дык, тыг-дык, ура! — Все засмеялись. — А? Или как там было? Говорят, что так. Не, ну а что? Я тебя понимаю. Он такой тюн⁷, мррр... Почему-то раньше я его не замечала. А тут такой выходит — на линейке, когда ему медальку вручали «За спасение на зимних водах» — ну просто ах! Походка, кудри, плечи...

— Да уж. Сам не стоит и гроша, а походка хороша, — подхватила Гольцева с каким-то раздраженным томлением.

— А ты что злишься, Гольцева? — уколола Рита. — Грошовый, а тебе не по зубам? — Девчонки захихикали. — И чой-то он не стоит ни гроша? Какая у него категория?

Все стали гадать, наконец кто-то вспомнил, что, вроде бы, самая низкая. Как у меня, подумала я с нежной признательностью судьбе, будто, уравнив нас в категориях, она мне что-то пообещала.

И судьба в ответ тут же рассмеялась.

— Ничего, красотой возьмет, — сказала Рита.

— Уже берет: у него с Оленькой Мироновой безам⁸, всегда при ней на всех прогулках.

— Кто такая?

— Дочка военкома, первая категория. Блондиночка такая, пышненькая, сисястая. Она еще все время слова растягивает, точно зевает.

— А, эта! Хлебобулочное изделие. Ну... Тем хуже для него. Правда, Динка?

— Мне все равно, — выдавила я.

Хотелось провалиться, исчезнуть, стать невидимой. А Рита все не унималась: а все-таки жаль, говорит, что я не видела, как он разделся до портков и Ментора из проруби тащил, вот всегда я пропускаю самое интересное, знала бы — домой бы не поехала в тот день, чего я там забыла — батяню в отпуске? Нажрался как обычно и маманю-дуру за косу таскал, вот диво...

Внезапно Рита запнулась и погрузилась в себя. Как будто резко ветер стих, и повсюду наступил покой. Я почувствовала: все, отпустила,

⁷Тюн (сленг) — красавчик (от кит. — красивый, блестящий, выдающийся, изящный)

⁸Любовь (чеч.)

отстала. Только бы опять не закружила, не завела про Тимура.

— А что Ментор, как он? — осторожно потянула я за ниточку другую тему.

— Наложили епитимью — сорок дней сухоядения, и в писари перевели на пятьдесят...

— За что?

— Вот за это, — Рита указала на пустующие места, где когда-то стояли кровати Тани и Люси.

По спальне пронеслось: «Царствие небесное».

— А ведь они обе когда-то моими наперсницами были, — задумчиво сказала Рита. — Недолго, но все-таки...

С Куриленко Таней она ходила до меня. А до Тани полгода не разлучалась с Люсей Городец — их называли «солнце и луна», два небесных тела. А перед ними у Риты была Маша Великанова, но та медлительна и созерцательна, с ней далеко не уйдешь: для Маши всякая травинка, камень, цветок, птичий след, муха в паутине — письмо секретной азбукой, которое необходимо под микроскопом изучить и расшифровать. Зато у Маши есть бесценный дар — молчание, и она не замечает людей: человеческие отношения как бы вынесены за конус ее внимания. Маша — идеальная дихкина⁹. Наверное, поэтому Рита так долго не расставалась с ней, больше года. Потому что третьим — согладачаем — при ней был всегда какой-нибудь мальчик, сами вызывались, Ментору даже не было нужды кого-то назначать. Но никто из них долго не задерживался. Только на период дружбы со мной Рита сменила четырех. Первый был Борис Лезга — веселый, дяглый парень, рябой как индюшиное яйцо, — и Рита с ним шепталась и смеялась... Второй — Глеб Сухотин, очкарик, победитель математических олимпиад. Третий — Вася Цыганок, коротышка с черными маслянистыми глазами, белозубый, пугающе пылкий, он обрывал для нее кусты школьной сирени, становился на колени, на каждой прогулке клялся в любви, а иногда даже плакал. Теперь вот Юрочка.

— Глупо, — сказала я. — Ментор ни в чем не виноват.

— А кто виноват? — сощурилась Рита.

Я опустила глаза.

— Никто. Давай разгадаем твою коробочку.

— Она твоя.

— Пусть будет наша.

⁹Дихкина (сленг.) — третий лишний. Ненужная, но необходимая на свидании подруга любимой девушки, которая своим присутствием обеспечивает молчание светляков (от чеч. дихкина — связывающий, связанный).

— Ладно, — Рита пересела ко мне на кровать, взяла головоломку, повертела в тонких пальцах. — Самой интересно, чо там.

Мы бились над ней три часа, пока открыли. Там было пусто.

13. Мавка

— Что у нас дальше?

— Семицветова Анна Игнатьевна, 67 лет. История: гистерэктомия с последующей ТКВО-РС¹⁰. Операция проведена вами пять лет назад. Послеоперационное ведение пациента...

— Зови, — сказал Леднев. — И переведи ассистентов на время приема в спящий режим, они мне сейчас не нужны.

— Вы уверены, что хотите...

— Уверен.

Вошла Семицветова. «До чего ж она все-таки огромна», — подумал Леднев, глядя, как широко и крепко она переставляет страусиные свои ноги, двигаясь к нему навстречу.

— Садитесь, драгоценная моя, садитесь. Прошу. Рад, рад. А вы все хорошеете.

Семицветова сдержанно улыбнулась, сверкнув дорогими зубами.

— А что еще остается, — махнула она рукой. — Статус не позволяет расслабляться.

Белые волосы уложены в четкую скульптурную волну, слегка побитую дождем. Никаких украшений, кроме сапфировых сережек-гарнитур — в тон туфлям и объемной парафиновой накидке, которая сейчас, в тепле, медленно оттаивала до жидкого состояния, обтекая мощные античные стати Семицветовой.

Леднев выжидательно посмотрел на нее.

Ее глаза ответили «да».

— Итак, — сказал он.

— Что-то меня беспокоит. Не знаю. Может, я придумываю, но что-то как-то...

— Ох уж эта ваша мнительность. Но давайте посмотрим.

— Давайте.

— Но я, как всегда, обязан вас предупредить: вы имеете право потребовать перевести наши линзы в режим невидимости, но тогда вы — понимаете, да? — оказываетесь на все это время беззащитны

¹⁰Трансплантация клонированных внутренних органов репродуктивной системы

перед врачебным произволом.

— О господи, Дмитрий Антонович! — засмеялась она басом. — Что за формальности? Какой врачебный произвол? Сколько лет мы знаем друг друга... Разумеется, невидимость.

Леднев кивнул, отправил запрос: «Отключиться от Спутника согласно пункту 153-б о лимитированном праве на врачебную тайну по требованию vip-клиента». Сразу пришел неизменный ответ: «Разрешено» — и таймер на 10 минут. Он не очень-то доверял всем этим «разрешено» — трудно представить, чтобы Комитет сам себе ограничивал контроль из-за какого-то там вшивого пункта в законе о чьих-то там собачьих правах. Но что же делать — других лазеек не было. Тем более что, вопреки всем его опасениям, за целых два года, пока длится эта авантюра с «профилактическими осмотрами», ни его, ни Семицветову не тронули. Чем это объяснить, он не знал, и перестал беспокоиться. Вероятно, комитетчики и правда соблюдали некие правила игры — исключительно для собственного удовольствия. Ведь это, должно быть, очень скучно — жить, ни в чем себя не ограничивая.

— Что ж, душа моя, — сказал он, с треском натягивая перчатки. — Раздевайтесь и ложитесь.

Она долго копошилась, скрипела — наконец, замерла. Любая женщина — даже такая царица, как Семицветова, — укладываясь на гинекологическое кресло, теряет свою величественность. И все-таки... Все-таки... Эти чудовищно распахнутые, исполинские ляжки... Что-то в этом есть языческое, первозданное. Он испытал трепет, когда заглянул внутрь. Сокровищница моя...

— Только, бога ради, аккуратнее, — прошептала она.

— Не беспокойтесь, я очень, очень аккуратно... Расслабьтесь.

Леднев просунул резиновые пальцы, нащупал канатик, потянул... Семицветова томно вздохнула. Он продолжал тянуть, помогая пальцами другой руки... Она затрепетала, подалась вперед, сдерживая стон... Есть! Вот оно, сокровище! Моя Речная Мавка! Глина, терракотовая глазурь, великий Илларион Супримов, начало нулевых. Моя, моя! Он замер, любуясь.

— Ну что? — хрипло выдохнула Семицветова.

— Одну минуту.

Он бережно отложил статуэтку в сторону, подошел к настенной полке, где стояла разная декоративная чепуха — как бы для украше-

ния кабинета: стеклянные «магические шары», керамические безделушки и множество всяких штатулок, в том числе — разных размеров коробки-головоломки, покрытые деревянной мозаикой. Леднев взял самую большую коробку, в 5 ходов открыл ее, достал оттуда зашитый в целлофан «рулетик» червонцев, окунул в стерилизатор, вернулся к Семицвевой и так же деликатно, как извлекал Мавку, просунул на ее место деньги.

— Можете одеваться.

Семицвева пошевелилась в кресле, опять вздохнула и зачем-то сказала:

— Все-таки золотые у вас руки, Дмитрий Антонович... Знаете, а я была бы и не против этого вашего... как вы там говорите... врачебного произвола.

Леднев предостерегающе покачал головой. Воздев указательный палец горе, очертил им круг в воздухе — мол, осторожней: хоть мы и отключили наши линзы, но в кабинете ведется прослушивание.

— Ай-я-яй, Анна Игнатьевна. Вам бы все шутки шутить со стариком, — с нарочитой строгостью сказал он, занимаясь между тем Мавкой: протер ее влажными салфетками, обернул несколькими слоями воздушной бумаги так, что получился кокон...

— Не сердитесь, друг мой, — Семицвева, тряся перламутровыми телесами, грузно слезла с кресла и зашуршала одеждой. — Не над вами смеюсь, над собой. Скажите-ка лучше, каковы мои перспективы?

— Перспективы самые радужные, — Леднев положил кокон с Мавкой в коробку-головоломку и принялся закрывать ее — 5 ходов в обратном порядке. — Эффект стабильно держится. У вас прекрасный организм, сильный и пластичный, одно удовольствие работать с вами. Хотя, по расхожему мнению, для клиники здоровые пациенты невыгодны, — он сделал последний ход, вернул штатулку на прежнее место, и в тот же миг зазвонил таймер, оповещая о восстановлении связи со спутником. — Но это миф, предрассудок! — крикнул, проходя к рабочему столу. — Слабые и больные обходятся государству всегда дороже. Всегда! Но вы, дорогая моя Анна Игнатьевна... Я редко видел столь цветущее здоровье. И — красоту! Неудивительно, что до сих пор вы не прибегли к нашей «Кощеевой игле».

— Вы мне льстите, — отозвалась Семицвева, выходя из смотровой. — Ваша волшебная игла мне попросту не по карману. Да и боюсь

я, честно говоря. Знаете, все эти вмешательства в голову... Я не хочу вас обидеть, друг мой, недоверием, но лучше уж я останусь собой.

— Вы всегда будете собой. Что ж... — он вошел в базу данных и внес изменения в ее амбулаторную карту. — Вот список анализов, пройдете за пару дней. Это так, на всякий случай — если пациент жалуется, мы обязаны все проверить.

Исполнив все формальности, они расстались. Леднев откинулся в кресле, закрыл глаза — и только теперь почувствовал дрожь и тошноту под ложечкой. Казалось бы, все уже отработано до автоматизма. А страшно — как в первый раз. Как два года назад, когда все только начиналось.

14. Сквозняк времени

По ночам я вижу один и тот же сон: мне снится Люси́на рука на краю проруби, прозрачная и серая, как мокрый лед, — но самой Люси, ее лица не видно. Я вновь и вновь бросаю ей платок: хватайся! Но едва ее пальцы вцепляются в платок, как он превращается в нечто другое, нелепое и бесполезное — то в нитку, то в бумажную ленту, то в каких-то крохотных тварей, разбегающихся врассыпную. Иногда все-таки платок остается платком, она хватается — я дергаю изо всех сил и вытаскиваю на берег... только руку, кисть до запястья — она бежит ко мне, быстро-быстро перебирая тонкими паучьими пальцами, я радостно прижимаю ее к груди — спасена, спасена! — и потом весь остаток сна бережно ношу за пазухой, опасаясь причинить ей какой-нибудь вред, сломать или испортить. Но в самой атмосфере сна что-то портится, нагнетается какая-то угроза — ворочается, томится и вздыхает в тесноте своего еще не явленного бытия, и сердце тоскует, провидя неминуемую беду.

Вскоре после трагедии на Вихляйке в Детском Городе началась эпидемия кори, в школе всех погнали на срочный медосмотр — и тут случилось новое ЧП: взяли невидимку. При сканировании одного из пионеров врачи не засекли сигнала светляка. А на его месте обнаружили свежий неумелый шов — мальчишка выковырял чип и заштопал рану. В одну руку или таг¹¹ пособил — это уже будет выяснять следствие. Сразу вызвали охрану, и бедолагу забрали. Вывели из кабинета под микитки — птенец взъерошенный, вихрастая голова

¹¹Сокр. от «доттаг» (чеч.) — друг.

вдавлена в острые плечики, одежда топорщится, сам еле-еле идет-криволапит... Теперь его в карцер дней на двадцать — по принципу: лечить подобное подобным. Хочешь одиночества? На, получи. Безотказно работает. После карцера никто одиночества больше не хочет.

Ну, тут, как водится, пошло бритье голов и шмон на целый день. Пользы в этом ноль, но для порядка надо ведь что-нибудь изобразить — вот, изображают меры. Отобрали, у кого нашли, все острые предметы — перочинные ножи, резцы по дереву, ножницы, стилосы, брадобрейные бритвы — все, вплоть до булавок и чернильных перьев. А чем писать? Чем рожу отрокам скоблить? И дня не проходит, как назад все отдают: да ну вас к лешему, идите хоть зарежьтесь, олухи царя небесного! Или — головы бреют всем ученикам мужского полу. Ладно, тут есть резон. Опять же, профилактика от вшей. Но для системы безопасности нет разницы, брит затылок или нет. Да будь у невидимки хоть волосы Самсона — систему не обманешь. А начни администрация усердствовать с бритьем голов для перестраховки — выйдет, будто она системе не доверяет, а где нет доверия системе — там жди бунта.

Они всегда попадают. И все равно эдак раз в три года какой-нибудь чумной режет себе голову в сортире, воображая, что уж ему-то повезет, уж он-то хват — возьмет и изловчится, придумает какую-то особенную хитрость, чтобы не угодить под сканер. Уловки не срабатывают никогда — всех выявляют, всех. Некоторые заваливаются уже на первом шаге — вот, говорили, был случай: нашли головореза-недотыку возле унитаза в крови и без сознания. Остальные срезаются кто на медосмотре, кто на контрольной рамке, замаскированной на входе в какой-нибудь кабинет — никогда не знаешь, стоит на входе рамка или нет и включена ли. А самое простое — кто-нибудь заметит шрам и донесет.

— Странно, — шепчет Рита после отбоя. — Почему Воропай не попался? Значит, он не такой, как другие невидимки...

— Угу, — говорю.

— Что «угу»? Так он преступник, значит! Враг. Обучен как-то обходить систему...

— Он просто рептилоид, это всем известно. Инопланетянин.

— Или андроид? — подхватывает Рита, не замечая в моем голосе ойланзы¹². — Знаешь, говорят, во всяком коллективе есть внедренный

¹²Ойланза (сленг от чеч.) — легкомыслие, ирония, стеб, легкость, несерьезность.

киборг, машина, неотличимая от человека.

— Для машины он слегка психованный, тебе не кажется?

— В том-то вся и соль, а? Чтоб никто не догадался.

— Байки это все, — я отворачиваюсь к стене.

— Ну, ты зануда... Что с тобой случилось? Будто подменили.

Молчит минуту.

— Скажи по-честному. Ты злишься на меня из-за Юрочки? Он ведь нравился тебе, да? Динка? Э-эй!.. Ну, точно... Так я и знала. Слышь, но разве я виновата, что все в меня влюбляются... Что мне? Паранджу носить? Ну?

— Я сплю.

А только не спится мне. Лежу, боюсь пружиной скрипнуть — Рита начеку, опять пристанет с разговором — месяц назад я бы прощупывалась с ней полночи — про Юрочку, про Воропая, про роботов, големов, репликантов, домовых, про шпионов внешнего мира, предателей, замаскированных врагов, про доблестных сотрудников КТД — легальных одиночек, правомочных невидимок, про любовь и тайны: «ты целовалась с ним?» — «а ты как думаешь?» — «не знаю, я не смотрела» — «но хочешь знать?» — «не знаю» — «хочешь, покажу?» — соскользнет с кровати, руками обовьет, и руки движутся тягуче, будто в сонной неге, оплетенные по плечам распушенными косами, прохладными, как речные струи, — «кто-нибудь услышит» — «тогда молчи» — блеснет улыбкой в темноте и накроет мои губы своими бархатными, как тополиный лист, губами... В сентябре она мне показала, как целуется Лезга: смазно, широко открытым ртом, в ноябре — как это делает победитель математических олимпиад Сухотин: быстрыми отрывистыми клевками, в январе — как Васька Цыганок: впиваясь жадно, покусывая и сверля змеиным языком... Я никогда не видела, как она с ними целовалась, а было так: во время прогулки наступал момент — они сближались, словно в танце, или в игре с каким-то запретным правилом, или в шутейном сговоре, как будто пряча что-то, известное только им двоим, и дразня этим секретом друг друга, не замечая моего присутствия — и я невольно отворачивалась всякий раз. Так было и с Юрочкой, когда они вдвоем боролись в снегу... А ночью Рита то ли в благодарность, то ли все еще томясь воспоминанием о поцелуе, передавала мне свои опыты любви. Как волчица кормит своего голодного щенка кусочками проглоченной еды — из пасти в пасть. Наверняка сейчас она намеревалась показать мне Юрочку,

поделиться кусочком Юрочки со мной в награду за умение вовремя слепнуть,глохнуть и неметь.

Я лежу, уставившись в стену, но вижу только темноту. Долго-долго. И темнота начинает шевелиться, плыть куда-то, а на стене медленно проступают буквы, белым по черному, складываясь в непонятное, страшное слово: «Хаканарх»... Сморгнула — и увидела его негативный отпечаток: черным по белому... И снова темнота плывет... И — чувство, неприятное до тошноты, будто помню что-то, о чем хотелось бы забыть. Но не Люся, не ее отвратительная рука, которая преследует меня во сне и наяву. А что-то неуловимое. Что? Откуда? Протянуло холодным сквозняком — и вмиг исчезло... Бывают такие вечно убегающие воспоминания — без корня времени, и такая с ними мука — как от щекотки или зуда, даром что не почесешь. Дразнит, дразнит — а не поймать, не разобрать ничего, кроме какой-то детали, на которой если попробовать сфокусироваться — она тотчас гаснет, как далекая звезда от прямого взгляда. Эта мука похожа на дежавю, только в дежавю тебе память на пятки наступает, а тут — словно издали подует, словно от неба волосок отделится, сердце пощекочет...

И не о прошлом это. Когда о прошлом вспоминаешь — все иначе. Все — телесно и незащищено. Даже самое далекое — оно не вдали, а прямо в тебе. Достаточно одного случайного удара — запахом, звуком, касанием — чтобы давно забытое событие развернулось, словно еж, брошенный в воду. Идешь себе в толпе по коридору из кабинета в кабинет, кругом — привычный гул, беготня и крики мелюзги, и вдруг — дзыньс-с-с-с! — рассыпной, хрустальный, разреженный эхом звон разбитого стекла — где-то в столовой кто-то уронил стакан. И вмиг тебя уносит куда-то в дошкольное детство: родная комната, окно, гроза идет навалом — все гуще, все быстрее, и сразу — шквал! Резкий удар ветра — створы настежь, залп дверей по всему дому — и в обратной сквозной тяге окно захлопывается — ба-бах! — с грохотом пушечного выстрела. Звон. Лопается, обрушивается стекло — и в этот момент картина как бы застывает: сквозь ощеренную осколками раму зияет, дышит холодом пасть глубокой перспективы: на первом плане — машут рукавами рубахи, срываясь с бельевых веревок, несется пыль, трава, клочки, пакеты, мусор человеческого жилья; на втором — курятся угольные кучи у сараев, кусты сирени ломаются через забор, на колья которого насажены, как головы врагов, глиняные жбаны. А дальше — луга-поля-холмы-леса, разбросанные, развернутые, как в

скорняжной лавке рулоны разноцветных тканей — поверх друг друга и наискось разостланные пространства, а над ними ходят на цепях дождя грозовые тучи.

— Спишь? Дин? — зовет Рита.

Я молчу.

— Да ладно тебе! Я же знаю, что не спишь. Слышь, чо?

Откуда-то издалека, из-за Четвертого кольца, доносится горестное «у-у-у!» — собака воеет за семью болотами, за тридевять земель, где-то в зоне грязи безводопроводной. Тоска и жуть. Или не собака, а птица-пересмешница какая — Бог ведает... А только этот вой тебя врасплох берет — душа вздрогнет, задышит побито, торопливо, будто перед смертью — и остро, иглой, прямо в сердце входит иное — горячее, нежное, сладостное — имя. Тимур.

15. «Кошки» Семицвевой

Все началось два года назад, с кошки.

В то утро позвонила Семицвева — перенести запись на прием, поболтали между делом, как старые, давно притертые друг к другу приятели, почти родня, столько лет знакомы, и в конце она вдруг говорит:

— Думаю, вам нужна переноска для кошки.

— О чем это вы? У меня нет кошки.

Леднев удивился не столько ее словам — Семицвева держала кошачий питомник и это было не первое ее предложение, — сколько загадочному и в то же время категоричному тону.

— Ну, так будет, — все тем же тоном сказала она. — Чудесная кошка — воды не боится, еды не просит. Породы «датская королевская».

Тут он сообразил, что Семицвева пытается донести до него какое-то секретное сообщение.

— Никогда не слышал о такой породе, — осторожно сказал он.

— Слышали, даже видели. Редчайшая порода. Можно сказать, — она сделала многозначительную паузу, — музейная.

Он покрутил в уме ее слова и внезапно понял: речь идет о статуэтке из музейной коллекции — фарфоровой пантере Кнуда Кюна, мастера датской королевской мануфактуры.

— Ах, да, припоминаю, — пробормотал он. — Но... помилуйте...

— Не возьмете — ее усыпят.

Это означало, что статуэтка списана и вскоре будет уничтожена согласно Закону о Второй Заповеди.

Он обещал подумать. И в тот же день, еще ничего не решив, заказал в магазине «В гостях у сказки» коробку-головоломку подходящей емкости. Это была идеальная «переноска» — он уже много лет покупал китайские шкатулки, все в клинике знали о его увлечении, охрана на вахте никогда не проверяла их содержимое. И хотя он понимал, что Семицвотова вовлекает его в смертельно опасную авантюру — это называлось хищением государственной собственности и каралось вышкой, — но что-то разыграло в нем.

Со временем у них сложился свой метафорический язык — стихийный шифр, для каждого случая — новый, изобретаемый ею на ходу, однако для него, реликта сгинувшей эпохи, всегда прозрачный. Обычно она звонила записаться на внеочередной прием с какой-нибудь вымышленной жалобой, не забывая сокрушаться: «ах, Дмитрий Антоныч, я такая мнительная», чтобы у прослушивающих складывалось впечатление, будто дамочка — невротична и тревожна, что, в общем-то, обычно в ее возрасте, да еще после перенесенной «женской» операции.

«Друг мой, — смущенно басила она. — Я понимаю, что надоела вам своими страхами, но что-то меня беспокоит». Он сразу включался в игру: «Вы плохо себя чувствуете?» — «Ох, — вздыхала Семицвотова. — Я чувствую себя доисторической развалиной! Обломком Гомеровской эпохи», — и он понимал, что речь идет о субмикенской керамике, и готовил «переноску». Или, предваряя ее жалобы, он сам, по праву лечащего врача, спрашивал: «Ну, как наше самочувствие?» — «Хуже — только у мумии Тутанхамона», — отвечала она, и это означало, что для него приготовлена какая-то египетская фигурка периода Нового царства, 18-й династии. Если что-то шло не так, она отменяла уже назначенную встречу: «Не могу сегодня, кошка заболела».

Леднев поначалу ломал голову: каким образом ей удастся обманывать линзы и незаметно выносить «кошек» из запасников Пушкинского музея? — пока однажды, в каком-то отвлеченном разговоре, она сама не намекнула: брешь нужно искать в наиболее укрепленном месте. И тогда он догадался: Семицвотова обратила в свою пользу самый жесткий рычаг надзора — «наказание слепотой». Эта мера была

введена лет десять назад, чтобы устранить косяк, обнаруженный в системе линз-контроля: до комитетчиков вдруг дошло, что каждый раз при банальной разрядке ПНК наблюдаемый на время ускользает от наблюдателя — пока вновь не подключится к зарядному гнезду. Что тут началось! Угроза безопасности! Диверсия врагов! Полетели головы «китайских шпионов» из звена высших сотрудников по ИТ-связям с Поднебесной — откуда и пришла в Россию технология следящих линзовых дисплеев с видеоядром в наушном компьютере. Государь бросил клич: «Новаторы, дерзайте! Высочайшим повелением Мы назначаем награду тому, кто придумает, как обеспечить бесперебойное питание каждого ПНК¹³». Из лучших умельцев сформировалось Особое ИТ-бюро КТД, где в кратчайшие сроки разработали метод «наказания слепотой»: теперь, при критически низком уровне заряда ПНК, в линзах автоматически включается «бельмо» — и недогепа, не успевший вовремя добежать до розетки, слепнет. А что крамольного может предпринять слепой человек?

Человек — да. Но Семицветова — не человек. Она — чертов ангел. И директор Пушки. Она там все знает на ощупь. И за пять минут, находясь в нужной точке локации, успеет предпринять что угодно крамольное. Ведь пять минут слепоты — это и пять минут невидимости. Главное — заранее рассчитать заряд батареи и геометрию своих передвижений по музею. Чтобы ослепнуть в нужное время и в нужном месте. А когда дело сделано, с притворным квохтаньем метаться и причитать: «черт меня побери, старую дуру, опять забыла вовремя подзарядиться! Где же это чертово гнездо! Эй, кто-нибудь, помогите, я ничего не вижу!», ударяясь мягкими частями об углы стеллажей. Кто заподозрит интеллигентную, не от мира сего, пожилую даму?

И все-таки Леднев понимал: сколько веревочке не виться... Нет, все, хватит, пока не поздно. Надо остановиться. Вот еще Мавка — и все. Невозможно было отказаться от Мавки. Но теперь — все. Больше никогда. Теперь уж точно. Сколько раз он себе обещал: это — в последний раз. Каждый раз, все эти два года.

Два года — с тех пор, как вышел Закон о Второй Заповеди: «Запрещено создание, хранение и распространение любых произведений искусства, двухмерных и трехмерных, которые содержат изображения живых существ — как телесных (людей, животных), так и бестелесных (ипостасей Бога, ангелов, бесов, райских птиц и зверей, адских

¹³Персональный наушный компьютер (в народе — «серьга»), от которого работает линзовый дисплей, выполняющий как прием, так и передачу сигнала (видеонаблюдение «глазами пользователя»).

чудищ, языческих идиолов, потусторонних сил и т.п.), воплощенных в конкретных тварноподобных образах».

Конечно, закон не требовал уничтожить все сразу. На первом этапе — только то, что не представляло ценности для казны, всякую кустарную мазню, поделки дилетантов и непризнанных гениев. Иное дело — шедевры мирового значения. Они перешли под особую опеку государственных торговых агентов, которые сбывали их за границу, подыскивая самых щедрых покупателей. И дело шло быстро. Труднее было с мастерами второго и третьего ряда — возни больше, денег меньше. Однако — несмотря на то, что мгновенный выброс на рынок огромного количества произведений искусства из русских музеев поначалу вызвал их резкую девальвацию — торговля наладилась и на этом фронте: угроза скорого и окончательного уничтожения всего фигуративного русского искусства заранее переводила все его на следие в раритетный статус и возбуждала мировой ажиотаж, иногда поднимая стоимость даже неизвестных авторов.

Казна пополнялась с волшебной скоростью. А Третьяковка, Эрмитаж, Пушкинский и Русский музеи, фонды ЦДХ и многочисленных уездных галерей — с еще более волшебной скоростью пустели. Баснословные деньги. Легкие деньги. Вот где открылась золотая жила для государства. И для всевозможных тайных махинаций, о масштабах которых нельзя было и помыслить. Что там какая-то мелкотравчатая авантюра двух старых дураков с «кошками»? Так, плевков в море грязной пены.

Все исчезло. А что же осталось? Натюрморты. Безлюдные пейзажи. Супрематисты — все эти образцы чистого искусства, воспетые когда-то нули форм, треугольники и квадраты, точки и линии... Тут без вопросов — разрешено. А вот с кубистами поначалу не знали, что делать: вроде бы и есть тварноподобные образы, а вроде бы и нет. Даже придумали пропускать их через распознаватель лиц — и, конечно, машина никаких лиц на картинах не увидела. Но духовная комиссия все равно запретила. На всякий случай. Хотя несколько беспредметных шамотов и декоративных плиток спаслось.

Что еще?.. Новейшее искусство роботов. Архитектурные голограммы. И портреты Государя-Помазанника на разных исторических этапах правления — образ, который выше закона.

Ну, еще обломки утилитарной архаики. Кривая посуда из раскопок древних поселений, какие-то истлевшие онучи, звенья кольчуг,

ржавые наконечники, подвески, отбитки на глиняных досках... Да и то: не всякая тарелка и булава имеют право на жизнь — любая мелочь, в которой угадывается что-то одушевленное, заносится духовной комиссией в запрещенные списки. Все эти египетские палетки в форме слонов и крокодилов, гребни-лошади и ложки-девушки, кошачьи мумии и канопы с головами павианов, шакалов и людей, сосуды с благовониями в виде беременных женщин...

Или те же греки. Вся их древняя утварь. Попробуй найти вазу, кратер, фиалу или там какой-нибудь жалкий килик, чтобы без крамолы. Видно, скучно им было в своей Элладе — две тысячи лет меж виноцветным морем и медными небесами. Всю посуду от нечего делать расписали фигурками. Что ни возьми — везде боги и звери, атлеты и гетеры, сцены пиров, оргий, битв и состязаний... Все это теперь вне закона. Все, что не смогут продать на восток и запад, за пределы Оклада, — будет уничтожено с истечением семилетнего срока. Все, что не успеют здесь спрятать где-нибудь глубоко в запасниках, в тайниках, в каменных пещерах — так глубоко, чтобы никакая духовная комиссия не раскопала.

Уж Семицветова придумает как. Она баба умная и жертвенная — редкое сочетание. Рискуя жизнью, спасает произведения искусства, как своих родных чад, приговоренных к смерти. Буквально — выносит их во чреве. Великая Мать! И бессребреница. Отказывалась от платы, но Леднев настоял — мол, дело чести. Он ведь тоже немного спасатель. Сколько они спасли за эти два года «профилактических осмотров»?

И еще он втайне надеялся спасти саму Семицветову — кто знает, может, поднакопив денег, она забудет свои страхи и решится на Кощееву иглу... Такие женщины не должны умирать в обычный срок. Такие должны жить долго, очень долго, дольше безумных законов и сочиняющих их живоглотов-законодателей.

16. Бог из машины

Зима затянулась. Благовещение — а снег еще лежит в оврагах. Накануне вечером отправились ко всеобщему бдению — встречать праздник. Отстояли вечерню — и что-то голову мою обносить начало, ног-рук не чувствую, ничего — только слабую, будто электрическую

дрожь вместо тела. Ладно, думаю, все-таки шестая седмица Великого поста идет. Отощала, мало ли. Стою, виду не подаю, изо всех сил пытаюсь собраться. Не хватало только в обморок брякнуться при всем народе. Начали утренню читать — шестипсаломие, великую ектинью, тропарь, кафизмы — а я как будто не присутствую. Ничего не понимаю, ни в чем не участвую. Беда. И тут запели Полиелей. Храм всеми огнями зажегся, царские врата открылись, выходит отец Григорий из алтаря с кадилом. Индюк индюком. А только странно — во время каждения опять нашло *иное* на меня...

Я вижу тот же храм, но иначе: не изнутри, а с большого расстояния и насквозь — как бы в разрезе вместе с холмом, на котором он стоит, — и под алтарной частью будто корневище в землю уходит, разветвляясь там, в глубине, на многое множество корней... Только это не корни, а полые ходы — пещеры каменоломни, километры подземных штреков, кое-где еще видны ржавые остатки рельсов. Когда-то, двести лет назад, здесь добывали известняк. Белый камень для строительства домов, церквей, часовен. Теперь здесь тайная крипта под храмом — только в склепах не мощи хранятся, а книги да иконы. Там же рядом — кельи, а в соседнем гроте — мастерская: станок иконописный, баночки с олифами и пигментами, кисти, столярные инструменты, доски. Некоторые доски еще дикие, свалены в углу, другие — уже посажены на шпонки, оклеены марлей и загрунтованы, а на нескольких уже прописаны тона, одежды, лики... Все это для меня так знакомо, будто я сама когда-то грунтовала эти доски, прописывала эти тона, одежды, лики. Я знаю все названия предметов, инструментов, материалов... Но откуда? Что со мной происходит?

Вопрос этот не дает мне покоя до конца Всенощной — вся служба проходит мимо. А по дороге из церкви — другой морок: в больничном утреннем свете белеет грязной простыней река Вихляйка, где во льду все еще не разошлась та злосчастная полынья. От одного ее вида у меня крутит в животе — и я не понимаю, что это: страх, вина или тоска... Тоска по Тимуру, с которым свела меня Вихляйка в тот проклятый день?.. Свела меня... Свела меня с ума. Сегодня я его не видела в храме — значит, он болен, и завтра, на Субботнике, я его тоже не увижу.

Утром субботы выстроили всех на плацу перед школой, разбили на бригады по пятнадцать человек, кому грабли дали, кому лопаты,

кому метлы, кому тяпки, кому что — и вперед марш. Морковка орет по бумажке:

— Так, первая бригада — бригадир Темняков — во двор: красить заборы! Вторая — бригадир Лезга — на железную дорогу: расчистка путей! Третья — бригадир Кутасова — в школу: мыть окна! Четвертая — бригадир Гамаюн — в сад: уборка земли! Пятая — бригадир Базлаев — в сад: обрезка деревьев! Шестая — бригадир Иванов — на машины: вывоз мусора!.. Седьмая... Восьмая... Девятая... По местам! И запомните: кто будет филонить — останется без Пасхи: дополнительная неделя поста! Работать! Без дела вы все — чепуха болотная, плевел и сорняк!..

Мы идем в сад, навьюченные огородным инвентарем. Рита — как всегда бригадир, у нее талант командовать трудовыми процессами, и сама она так ловка в любой работе, что ей с удовольствием подражают.

— Так, девки! Прошлогодние листья, гниль и ботву — в компостные кучи, остальной мусор — в тачки и везем вон туда, в конец аллеи, сваливаем в кузов грузовика! И чтоб все тут было вылизано, как яйца у кота!

Юрочка — бригадир секаторов. Они, как вороны, расселись на деревьях, щелкают, глядят на нас сверху вниз со своих ветвей и приставных лестниц и время от времени глумливо каркают.

— Давай, давай!

— Усманова, двигай мослами!

— Гольцева, не спи!

— Лещенко, греби граблями!

— Марьялова, заправься!

— Левое плечо вперед!

— Энергичней, веселей!

— Командирша, ну-ка, покажи как надо!

Рита, не смущаясь, хохочет и показывает как надо — отбирает грабли у криворукой рохли Маши Великановой и быстрыми, чеканными движениями расчесывает землю. Она одна может наработать за троих — и кажется, будь ее воля, она бы у всех отобрала грабли и сделала все сама.

— Динка, Ксюха, Анютка, тачки! — кричит.

Сгружаем в тачки мусор и бежим по аллее к грузовику. С деревьев — крики и свист.

Тачка спотыкается на кочках. Подвожу ее к грузовику. Там двое принимают:

— Давай сюда.

И тут из кабины выпрыгивает он... Тимур. Идет навстречу, поводя плечами. Улыбка — белоснежная, глаза широкие горят. Я застываю, словно пораженная яркой вспышкой света... И не помня себя, бегу обратно.

— Эй, ва-ва¹⁴! — смеется вслед Тимур.

Бегу. И почему-то слезы на глазах.

— Стой! Да стой же ты, чумная!

Догоняет. На деревьях все секаторы затихли. На земле — все грабли замерли и смотрят.

— Ты забыла тачку. Вот. Держи и не теряй.

Мои глаза упираются в пуговицу на его робе — складки расходятся лучами от петли, натягиваясь упруго на его взрослой выпуклой груди. А выше я не смею взгляд поднять. Боюсь ослепнуть.

Поворачивается, уходит. Я стою, тупо гляжу на тачку. С деревьев раздается тихий многозначительный свист.

— А ну, пятая бригада! — рывкает вдруг Юрочка. — Хватит клювами щелкать! За дело!

У Юрочки мягкие лошадиные губы, он пахнет дрожжами и одеколоном «Отрок» — я замечаю это, когда мы гуляем вдвоем после субботника. Резкий запах. Раньше я не замечала. И воздух — сырой, парной, с навозным духом весны и едкой волной креозота, потому что рядом, с наветренной стороны, — узкоколейка детской железной дороги. Гудят рельсы, нежно сипит и чихает гудок тепловоза. В синих вагончиках сидят пионеры и, проезжая под знаком «поднять нож, опустить крылья», смотрят на нас внимательными детскими глазами.

— Надо создать тайный союз, — говорит Рита. — Союз трех!

— Против кого будем дружить? — спрашивает Юрочка.

Глазки его, льдисто-синие, как бы скользят по поверхности вещей. Рот растягивается в улыбке, виден сколотый резец, зубы тускло-прозрачны... Цвет лица серовато-розовый, с белесым отливом волосков на висках и щеках. Я как будто впервые вижу его. Он состоит из тонких сложных оттенков и расплывается за границы четкого схематичного контура, как акварель. Да, наконец-то я поняла этот нафс.

¹⁴Малышка, крошка, дитя (кит.)

Юрочка — акварель. Но с резко очерченным, просвечивающим сквозь бледный красочный слой, каркасом.

Ночью я закрываюсь в туалете и рисую. Сперва — разговор Юрочки и Риты: белые тучки слов, силуэты. Риту рисовать легко, она четкая. Но для Юрочки нужна акварель, а нету... Затем — пионерский поезд, покосившийся знак «поднять нож, опустить крылья», забытый на путях с зимы, со времен снежных заносов. Крест в ромбе. Это про падение ангелов. Символ препятствия — знак падения. Символ смерти, треугольник домовины, отраженный вниз, поэзия и геометрия падения вниз. Вниз. И наконец — субботник... Школьный сад — дымно-серый, волосатый, с белыми просветами между корявыми силуэтами яблонь, на ветвях которых чернеют фигурки людей-ворон, с клювами-секаторами, с крыльями-ножницами... Здесь не нужны краски. Я рисую все события дня в обратном порядке, оставляя напоследок самое яркое, самое сладкое — встречу с Тимуром. Не могу нарисовать его лицо: как и тогда, не могу поднять взгляд и рассмотреть его, боясь ослепнуть, только лучевидные складки от пуговицы у него на груди... Латунный блеск пуговицы с гравировкой ДГ-8... Выемку между ключицами, мышцы шеи, выпуклый кадык... Все не то, не то. Я не вижу его лица. И вместо его лица рисую свое — у него на груди, и руки свои, обвитые вокруг его шеи... Но теперь это не Тимур. Желание... Я рисую свое желание и не могу продолжать, оно не дает мне. Только распяляет и твердит свое имя: Тимур, Тимур... Все равно все это нужно уничтожить. Я рву на мелкие клочки рисунки и смываю в унитаза.

17. Плоский мир Лидии Аркадьевны

— А, Лидия Аркадьевна! — не очень натурально воскликнул Леднев. — Сколько лет, сколько зим...

— Сколько ни есть — все мои! — срезала Лидия Аркадьевна, как всегда задиристо и не к месту.

Лет и зим ей было немало. Секретарь волостного комитета ВЛКСМ с бог знает какого года, член КПСС до 1991, член Национал-большевистской партии с 1993 по 2007, член ЕдРа с 2012 по 2025, член ВРyНа (Возрождение Русской Нации) с 2025 по 2037, член БоДyНа (Божественный Дух Народа) с 2038 по 2049... — и наконец, с 2049 и

по сей день — член ДЕРуНа (Духовного Единства Русского Народа.) Председатель союза журналистов, двадцатикратный лауреат премии «Многоочитое Перо Серафима», постоянный делегат съезда праведных жен, неизменно почетный гость форума «Вопросы евразийства», трижды три герой труда и первая боярыня-аналитик в конкурсе «Глас народа-2059».

Лидия Аркадьевна, в круглой шапочке с наколкой, длинная в туловище и приземистая в бедрах — гриб на поросячьих копытцах, — бойким строевым шагом протопала через кабинет в смотровую, на ходу вынимая булавки из своего убруса.

— Говорят, вашу новую лабораторию того? Закрыли? — злорадно выкрикнула из смотровой — она уже переделалась в больничное и легала на каталке, нервно подергивая носком в голубой бахиле.

— Кто это вам такое сказал? — флегматично осведомился Леднев, наблюдая за работой ассистентов-роботов. Анестезиолог вводил ей первую, расслабляющую, инъекцию.

— Слухами земля полнится!

Вот дура колокольная. Всегда с каким-то вызовом. Зачем? Как будто кругом враги.

— Готово? Завозите в операционную.

На операционном столе, под действием первой анестезии, Лидия Аркадьевна становилась очень разговорчивой. Ну, пока не засыпала. Всего-то потерпеть минут пять.

— Вы не обижайтесь, Дмитрий Антоныч. Но я что думаю, то и говорю. Натура у меня такая. Правдивая!

— За что же мне на вас обижаться? — спросил Леднев, окуная ладони в антисептик.

— А за то, что давно вас пора к ногтю. Такое мое мнение.

— Кого это нас?

— Ученых, кого ж еще. Воли вам дают уж больно много. А чем вы там занимаетесь — кто знает? Может, бесовщиной какой. А деньги вам казенные дай. Взять хоть эту вашу лабораторию памяти.

— Чем же вам моя лаборатория не угодила?

— Кое-кому поважней меня, видать, не угодила, раз прикрыли. А я человек простой. У меня интуиция, и она еще меня ни разу не подводила, ни разу.

— Заметьте, ваша интуиция, равно как и весь ваш мозг и тело, работают так исправно и долго только благодаря этому, — он указал

на ампулу с НСК, которую ассистент извлек из клон-банка и теперь держал наготове. — Только благодаря науке, дорогая моя.

— Только благодаря Богу! И никакая я вам не дорогая. Бог позволил вам создать эту штуку, вот ему я и благодарна. А вы, ученые, в своей гордыне все заслуги приписываете себе. Никакого смирения. Думаете, что все знаете.

— Помилуйте, если бы мы думали, что все знаем, разве мы бы проводили какие-то исследования, опыты? Разумеется, наука многого не знает, мы ищем, делаем ошибки...

— Ага! Сами признаёте, что лезете куда не знаете — вот потому и ошибки! — она удовлетворенно рассмеялась. — Вот сейчас в память лезете. А где она находится, эта память, сами не знаете!

— Ну, почему же. Знаем. Я могу рассказать. Но боюсь, вам эти слова будут непонятны.

— Да-да, всегда вы так. Наша газета сколько раз пыталась взять у вас интервью? И всегда одно и то же — расплывчатые заумные фразы. Гиппопотамус, свинапсы какие-то... эти, как их... нервы... нервные? Тьфу. Лишь бы заболтать человека. А спроси вас прямо — откуда тогда у растений память, если никаких мозгов у них нету? А? То-то же. Только глазами лупаете.

— Опять вы с этими растениями! — безнадежно засмеялся Леднев. — Другая у них память, другая, и только условно можно назвать это памятью. Я же сто раз объяснял, но эти ваши... ээ... неумные писаки все перекручивают каким-то фантастическим образом. С чего-то они взяли, будто растения запоминают лица, ненавидят злых садовников, вянут от грубых слов, любят классическую музыку, разговоры по душам, философию Канта... И вообще тянутся к свету.

— Да уж известно не к тьме. В отличие от некоторых. Что угодно будете говорить, лишь бы не признавать очевидного: память вовсе не в теле находится! Не в каких-то там ваших невронах и свинапсах.

— А где же, позвольте узнать?

— Это одному Богу ведомо. Все у него в руках. И человек, и цветочек полевой... Все — его творения. Да что там цветочек! Вода! Даже у воды есть память! Сами же ученые и доказали! Еще пятьдесят лет назад! А потом — в кусты...

Леднев вздохнул.

— Как же, как же. Наслышан, — сказал он ехидно. — Ученые доказали. Если обматерить наполовину полный стакан — он сразу превра-

тится в наполовину пустой. И каждая молекула воды в этом стакане так исказится от гнева и отвращения, что лучше уж вам эту гадость не пить. Хотя это вас не спасет. Потому что вы сами на 80% состоите из молекул воды — и они вам обязательно отомстят за оскорбление своих H₂O-чувств. Они же все слышали! Запомнили, намотали на ус, т.е. на атом водорода, и теперь жди от них беды. Впрочем, есть выход: молитва, покаяние, крещенское купание...

— Вот именно! Хорошо, что вы это понимаете. Или вот, например, земля, — вдруг перескочила пытливая мысль Лидии Аркадьевны. — Тут вот некоторые граждане ученые смеются над нами, патриотами. Мол, земля у нас плоская. Ну, тупые... Какая разница? Пусть дураки спорят о том, какой формы земля. Дело ведь не в том, плоская земля, круглая или квадратная. Дело в том, как это могут использовать против нас наши враги.

— А как это могут использовать наши враги? — удивился Леднев.

— Да очень просто! Вы когда-нибудь видели, чтобы пуля летела по кривой? То-то же! Если земля круглая — пусть они попробуют из другого полушария стрелять по нашим военным базам, ха-ха-ха! Они и сами понимают, что ничего не получится. Пули же не смогут обогнуть землю по кругу — они просто улетят в космос!

— Э... Но позвольте...

— Зато если мы в них стрельнем со своей плоской земли — то прямой наводкой угандошим все там нафиг сразу.

— А... То есть, вы полагаете, что форма земли, законы физики, траектория пули — это все подчинено идеологии?

— Не знаю, какие там законы физики. Есть один Закон Государев, остальное — крамола! Заряды, которые не подчинены идеологии — это из говна пуля. Вы вот умный вроде человек, на Духовный комитет работаете, а простых вещей не понимаете...

Она еще что-то пробормотала, совсем бессвязно, и отключилась, наконец.

18. Пустой оклад

— Не вини себя в том, на что влиять не можешь. Хотела спасти — молодец, не спасла — смирись, на все воля Божья. Человек другим человеком не спасется, спаси себя — и будет с тебя. Понимаешь, о чем это?

- Да, батюшка.
- Все у тебя, чадо? — отец Андрей поднимает епитрахиль, готовясь уже читать надо мной разрешительную молитву.
- Нет, батюшка. Есть еще кое-что.
- Рцы.
- Накануне сон видела...
- Пустое. Сон и сон. Девицы слишком впечатлительны к таким предметам. Отсюда — вечная бабья суеверность.
- Я знаю, но... Сон был не простой, а про Него... Спасителя. Хотя Его там не было, но все во сне говорило о Нем. Я проснулась с этим чувством: да, о Нем! Сначала — восторг, и благодарность, и умиротворение, что в дар получила такую драгоценность, такую высокую тему, а не как мне обычно снится... А потом сразу тревожно стало: а вдруг это бесы так со мной играют? Как я могу различить?
- Ох. Ладно. Не отстанешь ведь. Рассказывай свой сон.
- Ну, вот, значит. Будто бы стою в узкой зале... Хотя неизвестно, почему в узкой: ни стен не видно, ни пола, ни потолков — словно все на воздухе висит. Но как-то все стеснено, сумрачно, сдавлено с боков. В центре — длинный стол, покрытый простой холстиной. Я вижу его с торца. По бокам стола — скамьи и лавки. А напротив, во главе стола, — высокий прямоугольный трон из черного дерева с резьбой — присматриваюсь и понимаю, что это оклад без лика. И все пусто — лавки, трон. Никого. Пустая скатерть. Пустой воздух. Свет без света. Звук без звука. Но есть какой-то важный, неумолимый смысл во всех этих оставленных вещах. И самый этот смысл — оставленность. Сердце знает откуда-то: это — наказание. Но не от гнева Его, а от печали. Печаль. Все вокруг — Его печаль. «Где же все? Где Он сам?» — спрашиваю в пустоту. А в ответ... Как бы невидимый апостол или ангел за него говорит...
- Я замолчала, не зная, как передать эти слова.
- Ну? Что говорит-то?
- Стыдно произнести.
- Да уж произнеси так, чтоб не стыдно.
- Говорит: мол, а не пошли бы вы все... Вот так примерно.
- Молчание. Поднимаю глаза на отца Андрея. Он смотрит куда-то вбок слабым, каким-то детским взглядом — и впервые его лицо выглядит таким старым.
- Ты опять рисовала образа? — наконец спрашивает он.

Я кивнула.

— Почему же не говоришь мне?

— Потому что не раскаиваюсь в этом. Ведь нельзя же исповедоваться во грехе, если не хочешь оставить его. Так ведь?

— Значит, не хочешь оставить... Почему? — он склонился пониже и придвинулся, и я автоматически сделала то же самое, так что мы стали похожи на заговорщиков. — Неужели ты надеешься стать художником?

— Я и есть художник.

— И с чего же ты это взяла?

— Ну... — я задумалась. — Когда я рисовала, люди собирались вокруг меня — любили смотреть, как я рисую. Мои рисунки любили.

— Ага. Выходит, ты художник, пока у тебя есть зрители?

— Не знаю... Нет. Еще — пока у меня есть зритель вот здесь, внутри.

— И все-таки сперва ты сказала про тех, кто снаружи. Про других. И это верно. Потому что заниматься каким-то делом человека побуждает надежда, что результаты его труда будут нужны другим людям. Но если само ремесло твое запрещено, на что ты надеешься? Ты ведь понимаешь, что у тебя никогда больше не будет зрителей? Да что там — даже учителей у тебя не будет. Даже товарищей по цеху.

— Не знаю. Но... откуда-то знаю, что все изменится.

— Что «всё»?

— Все, — прошептала я.

— Ох, чадо, — вздохнул Андрей. — Крамолу говоришь. Что же с тобой делать?

Исповедь моя затянулась, и я затылком чувствовала усталость и напряжение людей в очереди. Кто-то не выдержал и громко проворчал: «Ну сколько можно!..»

Отец Андрей выпрямился, строгим огненным взглядом обвел паству:

— Ропот слышу! Не в магазин пришли.

Он снова обернулся ко мне и долго внимательно всматривался.

— Постой-ка... А не тебя ли выдвигали года два назад в школу иконописцев?

Я кивнула.

— Вот оно что... А я-то думаю, имя какое-то такое, по-особому знакомое... Теперь вспомнил. Я ведь сам подписывал разрешение.

Видел твои работы на комиссии. Ничего не скажу... Одобрил. И отец Григорий одобрил. Но — поздно, было слишком поздно. Да, да...

Я посмотрела на него с благодарностью.

Он задумался.

— А петь ты умеешь? Нотам обучена?

— Ну, так...

— Ладно. Неважно... У нас тут корь половину клироса выкосила. Вот что. Выучи покамест наизусть псалтырь и часы. Запрошу тебя у школы в церковный хор, в пятницу придешь на спевку. Для предложения, Господи прости.

— Для предложения?.. А что...

— Молчи теперь. Голову склони. Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит ти, чадо Диана...

В среду пришел запрос из церкви на меня за подписями настоятеля и регента. Бумагу зачитала Морковка вслух на утренней линейке. Мол, за нехваткой певчих и чтецов по благословию нашему удовлетворяем просьбу девицы рабы Божией ученицы 9-го класса Дианы Дерюгиной опробовать себя в деле хорового пения во славу Господа на клиросе Храма святого Стилиана, о чем сообщаем администрации ШДГ №8 и со своей стороны просим дозволить означенной девице посещать поименованный храм три раза в неделю в течение месяца по таким-то дням для испытательного срока... — все как положено.

Директор дал согласие — а как не дать: не каждому такая честь выпадет — петь на клиросе, и для всякой школы иметь в учениках церковного хориста — предмет особой гордости.

Певичка наша, правда, удивилась: мол, не замечала за тобой, Дерюгина, особых музыкальных талантов. Где ты их скрывала и за какие грехи наказывала нас своими петухами? Я и глазом не моргнула: Луиза Самойловна, говорю, одно дело петь марши и речевки в кабинете или там строем на плацу, совсем иное — во храме едиными устами славить Бога. Она и притихла, видя, что не подковырнешь тут.

И все вдруг ко мне прониклись особым уважением. Только Рита тихо брюзжала:

— Зачем это тебе? В монашки собралась? Попадешь на клирос — прощай жизнь. Там же служба — каждый божий день. Не губи себя, кума. И представляю, какая ты станешь заносчивая и скучная! Ты и

так вон... Словно в хвост перышко воткнули. Прямо не узнать... Хочешь знать правду? После этой чертовой Вихляйки ты зазналась.

— А ты завидуешь?

— Я?! — она изумленно засмеялась, помолчала, а потом очень спокойно сказала: — Ты совсем берега потеряла. Чему завидовать? Ты ведь Люсю утопила. Не лезла бы со своим геройством — она бы осталась жива.

Я замерла, как от удара в лицо.

— Ты этого не знаешь, — прошептала я. — Ты ничего не знаешь... Ты даже не видела ничего, а говоришь...

— Все об этом говорят, — беспечно улыбнулась Рита.

19. Ловы и ревы

«Кощееву иглу» придумал Кохан, как они все говорят? Ну, что ж, да. В какой-то мере да. Но не так, как они говорят. Впрочем, кому это теперь интересно? Тридцать семь лет прошло...

«А дайте мне лабораторию», — с детской бесцеремонностью обратился к старику Леднев. Надо сказать, Дмитрию Антоновичу было тогда уже пятьдесят четыре, но в нем, рядом с холодным умом, сохранились эти резкие повадки избалованного ребенка (и до сих пор еще остались), и многих это бесило. Но Кохан любил его и все его повадки. «С чего бы это?» — проскрипел он без интонации и флегматично уставился на Леднева своими кроличьими, розовыми от старости, глазами. «Вот, — Леднев положил на стол флешку. — Нейрорегенератор...». Старик посмотрел на флешку с испугом внезапно разбуженного лунатика ... «А! Ты все мастерешь эту свою... Кощееву иглу?». Так и пошло с тех пор — название прижилось. Ну, и как автор названия и научный руководитель Леднева, Кохан поставил свое имя на его изобретении. Сам Леднев об этом просил — тогда, тридцать семь лет назад, он был всего лишь малоизвестным доктором медицинских наук, скромным университетским преподавателем, тогда как авторитетное имя Кохана, автора многочисленных публикаций с высоким индексом цитирования, ректора НИИ Геронтологии и просто харизматика, могло пробить дорогу куда угодно и выбить из казны средства на любые исследования.

Так и вышло. Кохан направил прошение в РАН, там рассмотрели

заявку на коллегиальном собрании, и Президиум РАН постановил: выделить Ледневу лабораторию при институте и штат сотрудников впридачу. Война еще помогла — там, наверху, его разработки считали стратегически важными и своевременными. Хотя Институт противился. Да и Кохан бы противился: ему никогда не нравился этот проект вечной жизни, и он бы предпочел не оказывать Ледневу протекции, но все-таки поставил научные интересы выше собственных человеческих сомнений. Он умел избегать неудобных и неприятных разговоров, прикидываясь немного спящим — возраст позволял ему — и вскоре весь институт заметил, что старик на теме «Кощеевой иглы» всегда чуть похрапывает. Это вызывало множество кривотолков. Впрочем, Кохан всегда прикидывался немного спящим — даже когда умер. И умер он странно вовремя, как подгадал: в день перед тем как лаборатория Леднева получила высшую награду для хирургов — орден святого чудотворца Луки Крымского — за изобретение «Кощеевой иглы». Так что Кохан сумел избежать даже награждения за неприятное для себя (хоть и чисто номинальное) соавторство: мол, идите-ка вы к черту со своей камилавкой, я сплю.

Впрочем, не такое уж и номинальное. Все три года, пока шла работа над инъекцией, Леднев советовался со стариком. Но когда, наконец, после ряда успешных опытов над приматами Леднев, по древней медицинской традиции, решил испытать собственное изобретение на себе — Кохан от испытаний отказался.

Ледневу было тогда под шестьдесят. Возраст забытых на лбу очков. После операции... О, как назвать это чувство! Дневник, где он сухим языком отмечал все изменения, которые с ним происходили в те восхитительные дни, не содержит и приблизительных описаний его аффектов и телесных ощущений — да и как это было описать? Хрустальная голова? Мясо на пружинах? Ветер-богатырь? Я — гений? Я — зеленый стебелек?.. Глупо. Безумие какое-то. Вместо этого он записывал: «Чувствую себя чрезвычайно живым...», «Восстановление волосяного покрова на затылочной и височных частях соответствует моему 45-летнему возрасту...», «Острота зрения по таблице Сивцева — 0,8 (восст. на 4 доли, соотв. моему 40-летнему возрасту). Результат превзошел самые смелые расчеты», «Необычайная ясность и скорость ума. Память — по субъективным ощущениям — как в годы университетской юности!». Тут он не сдержался, да, прибегнул к гиперболе и поставил восклицательный знак.

Но все-таки было что-то, что не поддавалось исправлению — ошибки и расстройства памяти. Различного рода конфабуляции. Проще говоря, ложные воспоминания — «ловы» (термин Леднева, введенный им наряду с термином «ревы» — реальные воспоминания). «Лов» может формироваться самостоятельно, автономно от «рева» — как онейроидная галлюцинация, клубящееся облако грезоподобных фантазий; или при амнезиях, когда «рев» отсутствует, и тогда его место занимает «лов», как бы заштопывая провал в памяти. И все-таки это весьма относительная самостоятельность — даже при тяжелых психозах и поражениях мозга «лов» не растет из ниоткуда — а, подобно сновидению, восходит и метаморфируется из каких-то остаточных, невидимых испарений реальности. Что уж говорить о психической норме — здесь вымысел просеивается непосредственно в «рев». Ложное воспоминание прорастает сквозь истинное (обычно в результате защитной реакции на когнитивный диссонанс) — и начинает паразитировать на нем, никогда не убивая полностью, а лишь частично разрушая и перестраивая его структуру, взамен создавая новые цепочки последовательностей. Так, вместо картины трусливого бегства появляется картина стратегически хитроумного наступления, и поражение превращается в победу. Но бывают и невинные «ловы» — например, когда ассоциации очень затейливы или наоборот стереотипны (роза — красная, кремлевская стена — красная) — и затем этот шаблон срабатывает неожиданно, подстраивая архитектуру мерлонов к воспоминанию о «Розовой воде» — аромат давно позабытой незнакомки, с которой случилось давно позабытое свидание в давно позабытом городе — и вот тебе уже кажется — нет, ты вполне уверен, ты точно помнишь, что дело было на Красной площади в Москве.

«Этот твой «рев»... — морщился Кохан. — Прости, но к чему вводить пустой термин? Ты же понимаешь, что в строгом смысле реального воспоминания не существует. «Ловы» неустранимы, т.к. обусловлены самим механизмом человеческой памяти, которая — в отличие от компьютерной, воспроизводящей — реконструктивна и продуктивна. Бог создал Адама до изобретения винчестера».

Да, понимаю: не существует, неустранимы. Наши воспоминания не хранятся целиком в каком-то одном отделе мозга, как на жестком диске, в виде непрерывной линейной записи. Запоминание — процесс не континуальный, а, скорее, дискретный. Любое, самое зыбкое, легкое прикосновение мира — какая-нибудь снежинка или

капля дождя, упавшая тебе в ладонь в тот момент, когда ты протянул руку своей розовой незнакомке, — прежде чем достигнуть сознания, проделывает целое путешествие, совсем не романтическое, а, скорее, похожее на мытарства группы нелегальных мигрантов: от мозгового ствола — через распределительную камеру таламуса, где оно расщепляется и сортируется, — в различные доли головного мозга, и оттуда — в отдел коры больших полушарий, где осознается как гармонично цельное впечатление. Но этого мало. Чтобы закрепиться в памяти и получить «статус» воспоминания, оно должно вернуться в гиппокамп, снова пройти членение и сортировку (образы — направо, слова — налево, звуки — туда, запахи — сюда, et cetera) и отправиться на хранение по разным адресам: эмоции — в мозжечковую миндалину, речь — в височную область, образы — в затылочную, осязание — в теменную... Таким образом, воспоминание располагается сразу во всех местах одновременно. И в то же время — нигде. Оно само по себе не существует, пока какой-то импульс не вызовет его из памяти — одно легкое прикосновение, отзвук далекой мелодии, след летучего вещества в воздухе... И когда, через много лет, капля дождя снова упадет в твою ладонь или донесется откуда-то сердечная нота «Розовой воды» — оно вдруг заново соберется из рассортированных по разным местам фрагментов воедино и мгновенно накроет — яркой вспышкой или мимолетной тенью... Неважно. В ходе сборки структура белка изменится. Это будет уже нечто иное. Всегда нечто иное. Некий гибрид реальности и вымысла. Мерлоновая вода.

«И главное — зачем? — пожимал плечами Кохан. — Зачем, объясни мне, искать лекарство от «ловов»? Даже не лекарство — что там лечить? Ложные воспоминания — не болезнь». «Так и про старение говорили, — возражал Леднев. — А теперь у нас есть СК-терапия, Кощеева игла». «Ты знаешь, я и к твоей игле отношусь скептически... Впрочем, это вопрос скорее философский, чем медицинский. Но смотри. Вот СК-терапия — она же приносит огромную пользу, мы можем выращивать новые участки мозга взамен поврежденных, мы справились с альцгеймером, инсультом, сенильной деменцией... А какая может быть польза человеку в лекарстве от «ловов»? Никакой. Человеку дороги свои иллюзии, он почти весь и состоит из них — как из воды. Если их убрать — что останется от человека?». «Это вопрос философский, а не медицинский», — поддел Леднев. Кохан отмахнулся: «Да хоть какой. Говорили уже об этом сколько раз. «Ловы» нельзя

удалить. Разве только, — он цапнул пятерней большой кусок воздуха, — целиком вместе с памятью. Забудь. Брось дурное».

И все-таки — именно из-за очевидной нерешаемости задачи — Леднев загорелся идеей когда-нибудь ее решить. Когда? — он не думал об этом. Он не знал еще — как. И зачем. Он поселился внутри этой мечты, как в таинственном доме — бог знает, как долго придется обследовать все его секретные коридоры и запертые комнаты и какие тут призраки бродят — тем интересней его обживать.

Работы хватало — лекции, клиника, везде нервотрепка, умер Кохан, и Леднева совсем завалило — какая тут еще к черту нерешаемая задача... Нет, он не то что забыл, но с чистой совестью позволил себе ничего не искать — и не искал, отпуская мысль, как полярник бороду, — тем удивительней, что время от времени, как бы сами собой, находились пути к решению, какие-то ключики. Иногда его даже посещала проноя — мистическое чувство, будто мировой вселенский разум помогает ему, повсюду разбрасывая подсказки. А между тем наступили тридцатые, ледяной пик 2-й Холодной войны, когда новости из внешнего мира замерзали на подлете к новому Железному занавесу (теперь это называется Великий Чеканный Оклад). Государь провозгласил курс на самобытность русской науки. «Наш Богатый Внутренний Мир не нуждается... Не позволим инфицировать себя вражеской заразой... Долой...» и все такое. Живой научный обмен прекратился. Интернет еще в 20-е был объявлен кровососущим пауком ЦРУ и запрещен. И все-таки кое-что просачивалось — через разведку ли, через Китай, или через так называемую «ноосферу» (квазирелигиозная чушь, конечно, но ему нравилось что-то там про гениальную идею, которая, словно дух над водой, витает везде и одновременно прилетает в разные головы)... Из Китая пришли новые технологии компьютерно-мозгового интерфейса — их спецслужбы делились с нашими. Ну, как делились. Отдавали уже что-то позавчерашнее. И то — кусочками. Жмоты. Мол, а теперь все сами, сами. Ну, а куда деваться-то — доводили все сами, своими молитвами и кривыми руками — и действительно ведь, такая порой самобытная чертовщина на свет вылезала, такая петрушка — врагу не позавидуешь. (Здесь бы вставить пословицу: «если нужно сделать что-то — зови китайца, если нужно сделать что-то невозможное — зови русского», но Леднев не любил пословиц).

А и мы не лыком шиты: к сороковым, на базе еще довоенных разработок, в московских лабораториях был составлен полный и наиболее точный из всех существующих ранее КМИ-словарь (или словарь «обратной связи») — огромный корпус соответствий между любым психофизическим актом человека и сигналами его мозга. Как-то раз Дмитрий Антонович, в составе экспертной комиссии, смог оценить на практике работу этого словаря — при испытаниях первой модели МРТ-шлема. Заявленный как портативный, он оказался кондовой тяжелой бочкой — не всякий атлет смог бы сделать хоть шаг с такой балдой на голове. «Наши ученые создали лучшие в мире неинвазивные телепатические шлемы! Инновационная модель! Аналогов нет!» — с утра до вечера захлебывались восторгом новости. По всем каналам крутили военную рекламу: идет бой, сквозь обгорелые, дымящиеся колоски бегут солдаты, на голове у каждого — что-то вроде архиерейской митры, только без шитья, зато с какими-то дредами-проводами, как у Хищника в фильме «Хищник». Следующий кадр, в стиле микросъемки: внутри проводов течет некая флуоресцирующая субстанция — и вот она уже длинными нитями оплетает воздух, несется за тысячи миль — снова вливается в какие-то провода, и оттуда — на экран компьютера, в который уставился зорким оком весь Генштаб. Генерал Армии (актер, похожий на генерала Пацука), мудро щурясь в усы, отдает команду. Следующий кадр: солдаты в запыленных «митрах» устало, но триумфально бредут сквозь золотое колосющееся поле. У них закопченные лица. Крупно: ослепительный блик солнца на кресте «митры». Крупно: веселые глаза старшины, в которых видна сила мысли. «Приказ выполнен!», — силой мысли докладывает он Генштабу. Чепуха невероятная, одним словом.

И все же МРТ-шлем был шагом вперед по сравнению и с менее точным, дающим слабое разрешение, ЭЭГ-шлемом, и с идеально точным электро-кортикографическим шлемом, который всем бы был хорош, если бы не один маленький недостаток: чтобы надеть его на голову, требовалось снять с этой головы крышку черепа. Для опытов над преступниками и обезьянами — метод как метод, используется до сих пор: прямо сейчас в Лаборатории Памяти находятся двенадцать обученных амлену шимпанзе, каждая — с оголенным мозгом, облепленным сеткой датчиков. Но в бой с распиленной черепной коробкой не побежишь — это даже для канала «Португепя» не сюжет.

Впрочем, ему не было дела до всей этой военно-полевой кухни. В тот далекий день, двадцать лет назад, наблюдая эксперимент с «лучшим в мире инновационным телепатическим шлемом», он думал совсем о другом. Внимание его привлекла прямо не относящаяся к задачам эксперимента проблема... Даже не проблема, а так, общее место всех подобных экспериментов: если сопоставить две томограммы — когда испытуемый смотрит на, допустим, летящую птицу и когда он думает о ней — снимок второй, мысленной, вспоминаемой птицы окажется более «размытым». Разница эта сохранялась всегда, на любой аппаратуре, независимо от ее разрешающих способностей, неизменно подтверждая «предел Кохана». Значит, подумал тогда Леднев, нужно создать такой стимулятор — или симулятор? — который заставит мозг переживать воспоминание как реальность. Прошлое — как настоящее. Оставалось всего ничего: найти формулу вещества-ренатурата, которое бы позволяло извлекать и собирать воспоминание, не изменяя структуру белка.

В начале пятидесятых случился технологический прорыв — китайцы нам скинули свои КМИ-разработки десятилетней давности. Так у нас появился инвазивный кортекс-шлем — в просторечии «китайская шапочка» — тончайшая сетка нанозондов с толщиной провода в несколько молекул. Чудесная паутина. Прочь трепанацию — теперь электроды можно было вводить в любую область мозга с помощью микрохирургии. Военные, силовики, все спецслужбы КТД воспряли. Воспрял и Леднев — что-то продвинулось в его вроде бы уже забытой, заброшенной теме, приблизилось...

Иногда ему казалось, что все эти годы, пытаясь решить задачу «ловов», он как будто хотел досадить покойному Кохану. За то, что боготорил его. За то, что Кохан — этот анахорет, пренебрегающий светом и молвой — не посчитал нужным выступить в его защиту, опровергнуть расползающиеся слухи о коварстве любимого ученика, карлика, который присвоил себе труд учителя-великана... Может быть, Леднев только потому и сделал второе открытие — чтобы утвердить себя в первом. И наконец избавиться от тени Кохана, которую отбрасывала Кощеева игла. И даже название «РЕВ», которое Дмитрий Антонович дал новому веществу, было акцией неповиновения Кохану — ведь когда-то безжалостный старик высмеял саму идею «ревов», объявив ее идеалистической.

«Хорошее название. Нам нравится. В нем есть что-то... — комитетчик поднял сжатый кулак и прорычал: — Ррреволюционное!».

Они, конечно, следили за его работой, он знал, но все-таки не ждал их так скоро. «Мы вам дадим лабораторию, финансы, аппаратуру, все, что скажете, хоть кулеры с рисовой водкой на каждом этаже, любой каприз, штат главных сотрудников можете набрать сами. Нет, ну вы, само собой, вольны отказаться. Если хотите оставить работу прямо сейчас». «Какую именно?» — спросил Дмитрий Антонович. «Всю». Леднев понял, что в случае отказа ему грозит совсем не пенсия. Интересное предложение: мы дадим тебе все — или отберем у тебя все. Выбери.

«Водки не надо, — сказал Леднев. — Найдите мне дюжину самых умных шимпанзе, обученных жестовому языку. Лучше помоложе. И кофемашину. Просто кофемашину. Без искусственного интеллекта».

«Мы в вас не сомневались», — комитетчик положил перед ним уже готовый указ о создании Лаборатории Памяти, подписанный самим Государем. Леднев бегло прочитал, задержался взглядом на пункте «Задачи»: «В целях действенного выявления врагов Государства и облегчения работы органов в области расследовании преступлений разработать и подготовить к производству препарат абсолютной правды...». Вот и нашелся ответ на философский вопрос Кохана «зачем?», — невесело усмехнулся Дмитрий Антонович.

Что ж. Они всегда приходят за своим. Лаборатории уже пять лет. Настал час расплаты.

Пискнула гарнитура: запрос на голосовую связь. Лаборатория. Стоило только вспомнить! Значит, долго жить будет, если верить народным приметам. Он, разумеется, не верил, но когда очень хотелось — немножечко верил.

В наушнике раздался задыхающийся голос доктора Рыбкина:

— Алё, алё!

— Да, Иван Семенович. Слушаю.

— Дмитрий Антонович, тут все в панике. Лабораторию опечатывают, нас выгнали, никого не пускают, что происходит?

— Панику отставить. Всех успокоить и отправить по домам. Скажите: нашу работу временно приостановили. Временно. Я разбираюсь с этим вопросом...

— Но они отключили все системы, вода, питание, все, а там обе-

зьяны, они же все передохнут, но им как об стену горохом, ничего не доказать!

— Кому доказать, обезьянам? Друг мой, прошу вас, успокойтесь, поезжайте домой, выпейте коньяку или что вы там предпочитаете...

— Но это неслыханно, вдруг ни с того ни с сего, не предупредили, ничего... Разве так можно?.. — в сторону: — Что... Что такое?.. Вы что делаете? Прекратите!

Доносятся крики, шум.

— Это какой-то погром! Что делать? Что делать?

— Ничего! — рявкнул Леднев. — Успокойтесь! Вы можете успокоиться?

— Да... Да... Извините... Нет, не могу! Я не смогу сидеть сложа руки, когда все гибнет!

— Так. Ладно. Слушайте. Хотите помочь?

— О! Спрашиваете!

— Хорошо. Я вам сейчас перешлю кое-что — так, так... Вот. Это расшифровка нейрограммы под нашим РЕВ-препаратом и все материалы по этому делу. Из-за чего, собственно, весь сыр-бор. Изучите и пришлите мне отчет до рассвета. Сделаете?

— Кровь из носа! Жив не буду — сделаю!

— Нет, вы уж, пожалуйста, будьте живы. Договорились?

— Да, Дмитрий Антонович!

— Тогда жду. Все-таки одна голова хорошо, а две лучше. Я могу что-то упустить, а у вас ум пылкий, молодой...

Из того, что он сам успел прочитать в это утро, пока ничего не прояснилось. Просил же: дайте расшифровку в исполнении грамотного КМИ-транскрибатора. А что прислал Дурман? Какой-то поток непросеянного холистического сознания. Впрочем, это и к лучшему. А то они бы уж там просеяли, специалисты хреновы. Ну, правильно, откуда у них другим взяться? А я говорил, нельзя так, доверьте нам подбор кадров и контроль на каждом этапе эксперимента — так нет, быстрее все захватать в свои жадные ручонки. И еще не факт, что транскрибацию делал человек, а не программа «Русский стиль». С них станется.

20. Крипта

В пятницу после обеда приехал за мной церковный автобус.

— Дерюгина, пой благолепно, не опозорь коллектив! — папугует Морковка, которая временно взяла руководство над нашим классом, пока Ментор сидит в опале, в писарях, на сухояде сорокадневном.

Ментор бы добавил: «А не то прокляну!». Эх, скучно без него...

Охранники у дверей впервые смотрят на меня с некоторым вялым интересом. Такой взгляд через губу. Субординация! Я не знаю точно, что это такое, но если б задали мне это слово нарисовать, я бы эти рыла взяла за образец натуры.

В автобусе тоже сидят у входа и выхода два охранника, кроме того — один наблюдатель, несколько мирян-послушников, инокиня из монастыря, пара мусульман — сотрудников из Совета по делам единокнижия, звонарь, несколько папертных нищих, протодиакон соседнего храма Василий Чуйкин с матушкой и блажным сыном, который всю дорогу бьется головой в окно и визжит, дорожные рабочие, просто едущие тем же маршрутом, группка семинаристов, один полицейский чин с рацией, один военный чин с колом в горле, три веселых дембеля, четыре обветренных ветерана Четвертой войны и еще с десятков разных людей в картузах, зипунах, шинелях, платках, мурмолах, хиджабах, челепенниках — кто с тусом берестяным, кто с узелком шелковым, кто с кожаной мошной, кто с палкой, кто с землемерным циркулем, кто без ничего. Один даже едет летописец, держа у груди складную камеру с портретным объективом. Вот народу набилось! Хорошо, накануне Чистый четверг был — а то обычно в автобус хоть не влезай: запахи — как в рыбной лавке и на сыромятне одновременно, ух... Бани-то закрыты во всю Великую Четырнадцатую, мойся кто как хочет, да и незачем хотеть — зачем о теле думать в пост. О духе надо думать! Вот дух-то и стоит. И не как у нас — в девичьих школьных спальнях. Дух зрелой крепости! Все-таки много у нас в Детском Городе живет и работает взрослых. А нам твердят, что, мол, все — сами, сами. Ну, это ясно — с педагогическими целями, для разогрева социальной воли. Чтобы когда придет посев или жниво — мы работали задорно, весело, исправно.

Инокиня эта, в автобусе, матушка Елена, оказалась новым регентом нашего хора. А два семинариста — как и я, ехали пробоваться в

певчие. Сойдя у храма, мы вчетвером направились в трапезную на спевку, но как только вошли в причтовый дом, нас встретили отец Андрей с молодым пономарем — я видела его раньше, он прислуживал в алтаре при литургиях. Отец Андрей отозвал инокиню на несколько шагов и что-то сказал ей. Та вернулась и велела мне идти с настоятелем.

Андрей с алтарником молча двинулись вперед, я за ними. Мы проходили через трапезную, миновали несколько дверей и коридоров — и оказались в северном приделе храма, примыкающем к трапезной с другой стороны. Когда-то здесь проводились богослужения в холодное время: придел отапливался печью, в отличие от основного здания церкви. Потом подворье разрослось, построили котельную, которая давала тепло на весь храм — и очень вовремя, потому что вскоре в зимнем приделе случился пожар, который только к утру удалось залить. Огонь, дым и вода многое разрушили и повредили. Особенно пострадал иконостас — он выгорел весь, от местного ряда до навершия. И это тоже оказалось как-то странно ко времени: как раз в тот год вышел запрет на образа, и духовенству по всем епархиям было выслано постановление Синода с приказом уничтожать иконы, закрашивать фрески и сбивать мозаики, но искоренение шло трудно, многие приходы сопротивлялись, в ход пошли карательные меры, некоторые священники были вместе с иконами сожжены в срубках как раскольники.

А у нас в приходе обошлось без жертв — помог пожар. Говорят, когда в северном приделе дотла сгорел иконостас, в этом увидели знак свыше. Настоятель возгласил перед паствой: братие и сестры, смиримся, подчинимся указу Синода, через пламя сие нам было явлено чудо Божьей воли, — и все служители вместе с мирянами торжественно вынесли из храма оставшиеся иконы, порубили, сложили в костры и сожгли.

Так малая беда помогла избежать большой. Отстроили новую трапезную, а до ремонта придела то ли руки не дошли, то ли средства. И с тех пор службы в нем не проходили.

Здесь было сумрачно и необыкновенно тихо. В воздухе все еще витал запах гари — его не перекрывал холодный сырой дух заброшенного дома. Холодный и сырой, пещерный дух, где люди не обитают, только бродят тени и морозом дышат. Я мгновенно озябла до

костей. Вот ведь как бывает! Раньше северный придел был в храме единственным местом с печью. Теперь это — самое холодное место на подворье.

Отец Андрей и пономарь остановились перед алтарной преградой — узорчатой железной решеткой, которая чернела на месте того легендарного, чудесно сгоревшего иконостаса. За ней виднелся престол. Престол был накрыт пеленами — будто на нем все еще стояли предметы для совершения таинства Евхаристии.

Они не разговаривали, я не спрашивала, мы стояли в полном молчании, в такой тишине, что казалось, каждый вдох и выдох преувеличивается акустикой в три силы. Они еще помедлили. Переглянулись. Наконец, с краткой молитвой, перекрестясь, вошли через дьяконовы врата в алтарь. Не оборачиваясь, отец Андрей мне сделал знак рукой: входи. Я перекрестилась и вошла вслед за ними. Протоиерей шагнул к престолу, снял пелена, отдал пономарю. Престол был пуст — никаких священных предметов, только корзинка простых свечей, наполовину разобранная, и спички. А то, что по очертаниям выглядело как дарохранительница, оказалось чем-то вроде рычага коробки передач с крестообразной ручкой. Отец Андрей взялся за нее, переместил рычаг туда-сюда — и престол с тяжелым вздохом отъехал вбок, открыв подземный ход с деревянной винтовой лестницей.

Зажгли свечи. Всё молча и не глядя друг на друга. Пономарь снова застелил престол пеленами. И, подобрав подола, начали спускаться в шахту по ветхим узким ступенькам — сперва отец Андрей, затем я, замыкал пономарь — он и кнопку какую-то нажал в стене, чтобы все там, снаружи, обратно задвинулось и сделалось невидимым, как вначале.

Спустились. Оказались в штреке — в темноте было ничего не разобрать, только черный зев тоннеля, который выглядел как воронка, и в отблесках свечей — грубо выдолбленную в камне стену, лужи на полу и прогнившие остатки рельсов. Мы пробирались по штреке еще минут пять. Наконец, за каким-то поворотом забрезжил свет — и вскоре мы вышли в небольшой грот, похожий на крипту. Здесь на стене висела керосиновая лампа. Фитиль горел тускло и неровно, еле еле освещая кривые арочные своды — за пазухами сводов, в углах и нишах, лежали глубокие тени, переменчивые от дрожащего огня. В

безлюдной тишине, мерно и отчетливо, стучала капля где-то, отдаваясь подвальным эхом.

— Батюшка Григорий! — вдруг зычным печным басом пропел отец Андрей. — Ваше преподобие! Ну, где ты там? Выходи. Принимай преступную отроковицу на обучение.

Тут он впервые взглянул на меня и весело, незнакомо подмигнул. Пономарь тревожно хихикнул. Это был тщедушный юноша с болезненно-румяным старушечьим лицом и грязными волосами на пробор.

— Ну, что кричать-то... — простонало в боковой нише: там, как Спас Полуночный, устроился отец Григорий в скорбной позе.

— А ты не спи! — сказал отец Андрей — Опять, небось, набрался?

Отец Григорий возмущенно пошевелился в своей темничке:

— Господи помилуй! Набрался... Кровь Христова! Причастился!

— Знаю я тебя, причастник. Уже допричащался до зеленых нимбов. Вылезай давай. Вот тебе на смену — учи, да не замай. Кагором не пои! Давай, давай, очунайся. Недосуг мне с вами тут.

Отец Григорий вытянул шею, близоруко щуря глаза:

— Что-то я не понял. Ты мне, Ваше Высокопреподобие, что обещаешь? Что приведешь ученика. А это что?

— Это и есть твой ученик.

— Я почему-то вижу бабу. Лопни мои глаза: баба. И ты провел ее через алтарь?! Бабу через алтарь?!

— Тот алтарь давно сгорел. И не бабу, а девицу чистую.

— Видали мы таких девиц... Чистая... Даже не монашенка! И возраст не годится. Она еще лет сорок будет нечистой из-за месячных кровей. Видано ли дело... Скажи, алтарник?

Пономарь опять хихикнул испуганно. Покосился на отца Андрея.

— Не смущай детей-то... Дело сделано, — сказал Андрей устало и вдруг, вскинув брови, шутя прикрикнул на алтарника: — А ты, балда, чего стоишь столбом? Ну-ка, живо предъяви отцу Григорию подорожную.

Пономарь суетливо порылся в складках стихаря, извлек медную флягу и поднес отцу Григорию.

Григорий мгновенно смягчился:

— Вот сразу б так бы и сказал, твое такое Высокопреподобие! А то ж чего ж?.. Как будто нам не внятно... Нам внятно все! И острый галльский смысл, и сумрачный германский гений! Так скзть...

Он церемонно отпил глоточек и бережно, ласково, будто котенка, спрятал флягу у себя на груди.

— Ладно, пойдем... Как тебя там, раба Божия...

— Диана, — ответила я.

— Пойдем, Диана... С вашего благословения, Вашвысокпреподобие! — сказал он отцу Андрею, грузно выбираясь из своей темнички. Вперед него звякнула и выкатилась пустая бутылка.

— Идите с Богом, — сказал отец Андрей и перекрестил воздух.

Настоятель и пономарь повернулись и направились к дальнему углу крипты. Там оказалась такая же винтовая лестница, как та, по которой мы спустились из северного придела. Путаясь ногами в подрысниках, они полезли вверх, и вскоре огоньки их свечей скрылись из виду. Затихли шаги и скрипы на лестнице. Я осталась наедине с отцом Григорием. Где-то в жуткой глубине все так же отчетливо и настойчиво стучала капля.

— Ну, что... За мной, — проворчал иерей.

Он снял со стены керосиновую лампу и, держа перед собой, пошел вперед тем особым, невесомым шагом, который бывает у тучных длинноногих людей — когда походка не гремит, а наоборот, приобретает некоторую воздухоплавательность. Черные полы рясы свивались, развевались и хлопали при каждом шаге. Он плыл, как черный дирижабль в непроглядной тьме штрека, теряясь в ней почти — только керосинка освещала по контуру верхнюю часть тела: ореольчик спутанных волос вокруг головы, засаленный ворот, покатые тяжелые плечи, складки рукавов.

На стенах штрека высвечивалась иногда под лампой то надпись, то цифра, то стрелка: «склеп №1», «обход», «тупик», «Грот Белого Спелеолога», «Шахта Черного Монаха», «не влезай — убьет», «Волчья Яма», «Завтрак туриста», «склеп №2», «библиотека»...

Мне было страшно идти молча и я заговорила:

— А как же светляки, батюшка?

— Не добивают светляки отсюда, нет связи. Мы тут невидимы для этих их бесовских машинок. А то понатыкали по всей небесной тверди... гляделок-перделок... Тьфу. Наблюдают они! Ишь, наблюдатели. И над вами наблюдатель имеется! Он вам понаблюдает, бляди.

Я на миг притихла от такой крамолы и лютости. И одновременно почувствовала трепет небывалой свободы.

— А настоятель с пономарем?

— А что им сделается? Та лестничка ведет под основной алтарь. Выйдут сразу в храме. А там уж наша братия... Церковь-то двухпрестольная, ага? Вот ведь для чего пригодилось, мог ли кто подумать... Тьфу ты, Господи прости! До чего дошли, а? Бегаем, как воры на вокзале... Как землеройки по норам прячемся...

Он остановился, достал из-за пазухи флягу и, отвинчивая крышку, слезливо произнес:

— Стыд-то какой. Грех! Ох-хо-хо, горе, горе...

Приложился, завинтил, обратно спрятал, чинно огладил бороду с усами. Затем оглянулся на меня и удивился – словно забыл обо мне, пока сам с собой вздыхал и горевал.

— Тьфу ты! Еще тебя вот навязали на мою голову. Тебе-то тут чего?

— Надо, – сказала я.

— Вот же бабья дурь! И что, не страшно тут тебе?

— Страшно.

Он одобрительно рассмеялся.

— То-то же. Ну, пойдём, уже недалеко.

И снова зашелестел, поплыл вперед. Мне на сердце чуть полегчало.

— Батюшка!

— Угу?

— А почему, когда написано «тупик» или «обход», мы все равно идем прямо? И под знаком «не влезай убьет» пролазим?

— Следы запутываем. Конспирация!

— А!

— Бэ! Ничего не знает — а туда же, в иконописцы лезет! Ты хоть рисовать умеешь?

— Мастерница хвалила, — сказала я.

— Мастерница!.. Эта курица с вареной лапой? Да она сама не может ровно линию провести. А уж какой-нибудь овал! Тюк-тюк-тюк! — он брезгливо прочертил в воздухе лампой. — Я же помню, мы вместе выпускались... Бездарность, ничтожество. Что она смыслит! И все они такие... Деткам преподают! Деткам, господи прости! Не всех тупых война убила... Значит, умеешь?

— Да вы же сами меня и утверждали.

— Я?! Когда это? Кто тебе сказал такое?

— Два года назад, еще до запрета. Настоятель сказал.

— Врет! Не помню такого! — замахал свободной рукой отец

Григорий. — Разве что спьяну.

— Я умею рисовать, — упрямо сказала я.

— А вот сейчас и поглядим.

Он вдруг юрко завернул куда-то, я за ним — и мы оказались в высоком светлом гроте.

21. Левый глуст Весельчука

— Пациент Весельчук, — сказала стена. — Просит принять.

— Почему Весельчук? Ему разве назначено?

— Нет. Говорит, что-то срочное. Очень просит. На коленях ползает.

— Опять, небось, новая печень нужна, — проворчал Леднев. — Ладно. Его счастье, что у меня окно. Зови.

Дверь нараспашку — вваливается Весельчук: криво застегнутая шуба из амурского тигра, боа из удава — один конец с локтя свисает, другой вокруг колена обвивается, на лысом черепе — феска, сам отбеленный до розовых глаз, из-под шубы торчат голые ноги в турецких бабушах с загнутыми носами.

— Здравствуй, голубчик Дмитрий Антоныч! Спаси-погибаю!

— Что такое, Федор Сергеич? Снова печень просадили на эмпа-
ках¹⁵?

— Ни-ни-ни, — замахал руками Весельчук, сверкая золотыми ногтями. — Что ты, что ты! Ну их нахуй! Я же, блядь, чуть не сдох прошлым разом. Ты же сам меня из комы тащил...

— Помню, помню. Страху наделали всей клинике.

— Ну!

— Безобразник вы, Федор Сергеич. Эмпатики! Вроде ж и не юнец, а все туда же...

— Да я клянусь: всё! Завязал! Чист, аки младенец новокрещенный! Все, никакой химии! Ни-ни! Это все прошлый день, чувак! То ли дело — глусты¹⁶! Это чистый кайф! Это возвышенная природа цифры!

— Так, — сказал Леднев. — Вы уж, будьте добры, сядьте... Сядьте, сядьте. И признавайтесь, в какое дерьмо вы опять вляпались.

— Да что я?! Это все этот мудака, Абдурахман: патентованный глуст, хороший! А сам подsunул мне говно какое-то. Ну ничего, там

¹⁵Эмпатик — химический наркотик, вызывающий чувство прозрачности, всевидения и чтения мыслей

¹⁶Глуст — цифровой наркотик-имплант, воздействующий на «зоны удовольствия» головного мозга электрическими импульсами (сокр. от «глубокая стимуляция» по названию процедуры ГСМ).

с ним разберутся, я уже направил жалобу. Там его хитрую дагестанскую жопу наизнанку-то вывернут. Одно слово — Абдурахман. Абдурахманить меня вздумал! Шельма! А что? У них же наебать гяура не харам.

— Друг мой, давайте-ка успокойтесь. Опишите проблему кратко. И, ради бога, перестаньте материться.

— Прошу простить великодушно! Из роли не вышел! Пьесу ставил про бунт народный, справедливый! Называется «Очнись, заблудший брат!». Три месяца репетиций! И сам в ней играю супостата! Пана междуморского, фашиста-гомосека, который народы наши исконно русския пятою топчет и хлыстом сечет, а те ему сапог лижут, а он сечет, а они, суки продажные, лижут аж слюна течет, а он их — раком, раком, и так и сяк, и в хвост и в гриву, ухх, ухх, охх, аххх, аххх, йиххх, йэхххх, ооо, уууу, еуууу, аааааааа, блядь, блядь, опять началось, опять, прошу вас, умоляю, избавьте меня, умо-ляю ляю ме-ня ня ня, лю, няю, лю, ня, ня, ня, няааааааа!

— Три кубика галоперидола ему, — сказал Леднев.

— Не-не-не, не надо галочку, не надо! Я уже все, я кончил, не надо... Это не я, я не болен, это вирус! Этот мудак мне впарил глуст с вирусом! И теперь меня прет день и ночь, а я не могу контролировать это, стоит только подумать о... Нет-нет-нет, я не думаю, не думаю, не думаю об этом... Я жрать перестал, спать перестал, я неделю не выходил на работу, я сдохну, как эта крыса с электродом и педалью... Они только этого и добиваются, чтоб я сдох! Поймите! Это заговор! Это враги! Завистники! У меня много завистников! О! Они только и ждут, чтобы высморкаться друг другу в жилетку на моих поминках, уже речи заготовили, суки... А вот хуй им в жопу! В жопу, раком, сметаны им на клык, малафьи на воротник, залупой по губам, ооо, ууу, аааа, опять!... Опять начинается! Аааа! Доктор, скорее, достаньте из меня это, удалите этот долбаный имплант, аааа! Аааа! Ууууу... Ооо... Ыы...

Весельчук, сладострастно извиваясь и мыча, сполз с кресла и принялся елозить по полу, теряя тапки. Ассистенты-роботы суетливо жужжали над ним, но ничего не предпринимали — ждали распоряжений Леднева.

— Ну, чего зависли? — проворчал Леднев. — Не видите, пациент умирает от наслаждения. На операцию готовьте. Надо достать из него этот... Глум... Глист... Глуст, черт бы его побрал.

В следующий раз, когда увижу чересчур возбужденного человека, надо будет пошутить: «Что-то вы какой-то грустный».

Подъехала каталка. Весельчук тем временем приходит в сознание. Ассистенты помогают ему раздеться — оказывается, под тигровой шкурой и змеиным боа ничего нет, голое голубовато-белое тело, крестик на груди, сафьяновые туфли на ногах — и все. Видимо, народный режиссер бежал из дома в дикой спешке, между приступами эротического бешенства, накинув на себя что попало, боясь не успеть до начала нового приступа. Его усаживают на носилки. Понуро висят вдоль туловища руки в золотых татуировках, бледный животик свисает блином на безволосый, гладко эпилированный пах, в складках которого пугливо прячется уд-недоросток.

— Видишь, Антоныч? — жалобно мяучит Весельчук, по-детски оттягивая его. — Мне уже даже нечем кончать... Ни капли спермы. Я весь вышел. Неделя непрерывного кайфа. Я истощен. Я потерял десять килограммов. А оно — все равно... — он постучал себя по затылку растопыренной ладонью.

— Федор Сергеич, — сказал Леднев. — Вы в непотребном виде. Не мое собачье дело, конечно... Но... Раз уж такая ситуация, не хотите ли отключить линзы?

Весельчук устало махнул рукой.

— Оспади! Что они там не видели... Моего сморщенного хуя? Я ведь не мальчик давно. Девяносто два года в этом году. Чего мне стесняться? Они меня рассмотрели уже всего насквозь, и вдоль и поперек, и шиворот-навыворот. Эй! — закричал он в потолок — по какой-то застарелой общей привычке, как будто следящие устройства находятся где-то вверху, а не в линзах — и, женственно извернувшись бедром, хлопнул себя по татуированной золотом ягодице. — Вы там! Алё! Поцелуйте меня в зад! В жопу! В шоколадный глаз! Нежно! С причмоком! Ооох... Нет, зря это сказал... Ыыыых... Опять начинается... Оххх... Аааа, ууу, ыыы, ну блядь, так нечестно, даже выругаться нельзя, что за буквальный глуст! Сука, ааа, ооооо....

— Анестезию, — крикнул Леднев. — И в операционную его.

Ну, вот — ни горело, ни светило, да вдруг припекло.

По дороге в операционную он быстро пролистал последние прочитанные страницы из нейрограммы. У ээка-1097 какие-то глюки в памяти — воспоминания о будущем, прозрачные стены, биение сердец двух медсестер... Хм, кстати. Девочка как будто под эмпатиками.

Синдром «прозрения». Хотя и без характерного «чтения мыслей»... А может, они там тоже на веществах сидят? Что-то же туда от нас все время просачивается. Нет, чепуха: один эмпатик стоит три года трудней в зоне светляков. Невозможно. Тем более — Детский город. Кто бы рискнул туда переправлять — даже если бы это было выгодно. А там и денег-то нет... Там ничего нет.

Нет. Будь там наркотики, РЕВ бы показал это. Или надо признать, что РЕВ не работает. И тогда — прощай лицензия, прощай лаборатория. Крах репутации, крах всему. Из весьма именитой персоны стану я Абдурахманом, только хуже: большой шкаф громче падает. Меня просто сотрут, с землей сровняют. Потому что абдурахманенным окажется не какой-нибудь пышный дурак Весельчук, а целый Комитет.

Навешать им какой-нибудь лапши... С умным видом. Типа, а что вы хотели? Я же говорил, что препарат недоработан. И следовало бы провести больше испытаний. Потому что одно дело обезьяны, другое люди. И вы же сами требовали: скорее, скорее. И я же вас предупреждал о непредсказуемых эффектах. И что брать нужно взрослых эзков, после 25-ти, когда лобные доли уже сформированы. А вы хватаете подростка, у которого свобода растет быстрее ума — и в силу этого любой подросток хуже обезьяны... И все в таком роде. Авось прокатит... Нет, не прокатит. И где твоя гордость, Леднев? Заткнись и перестань оправдываться.

Все-таки странно. Вот Москва — и вот какой-то затхлый Энский уезд, ДГ-8, зона светляков, и между ними бездна. Россия — мистическая страна, которая вся состоит из временных дыр-тоннелей — из 21 века можно попасть в любое историческое время — хоть в 20-й век, хоть в 16-й, хоть в 6370-й год по Нестору-летописцу. Здесь всё, там — ничего, средневековая тоска, медвежуть, они там молятся на водопровод и канализацию. Мир видят только по телевизору... Интересно, есть ли у них какая-то светская жизнь, кружки самодеятельности, местечковые театры?.. Кстати, не забыть бы попросить у Весельчука контрамарку. Как там его пьеса называется? «Очнись, заблудший брат!», что-то в этом роде. Сто лет в театре не был. Надо развлекаться как-то. Заработался. Последний раз смотрел какую-то дикую «Кровь на хоругвях» в постановке Гладыкина, главного врага Весельчука. И тексты им разные программы пишут... А там, на зонных территориях, даже не знают, что такое «программы» и как это они «пишут». Весь искусственный интеллект для них — это поющие

машины на воздушных мышцах. Они не имеют представления об умных линзах, о КМИ, о молодильном яблоке, благодаря которому можно жить так долго и красиво, что аж затощнит. Они каждую секунду готовы к смерти. Они не имеют права на одиночество. На уединение с единственным сердечным другом. Они живут в какой-то постоянной мучительной телесной связи всех со всеми. И все-таки вот эта девочка, зэка-1097 — она свободнее меня. У нее в голове всего лишь слепой светляк. А у меня — всевидящая линза.

22. Мастерская

— Грот иконописцев! — зычным басом прогремел отец Григорий и тотчас как-то скис: — Хотя иконописец тут один — я. Ну... Бог даст, и выйдет из тебя второй.

Он положил на стол остро очиненный карандаш и лист бумаги, прихлопнув его огромной пятерней:

— Садись, рисуй.

— Что, батюшка?

— Да хоть вот этот стул, — он указал на корявый табурет в углу. — Что видишь, то и рисуй. Фантазий мне тут не надо. Полчаса даю.

— А ластик?

— Так рисуй. Так руку лучше видно.

Я села, зажала в кулаке карандаш, уставилась на белый лист — и одервенела. Как тот корявый табурет. Что видишь... Вижу многое, да не понимаю. Вижу смерть отца Григория от церковного вина. Вот нарисую — будет знать! Нет, не будет. Скажет: фантазия.

Ходит за спиной, возится в своем углу — то пошуршит чем-то, то подвигает что-то, то переставит, то покряхтит, то кашляет, то сплюнет. И не знает. И я как будто бы тоже ничего не знаю. Как будто вижу его впервые. Вроде по виду весь как раньше: тот же нос, глаза и щеки, то же брюхо — а вроде бы совсем другой. А нос у него все-таки как у индюка. Вот наградил же Бог такой гирляндой — и прямо посередине физиономии! Разные носы бывают, но этот — нос так нос! Начинается как птичий клюв — вот так, потом идут такие вот наросты, изогнутые крылья ноздрей, а на конце — как будто груша... Во-от так. Нет, не так, чуть по-другому... Да, вот так! И бородавка еще сбоку...

Вот такая!

— Ха-ха-ха! – громыхнуло за спиной.

Он выхватил из-под моей руки листок, посмотрел, сощурился — и снова рассмеялся.

— Ах ты, озорница! Хулиганка! — он помахал листком, как разоблачительным письмом в суде. — Мой портрет нарисовала, ну ты посмотри! Как приложила старика, а?

— Я... нет... — говорю. — Я не хотела... Это просто нос.

— Вижу, чадо, вижу, что не ухо. Но бляха-муха, если этот нос уйдет гулять и будет представляться мной — все ему поверят!

Он отхлебнул из фляги, глядя на рисунок, подумал, снова выпил и припрятал его в какой-то папке.

— Ну, Бог с тобой. Потешила старика. Умеешь ухватить! Что ж... И девки бывают талантливы. А то был у меня отрочонок один голоусый... Ох, какой был отрочонок!.. — он запнулся, помотал головой. — Такой хитроумный в рисовании, куда уж кому... Ну чисто бесенок!.. — он запечалился. — В девках дара такого нет. Да так уж и быть. Оставайся. Завтра дам тебе срисовывать со списка. А после краскам научу. А сейчас, пока есть время, — он откинул рукав и взглянул на часы, — сядь тут и наблюдай, как я работаю. И на ус мотай.

Он положил на стол беленькую, чистую как младенец, доску и, перекрестившись, стал ошкуривать ее наждачкой, бормоча:

— Вот. Это — доска, уже готовая, прогрунтованная — осталось немного довести. Потом сама будешь доску готовить — клей варить, левкасить. Научу. Дело это не быстрое, но, даст Бог... Ты не смотри, что я злой: злой-то я злой — так ведь и устал-то, сил нету, один, всё один! Мне, сказать по совести, помощник позарез нужен. И надо ведь умение кому-то передать! А то что ж, все погибнет? А и может неплохо, что ты баба... Бабы — оне послушнее. Будешь слушаться — мастером станешь. А нет — выгоню, так и знай! И — беги доноси, коли хочешь быть иудой. Для иуд исход один — на осине висеть... Только ты не побежишь. Я людей вижу. У тебя в другом месте грех... Надо бы тебе столик смастерить и лампу прикрутить, сделать тебе свой угол. А то здесь на одного все рассчитано. Кто же знал... Завтра займусь. Обустроимся! Так...

Он отложил наждачку, провел ладонью по доске, подул на нее, полюбовался. Достал из своих закровов прозрачную кальку с рисунком иконы «Феодор Стратилат» и стал ее чернить кусочком угля с

обратной стороны:

— Сейчас уже такой бумаги не достать... Я несколько листов сохранил еще с тех времен. Тебе не дам, не думай. Будешь учиться копировать рукой на глаз. А иначе — что с тебя толку? Я-то и без кальки могу, но так — быстрее. Когда ты один, а списков сделать надо много — так рациональней. А если надо опыт передать — другое дело. Опыт — не в бумаге, а в ребрах. И вот здесь! — он постучал себе по голове. — И здесь, — растопырил свою испачканную углем, огромную, как морская звезда, пятерню.

Похлопал ладонями, сбивая угольную пыль, тщательно протер их тряпкой. Перевернул кальку и аккуратно приложил к доске:

— Так. Ну, приступим с молитвой. Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного...

Перекрестясь несколько раз и бормоча умную молитву, отец Григорий перевел рисунок с кальки на доску, прочертил все линии черной темперой, а затем процарапал сапожной иглой. Отполировал поверхность.

— Поддай-ка шеллак... Смола на спирту, вон там... Да не то. Янтарная такая банка. Ага. Теперь эмаль желтую. Слева на полке... Слева! Да.

Прокрыл доску смолой, потом эмалью. Она сделалась веселенького одуванчикового цвета.

— Все. Теперь надо оставить сохнуть на день и ночь. Завтра проложу еще слой лака — тоже сутки надо ждать. А послезавтра будем нимб золотить! Али ты не придешь?... — он развернул какую-то бумажку, пробежал глазами. — Что у нас там? Понедельник? Ага. Как раз твой день по расписанию. Теперь смотри. Никакого самовольства. Будешь приходить тем же путем, что и сегодня: через трапезную, вместе с матушкой-регентом и другими певчими. Там тебя будут встречать наши братья. И с ними, через северный придел — сюда.

— А как обратно?

— Обратно — тем же ходом. Сейчас к нам из восточного алтаря спустится Лешка-пономарь, а выйдем мы через северный — все вторым, оттуда — в трапезную. Как раз к концу спевки вернем тебя матушке Елене. А там — иди с народом на автобус.

— Конспирация? — кивнула я с плохо скрываемым азартом.

— А ты и рада, дура! Это не игрушки! Не казаки-разбойники! Смотри, заметут нас всех из-за тебя — вот будет радости... Всех в срубях

спалют. Хочешь в срубке гореть?

— Не хочу. Я молчать буду.

— Молчать она будет. Мучениц нам тут не надо, ясно? Вот что нам надо, — он указал на доску, — истинная церковь! Вот что мы храним! А погибнуть — ума не много надо. Да, я готов за веру умереть! А толку? Кто дело мое продолжит? И что будет с образами святыми, которые мы сберегли? Душу-то спасу, а кто спасет иконы? А я за них готов и душу отдать.

Он приложился к фляге, вытрясая из нее последнее. Пономарь все не шел. Отец Григорий вдруг желчно засмеялся:

— А славно мы их надули, а?

— Кого, батюшка?

— Еретиков-единокнижников! Самосвятлов! Подстилок басурманских! — он взглянул на меня и как бы опомнился. — А... Да что ты можешь знать, горькое дитя...

Я думала промолчать, но не стерпела:

— Вы о том пожаре в северном приделе? Вы его сами и подстроили, да? Чтобы спасти иконостас? Чтобы выходило так, будто он сгорел в огне.

Иерей сверкнул на меня очами.

— Тихо!

В штрэке слышались шаги. И появился пономарь.

— Тебя за смертью только посылать! — набросился на него отец Григорий.

— А что такое? — испугался пономарь. — Как Настоятель приказал, так я и вышел.

— Смотри на время! — отец Григорий ткнул ему под нос часы.

— У вас торопятся, Ваше Преподобие. На шесть минут.

— Зато ты не торопишься, — не смутился иерей и зашагал вон из грота.

Я пошла следом. Пономарь за мной. Позади я слышала его обиженное ворчанье:

— Я всегда вовремя. А то как будто я не понимаю... Как Настоятель приказал, так я и вышел. А то сразу кричать...

Мы в обратном порядке миновали все знаки, надписи и стрелки на стенах штрэка.

— А кто такой этот Белый спелеолог? — спросила я.

— Что?

— Ну, там написано на стене «грот Белого спелеолога».

— А, это... Это байки местные. Старая надпись, еще до нас тут была. С прежних времен осталась, довоенных. Раньше, когда эти каменоломни уже были заброшены, но еще имели ходы наружные, здесь публика разная ошивалась, пещерные туристы. Лет пятьдесят назад. Детского Города еще не было. Была деревенька тут малая. Потом ходы завалили и на холме церковь построили. Про каменоломни все забыли.

— А вы откуда помните?

— Откуда... Все ей расскажи. Я сам из этих мест. Мне лет десять было, когда эту церковь закладывали. Я эти пещеры с детства знаю. Мы тут с пацанами лазили, еще когда был ход открыт. Потом война... А потом я уехал в Энк, учиться...

— В семинарию?

— Нет. В художественное училище. В семинарию потом уж... Вернулся — и с тех пор тут служу. Все прошло перед глазами. И старый режим, и война, и реформа... Запрет на одиночество, запрет на образа... Сперва сам расписывал этот храм — потом сам и замазывал все росписи, слезами обливаясь. Но ничего: врешь — не убьешь! Чаю воскресения истинной церкви! С иконостасом мы их надули. Светляков обходим и все их бесовские машинки. Посмотрим, кто кого!

С этими словами воинственный иерей спотыкнулся, шмякнул ногой с размаху в какую-то лужу и выругался. Злясь на свою неловкость, он прокричал во тьму:

— Тут битва между дьяволом и Богом идет! Брань великая! А то какие-то спелеологи... Тоже мне, тема! Байки из склепа.

— А я видел Белого спелеолога! — вдруг звонким детским голосом сказал пономарь.

— А чертей болотных ты не видел?

— Диякон Антоний может подтвердить! В прошлом годе, помните, Ваше Преподобие, когда мы на заднем дворе липу резали на доски для ваших образов и переносили в крипту, умаялись за целый день, не так от работы, как от страха — дело-то опасное, тайное! И в опоследний раз спустивши груз, присели в гроте — и на радостях, что дело кончено, ну и для успокоения нервов грешным делом покурили табаку...

Отец Григорий остановился, топнул ногой и гневно потряс лампой:

— Ах вы сукины вы дети! Курящий возжигает фимиам дьяволу!

Не про вас ли сие сказано?

— Простите Христа ради, батюшка. Один раз был грех, клянусь, больше не повторилось...

— Не клянись, пустая твоя голова! Сколько раз говорить? Не клянись вовсе! Только «да, да — нет, нет», а что сверх того — то от лукавого. Как горохом об стену... Ладно... Сказывай дальше свою сказку.

— Ну, и вот, — робко продолжал пономарь, — с непривычки развезло нас с диаконом, мы и задремали. Вдруг, — тут голос его окреп и снова зазвенел, — как будто что-то окликнуло меня во сне — я пробудился в небывалом, блаженно-восторженном состоянии души! Гляжу — а прямо предо мною стоит как будто силуэт не силуэт, а вроде как светлое облако с человечьими очертаниями. И все оно насквозь утыкано махонькими звездочками — свет от них-то и пышет! Красота неземная... Силы небесные! И будто ветром это звездное облако колышется и плывет, а с места не сходит. Обернулся я на Антония — а он тоже глаза выпучил, глядит в ту сторону! И крестится, и шепчет: свет фаворский!

— Вот балбесы, — беззлобно проворчал отец Григорий. — И почему же вы решили, что это Белый спелеолог?

— А кому ж еще быть-то? Не Черному же монаху? Тот страх наводит и в сырую погоду выходит. А в тот день стояло вёдро.

— Тьфу ты! — снова рассердился отец Григорий. — Языческое ты семя! А еще при алтаре служишь. Что с вами делать? Темный, суевренный народ.

23. Прекрасная генеральша

— Сегодня мне почему-то особенно грустно. С утра меня преследуют дурные знаки. Разбила зеркало — вот, говорю, Паша, быть беде... И хотела уже отменить визит к вам, но муж посмеялся надо мной: какая ты у меня дурочка, говорит. Трусишка. Как можно верить во всю эту чепуху. И мне стыдно стало. Взяла себя в руки, оберег надела, собралась, поехала. И представьте себе, — она распаивает огромные голубые глаза, — не доезжая и пяти саженей до клиники, у меня лопается колесо! Ужас! Это же прямой знак: возвращайся назад, все задуманное кончится неудачей. Звоню Паше: так и так, что делать? А он рассердился, будто это я виновата. Делай что хочешь,

говорит. У меня тут совещание генштаба, а ты со своими бабьими суевериями. Ах, он у меня такой приземленный... Ни о чем не думает, кроме своей войны... Ну, я постояла, подумала, перекрестилась и все-таки пошла — на оберег понадеялась. Открываю дверь — и тут новый удар! Сломала ноготь! Вот, видите?

Она выставляет вперед руку тыльной стороной ладони, растопырив холеные длинные пальцы, словно выточенные из слоновой кости. Каждый из них украшен маникюром стоимостью с яйцо Фаберже. Только на указательном коготок обломан.

— У вас очень тяжелые двери. Я люблю ку-дай¹⁷, но это безобразие, неужели нельзя сделать удобно, чтобы стиль как бы под старину, но створы — самораздвижные, как у людей, на фотоэлементах? Придется взыскать с клиники ущерб. Ах, как это утомительно... И вы бы знали, как мне противно сутяжничество! Но поймите — не могу же я это так оставить? Да и Паша разгневется: он меня и так мямлей считает. Говорит: ты у меня такая неприспособленная, как ребенок!

Она печально улыбнулась — изогнутые уста чуть дрогнули. Идеальный «лук Амура», отметил про себя Леднев.

— Да... Так вот, о чем я. Сразу три дурных знака! Разве это может быть совпадением? А этот сломанный ноготь? Это ведь перст судьбы! Само небо мне шепчет, предупреждает: сегодня не твой день, не ложись на операцию, поберегись!

— Хм, — догадался Леднев. — Так вы хотите отменить операцию?

— А что же мне делать? — трагически заморгала она. — Вы же сами видите.

— Хорошо, — сказал Леднев, испытав облегчение: в графике внезапно образовался целый свободный час.

Но зачем-то принялся играть на ее мистических чувствах:

— А может, сломанный ноготь — это и есть... испытание?

— Что вы имеете в виду?

— Что разбитое зеркало и лопнувшая шина предупреждали вас о беде — и беда случилась: вы сломали ноготь. Вот это и есть ваше испытание. А вовсе не операция.

Глаза ее расширились:

— Я об этом не подумала, доктор! Так вы считаете, что мне нужно все-таки...

— Нет-нет, — опомнился Леднев. — Зачем же рисковать, испыты-

¹⁷gǔ dài (кит.) — антиквариат, древность, винтаж

вать судьбу. Я ведь могу ошибаться. Езжайте-ка вы лучше домой.

— Да... — сказала она, рассеянно разглядывая ногти. — Да. Только перезапишите меня на другой день. Когда у вас свободно?

— На следующей неделе. Вторник и пятница.

— Пятница. Вторник — роковой для меня день, всегда неудача. Вторник не надо, — глаза ее затуманились, из них вдруг покатались крупные, как бриллианты, слезы.

— Да что с вами, голубушка?

— Ах, доктор. Я не знаю, не знаю... Так грустно мне, так грустно! А нет ли у вас такого средства, которое бы не добавляло, а отнимало? У меня такая боль вот здесь, такая тоска — как бы вынуть ее? Как бы отрезать?

— У меня есть хороший психиатр-богослов...

— Зачем?.. Зачем вы меня ненавидите? — она разрыдалась.

Леднев окончательно растерялся.

— Помилуйте, сударыня! С чего бы мне вас ненавидеть?

— Вы все, все меня ненавидите! А я... Я, может, любви хочу! Впрочем, — внезапно остыла она, — я и сама не знаю, чего хочу. Я истеричка, да?

Леднев неопределенно качнул головой. Ох уж эти богатые женушки.

— Послушайте. А можно мне у вас остаться? Мой час оплачен, идти мне некуда, — тут ее голос опять задрожал. — Дома так одиноко! И эти роботы... Я их боюсь! Я ничего не буду трогать. Просто тихонько посижу.

— Сидите, ради бога, — проскрипел через силу Леднев. — А я, с вашего позволения, поработаю.

Он открыл текущую страницу нейрограммы и принялся читать, одним глазом следя за посетительницей. Она встала и, медленно, как по канату ступая на тонких каблучках, прошла по кабинету. Это была редкой красоты молодая женщина. Высокая и тонкая, словно роза на длинном стебле. Волосы уложены в аккуратный бутончик с отогнутыми, как лепестки, прядями. Сияющее свежестью лицо, резные ноздри, влажный детский рот — лук Амура...

— Ой, а что это у вас? Головоломки? Можно?

— Берите, ни в чем себе не отказывайте, — проворчал Леднев. — Развлекайтесь.

Она взяла многогранник, покрутила, но вскоре заскучала, отложила. Снова села, покачала ногой, любуясь на свою узкую щиколотку, повздыхала.

— А над чем вы работаете? Что-то читаете?

— Угу, — буркнул Леднев.

— А что? Что-нибудь про медицину?

— Дело одной несовершеннолетней зэка.

— Правда? Как интересно! Она сидит в тюрьме? Что она совершила?

— Уверяю, вам это будет совсем неинтересно.

— Почему же? — запальчиво спросила она.

— Ну, знаете... Детский Город, зона светляков, совсем другой мир...

Она фыркнула:

— Ха! Если хотите знать, я сама оттуда.

Леднев внимательно посмотрел на нее.

— Никогда бы не подумал.

Она рассмеялась, довольная произведенным эффектом.

— Не верите? Можете потрогать у меня на затылке рубец. Десять лет прошло, а он все еще хорошо прощупывается. Хотите потрогать? Хотите?

Она завела руки под волосы и, грациозно изогнувшись, повернулась к нему затылком.

— Верю, верю. Не надо.

Теперь он рассматривал ее новыми глазами.

— Но как вы...

— Как я оказалась в Москве и стала женой генерала? — подхватила она с очаровательной улыбкой. — Я хорошо стреляла.

— Глазками? — грубо пошутил Леднев.

Она рассмеялась и погрозила ему пальчиком.

— Из винтовки. Я в четырнадцать уже была кмс по пулевой стрельбе. И после школы попросилась в армию, в снайперские войска. Мне все равно ничего не светило, я была... Смешно сказать... Черной невестой.

— Что это значит?

— Значит, негодная к браку. Я бесплодна. Врожденное отсутствие матки. Нет-нет, не надо мне предлагать, мы не хотим: у Паши много детей, а мне хорошо и так... Одним словом, после учебки отправили

нас в зону боевых действий, и через полгода нашего генерала убили, и приехал мой Паша — тогда еще не мой — принимать командование... Он увидел меня и влюбился.

— Где же он вас увидел?

— Он награждал меня. Я уничтожила 48 целей.

— Трудно в это поверить. Такая хрупкая барышня.

— Он тоже так говорил. Это несоответствие магическим образом подействовало на него. Ах, какое счастливое было время! Он меня словно поднял — вот так, на одном мизинце — и подбросил в небо — и я полетела, полетела... Боже мой! Какие он подарки мне дарил! Я не понимала, на каком я свете...

Когда она произнесла «и полетела, полетела», то распахнула руки, запрокинула голову, и Ледневу показалось, что она и вправду сейчас взлетит. Вот ведь дурочка какая, — подумал он с невольной улыбкой. Ему захотелось вдруг позаботиться о ней.

— Послушайте, — кашлянул он. — Если уж зашел такой откровенный разговор... Скажите, зачем вам этот укол? Вы ведь совсем молодая женщина. Сколько вам? Двадцать пять? Двадцать шесть?

— Двадцать восемь. Это не мне. Это Паша хочет. Говорит, я стала другая, а ему нужна та, прежняя, в которую он десять лет назад влюбился.

— В таком случае вынужден вас разочаровать. Этот укол не даст в вашем случае никакого эффекта. Он возвращает всего лишь биологическую молодость, ваш мозг станет активней, да, но вы не превратитесь снова в ту самую девушку-снайпера, которая когда-то поразила сурового генерала своей невинностью и жестокостью. Ваше сознание никогда не вернется в то девственное дикое состояние.

— Жаль, — сказала она.

Ее прекрасные нежные глаза мечтательно затуманились.

— Иногда я скучаю по тем временам, когда у меня ничего не было, кроме светляка в голове. Теперь у меня все есть — но мне так одиноко... Этот огромный дом, эти жуткие роботы... А там я никогда не была одна. Ни в школе, ни в армии. Я чувствовала себя частью великого слаженного механизма, и у меня не оставалось времени на мечты и мысли о себе. И где-то в глубине души я все та же... А вы говорите, мне не понять. Я такая же, как эта ваша девочка.

— Нет, дорогая моя, — сказал Леднев. — Не такая. Поэтому вы — генеральская жена, а она — зэка.

— Да?.. Возможно. Не знаю. Я с расстояния лет сужу по себе, и оттого мне, наверное, кажется, что все мы были одинаковые. Хотя... Сейчас вспоминаю: да, были психи и отщепенцы, всё куда-то рвались на какую-то свободу... Всё им не нравилось. Всё хотелось разрушить систему. А зачем? Зачем разрушать систему заботы? Все же продумано для твоей собственной духовной безопасности. И даже лучше, чем здесь. Здесь тебя от одиночества оберегает линза, а там — живые души.

— Вы имеете в виду светляки?

— Это я образно, — ее кисть сделала изящное движение в воздухе. — Но если хотите — да, светляки.

— Мне всегда было интересно: как это?

— Что?

— Ну, эти светляки. Вот вы говорите, они везде вас оберегали. Неужели везде-везде?

Она опустила ресницы:

— Неловко произносить, но... Ах нет, такая пошлость, право...

— Не стесняйтесь, я же врач.

— Сортиры, — сказала она. — Водопроводные сортиры — единственное было место в городе, где светляк не держал связь со Спутником. Нет, это не прокол в системе безопасности, не сбой и не халатность — так устроено нарочно. Уступка в пользу разумного удобства. И экономия казне, считай. Сам светляк ведь штука незатратная — питается телесной энергией, кровяной глюкозой, подает волновой сигнал на пять аршин любым другим двум светлякам, все равно каким, лишь бы вместе было трое. И зря в небо не пищит. Только если живая душа или две — вольно или невольно — отходят от других на опасное расстояние. Всегда должно быть трое, не меньше трех. Невольно — это когда потеряется кто-то или умрет злой смертью — утонет, например, или насмерть расшибется, а другие не заметят. Его по светляку находят, который, пока трупное окоченение не наступает, живет в мертвом теле и подает сигнал Спутнику. А то бывает — нелегал. Который вольно в зону одиночества отходит. Куда ему идти? Далеко ли? Светляк-то запищит! И все, конец походу — тут тебя за белы ручки да в карцер. А кому охота в карцер? Дураков нет.

— Светляк питается кровяной глюкозой?

— Забавно, правда? Вы можете сказать, что тут вроде бы лучше подошло название «клоп» или «комар», что-нибудь из кровососущих

насекомых. Но «светляк» — духовнее. И верней по сути. Он же не вша какая паразитная, а с космосом связан и аскет, жрет всего ничего. Ты даже не чувствуешь, сколько он там отъедает от тебя. Сидит под кожей и сидит. Хранит твою живую душу незаметно.

Она раскаянно покачала головой и усмехнулась:

— Признаться, раньше я ничего не понимала во всей этой системе. Мне представлялось, будто все живые души все время подают наверх сигнал — и каждый из нас виден на Контрольном Мониторе Службы Духовной Безопасности такой подвижной пикающей непрерывно точкой, и тьмы сотрудников ДБ следят за нами денно и ночью, ежесекундно: десятки миллионов светляков ползают туда-сюда, и каждый — с развернутым флажком ИН... Ну, не глупость ли, не паранойя? Полста миллионов душ возьми-ка отследи за раз приватно! И многие ведь еще упорствуют в этом суеверном предрассудке — верят, будто бы ДБ за нами постоянно наблюдает. Вот делать больше нечего ДБ! Нет. Светляки молчат, пока мы вместе, как минимум втроем, пока соборны и не нарушаем. Пока не входим в зону одиночества... Чего уж проще? Перекрестись и тихо помолись: храни меня, мой светлячок!

В ее зрачках вдруг зажглись фанатичные огоньки — и Леднев понял, что она давно разговаривает не с ним, а со своим прошлым:

— Так нет же, думаем в своей гордыне — мол, так я важен высшему порядку, что он из космоса следит за мной во все глаза! Да кому ты интересен. Вон, хозяйственные бонзы даже придумали водопроводные сортиры, где ты можешь легально укрыться от Спутника — лишь бы не возникал по пустякам на экране КМ. Так устроено по плану. Здесь можно находиться одному — ну, не тащить же всякий раз в унитаз с собой еще двоих? А вдруг вихлец, чревной запор, окорм, ночница, месячница, рвота, недержанье? Да мало ли... Вот потому и заложили в план строительства особый пункт — сортир с непроницаемыми для сигнала стенами и потолками. Чтобы светляк не пищал всякий раз, как человек отходит в зону канализации, не отвлекал сотрудника ДБ от дела. Конечно, риск. Конечно, попущение. Конечно, можно бы горшками все решить, а то и земляными дырками, выгребными ямами — но мы ж не дикие какие племена, что носятся за Великим Окладом во зле и мраке и тонут в нечистотах. Гигиена. И казна, опять же. Все, что соборно, скрепно и водопроводно — то казне во благо. Так нас учит Государь.

— Вы говорите, как он, — кашлянул Леднев. — В том же темпе и ритме.

— Ох, правда? — испуганно спохватилась она. — Я сама не замечаю, как начинаю говорить Его словами... Все мы этим грешим, конечно — вольно нам, а все-таки нельзя: когда суесловие рядится в Государевый глагол, так и до кощунства недалеко. Иное дело — наизустные цитаты... Но поймите, я так увлеклась воспоминаниями! Такая ностальгия...

— Хотите вернуться? — спросил Леднев иронично.

— Нет-нет, — вздрогнула она и покосилась на него с опаской. — Это я так... Несу какой-то вздор. Да вы же и сами знаете, что это невозможно. Паша сказал однажды, что все мы здесь — как засекреченные объекты. Отсюда никто не попадает туда.

— Как знать, как знать. Может, и попадает. Просто не совсем туда. Говорят, впавших в немилость москвичей высылают в зону грязи безводопроводной, в какой-нибудь лагерь номер ноль-ноль-пять для бывших, на краю света. Зато снова — светляк в голову и никакого одиночества.

— Да, — прошептала она. — Да.

И внезапно засобиралась:

— Я, наверное, пойду.

— Конечно-конечно, — пробормотал Леднев.

У двери обернулась:

— Так вы считаете, мне не нужна эта операция?

Леднев принял строгий вид.

— Не в моих интересах вас отговаривать, но — да, я так считаю. Любая операция содержит долю риска, а в вашем случае оно того не стоит. — Он помедлил и с глумливым удовольствием добавил: — А учитывая эти ваши дурные предзнаменования...

— Да, да... — взволновалась она. — Дурные предзнаменования... И это я ведь еще вам про свои сны не рассказала!

— Могу себе представить.

— Не можете. Впрочем... Ладно. Что ж... Значит, в пятницу мне не приходиться?

— Да, сударыня. Приходите лет через десять.

— Но... Что же мне сказать Паше?

Леднев подумал.

— Скажите ему, что операция состоялась. И в доказательство по-

пробуйте извлечь на свет ту девушку-снайпера, в которую он до сих пор влюблен.

— Обмануть?! — глаза ее оживленно загорелись.

— Попробуйте, — Леднев подмигнул ей. — Дерзайте. Он и сам будет рад обмануться.

— А как же деньги? Он увидит, что операция не оплачена...

— Оплачена. Мы примем оплату — и зачислим эти деньги в счет будущей операции. Если вы не против, конечно. Имейте в виду, через десять лет ваш вклад будет автоматически индексирован, и вы ничего не потеряете.

— А это не противозаконно?

— Мы с вами ведем разговор с открытыми линзами, кабинет прослушивается. Я похож, по-вашему, на самоубийцу? Обмануть мужа — даже если он генерал армии — можно вполне законным путем. Если, конечно, обман во благо, а не во вред семье и государству. Вы его обманете во благо семьи, мы — во благо государства. Эти деньги ведь не будут лежать просто так все это время, они пойдут на пользу Родине. Так что... Считайте, что вы на особом задании. Справитесь?

— Так точно, — она с отмашкой взяла под козырек, и он вдруг отчетливо увидел снайперскую винтовку у нее за плечом, а на груди — бусы из клыков врага — сорок восемь армейских жетонов.

24. Поцелуй

Я боялась, что начнутся расспросы о спевке — как там, что — и придется врать и выкручиваться. Но школа была погружена в приготовления к Пасхе. За праздничными хлопотами никому до меня не было дела, да и мне до самой себя тоже: сразу как вошла — беги работай. Вся пятница до вечера — в мучной пыли, в луковых слезах: тесто для куличей замеси, лук очисти, шелуху — в чаны с кипятком, там будут крашенки вариться, сами луковицы поруби в начинку к пирогам, творог для пасок через сито протри, да изюм туда, да сахар, да масло с яйцами взбей — и смотри не сожри чего, пост-то не кончился, и не разбей, и не пролей, и не просыпь, и посуды не расколоти, а то если каждая просыплет-разобьет — что останется? Нас вон сколько — сорок девич из четырех старших классов, и всегда найдется если не воровка голодная, так недотепа: кто палец обрежет и ноготь в тесто

уронит, кто обварится, кто на корзину с яйцами жопой сядет, все подавит. Вот поварахи тогда лютуют! Орут в три глотки. А что делать, ори не ори, а без нас им не справиться в такие дни. Им еще обычный ужин приготовить, а после — всю ночь работать: печь куличи и пироги, пасхи лепить, узвар варить. А нам гадать — будет узвар в этот раз на меду или пустой, на ягодках сухих, как в будний день.

После ужина тоже не до разговоров было — Луч Правды смотрели. Судили какого-то шпиона — но я от усталости в дело не вникала, сил хватило только сидеть не очень криво и внимание изображать. Приговорили к позорной и мучительной смерти на колу — такова участь всех предателей Государства. Но по случаю кануна Великого праздника казнь отложили. Перенесли на будущее неопределенное время. Это уж как водится. Тут, как нам Ментор когда-то объяснил, есть три резона. С одной стороны — христианское милосердие. С другой — много чести казнить злодея в Страстную пятницу, когда Спаситель был распят. А с третьей — пусть помучается в ожидании.

Как только прозвенел отбой — я рухнула на кровать и заснула мертвым сном, хоть стреляй из пушки.

А с подъемом на Великую субботу — снова хлопоты и приготовления. Украшали кабинеты, коридоры, спальни лентами и плакатами «Христос воскрес!», «Слава Богу и Его Помазаннику!», «Да здравствует жизнь вечная!», «С нами крестная сила!», «Внешний мир, руки прочь!», «С вами — НТП, с нами — Дух Святой!», «Нам — райское блаженство, вам — гореть во аде!»... Плакаты, конечно, были все нарисованы заранее, а многие и годами лежат в нафталине — остается только их извлекать каждый год из сундуков, подновлять и развешивать. Работа нехитрая. Иное дело — убрать столовую к пасхальной трапезе цветами. Это значит — в огород пойти и накопай там крокусов, ветрениц, медуниц и прочих подснежников-морозниц-первоцветов на тридцать три горшочка — по числу земных лет Спасителя и по количеству небесных наших спутников — «гляделок-перделок», как обозвал их отец Григорий. Легко сказать — походи и накопай. А вдруг зима затяжная, как в этом году? Хорошо, если половину соберем. Тут и выкручивайся — недостачу из бумаги режем, акварелью красим. А все же — радость есть в таком занятии, и о еде не думаешь, как при работе на кухне, когда сквозь луковые слезы слюна течет и только одно на уме — скорей бы разговеться.

Наконец все сделали — развесили горшочки с цветами по стенам, расставили столы по-праздничному, собрали пасхальные корзинки, нарядились в чистое — и в храм. Освящать пасхи белые творожные, куличи высокие, на опаре взбухшие, пироги духмяные луковые, яйца-крашенки всех оттенков красного — от янтарного в разводах до густого багряного, такие гладкие, прохладные, уютные в ладони, будто специально прилаженные к человеческой руке...

А ночью — Крестный ход и всюнощное бдение. Раньше, до запрета, в Крестный ход икону выносили. Теперь крамола об этом помнить. Ну, никто и не помнит, конечно. И я не помню.

И вот — Пасха! Каждый год — такая радость, что дожидая до разговения! Как будто весь праздник в том, чтоб наконец-то пузо набить. Особенно по вкусу яиц скучаешь. Что ж, видимо, я существо низкое. Но как же они вкусны после сорокадневного поста! А все-таки есть не торопиться: побаюкаешь его в руке, чокнешь, чуть разомнешь в ладони — и медленно скорлупу стягиваешь, любуясь, как из-под красной кожицы появляется белок с кровавым капилляром, разломишь его, а внутри — поголубевший, сонный желток...

Ели-пили целый день, катали яйца, чокались яйцами, бегали эстафету с яйцами... Морковка, перебрав церковного вина, сама затевала игры и вела их. И все от счастья опьянели... Или квас перебродил? Гармонь откуда-то взялась. С грохотом раздвинули столы, стулья — в кучу, и в пляс пошли, ломая пол каблуками, свистя, эхая, ухая, кружась, с притопом, с прихлопом, вприсядку, вприглядку, парами, в одиночку, выкобениваясь, выкаблучиваясь, кто выкрутасом, кто переплясом, кто дробушкой.

Кто-то крикнул:

— Охоту давай!

Гармонист заиграл охоту. Выбежали в центр две девицы-птицы, махая рукавами, мелькая лентами, понеслись по кругу, за ними еще две, и еще — сцепились локтями, закружились вихрем, разорвали руки, разлетелись и снова слетелись в кружок. Тут выбежали ловцы-молодцы — девушки встали в оцепление и, часто барабаня каблуками, пошли на них, словно желая затоптать. Парни, как бы изумляясь всем телом, попятнулись, изображая неуклюжесть, спины изогнув назад, отступили — и вдруг ринулись на них, загребая руками. Девушки с визгом и смехом завертелись, закружились, ускользая.

— Лови! Хватай! Держи! — закричали зрители, хлопая и хохоча.

Ловцы и птицы стремительно носились друг за другом, захватывая все больше пространства, вторгаясь во внешний круг, вовлекая крайних — началась всеобщая сумятица и беготня, визги, смех, я тоже куда-то неслась, кто-то схватил меня за руку, выдернул... Демьян Воропай: бульдожий глаз с дико скошенным зрачком... Кто-то другой вцепился в другую руку. Какой-то малой. Суставы затрещали. «Эй-эй-эй! Иу-иу-иу!» — визжал малой. Нас втащило в мчащийся вихрь. Мы бежали многоголовой сороконожкой, вытягивались цепью, сталкивались, натывались друг на друга и крушились, как вагоны поезда, закручивались в спираль, раскручивались — пока, наконец, не выстроились в хоровод.

Гармонист сложил меха. Вот теперь пойдет охота.

— Егерь! Егерь! Выходи! — стали кликать отовсюду.

Кто выйдет егерем? Кто отберет у ловца утицу? Сможет ли он удерживать ее — чтобы не вырвалась, не улетела обратно в стаю? Осмелится ли «убить» ее — поцеловать при всех? Кого убьют?

Риту убьют — вдруг вспомнила я что-то далекое, едва выступающее из еще несовершенного будущего времени.

В центр вышел Тимур Верясов, держа невидимое ружье, с хищной ленцой улыбаясь.

— Ба-бах! — выстрелил в потолок.

Обвел веселым спокойным взглядом хоровод — все затихли — задержался на Оленьке Мироновой и подмигнул ей длинным глазом, щелкнув языком. Оленька вспыхнула, заискрилась вся.

— Петька, жги, — бросил Тимур гармонисту.

Тот кивнул, улыбнулся задумчиво и погнался...

Хоровод помчался по кругу. Егерь в этот момент обычно начинает делать внезапные выпады, метаться туда-сюда, пытаться всех обмануть, чтобы в удобный момент выхватить из хоровода желанную девушку. Но Тимур сразу бросился к Оленьке. Хоровод относил ее по кругу — Тимур гнался по внутреннему периметру следом, но как бы не очень спеша, как бы дразня, и все никак не мог ее догнать. Видно было: Оленьку его игра и веселила, и мучила. Она бы и сама была рада вырваться и броситься к нему в руки — да нельзя. Все уже умаялись бегать и только ждали, когда Тимур уже схватит свою Оленьку, а то прямо скука... И вот он почти схватил, достал — но внезапно отпрыгнул в другую сторону и очутился перед нашим звеном — мы набежали прямо на него, не успев опомниться, и он легко разбил цепь,

подхватил меня и вынес на руках в центр круга. Даже Воропай не смог ничего сделать от неожиданности: я увидела его ошеломленное лицо через плечо Тимура, а потом ничего уже не видела — Тимур закружил меня на руках, я обхватила его за шею и закрыла глаза от невероятного, невысказанного счастья. Он поцеловал меня.

Когда я очнулась — отовсюду кричали, смеялись, свистели, хлопали — и это было про нас... Про меня и про Тимура.

Гармонист заиграл что-то лирическое.

— Хаз йо¹⁸, — сказал Тимур, мягко улыбаясь, и опустил меня на землю. — Благодарю за игру. Был счастлив!

Он взял меня за руку и церемонно вернул в круг. Но сам рядом не встал. Ушел к своим товарищам.

Хоровод давно распался. Пошла другая музыка. Плясали голубца, кадрили, матаню, топотуху, частушки пели... Откуда-то взялись сопелки с бубнами, гуды скоморошьи.

Я все ждала, когда он подойдет. И знала: нет, не подойдет.

Мимо пронеслись: Рита с Юрочкой, Воропай сам с собой, Морковка с Комендантом общежития, заплаканная Оленька с настойчивым ловцом, прилипшим к ней после Охоты.

Меня никто не приглашал: убитая утица. Законная добыча егеря.

25. Умная буря

Время обеда.

Леднев спустился в харчевню для медперсонала. Это было просторное помещение без окон, освещенное экранами-перегородками между столиками и звездным потолком с лампами, расположенными по модели Солнечной системы. Под поясом астероидов разместились работники из отдела клинической медицины. В самом дальнем углу, под Нептуном — четверо из научно-исследовательской группы: цитолог, биохимик, оптогенетик и биокибернетик. Под Меркурием, поближе к Солнцу, сидело несколько служащих из бухгалтерии.

Для Дмитрия Антоновича тут всегда было забронировано три столика на выбор: Сатурн, Земля и Марс. Он поколебался и пошел к Земле, очарованный океаническим свечением экрана: сегодня там стояла ностальжи-программа «коралловые рифы» — почти уже везде

¹⁹⁸Красавица (чеч.)

погибшие, они внушали ему особое чувство умиротворения. Разноцветные полипы, водоросли, и без конца снующие между ними рыбы, и солнечные лучи сквозь густую праздничную бирюзу — он мог бы часами смотреть на чудотворность подводной жизни, на всю эту скользкую бесчеловечную красоту.

Он активировал меню на столешнице и заказал дежурное блюдо: кислые щи на мозговой кости, томленные в печи, с куском говядины и солеными грибами.

— Второе брать будете? — развернулось меню. — Телячий отруб на решетке, расстегайчики, заяц под снегом, утка по-монастырски, блины с осетровой икрой, пожарские котлеты, куропатка, начиненная груздями...

«Нет», — нажал Леднев.

— Напитки?

— Просто чай, — сказал Леднев.

— Будете брать заедки к ча... ча... ча?... — вдруг заело меню и заискрило.

Экран с коралловыми рифами тоже заискрился. Там, где только что плыла полосатая рыба, возникла голова диктора, вильнула хвостом и сурово произнесла:

— Внимание! Вестник «Вторая печать». Фронтальные сводки. Говорит и показывает Русское Ополчение Каспийской Народной Республики. Приглушите все остальные звуки. Сегодня, в 14.50 по московскому времени, благодаря воздушно-космической поддержке Сталинградской ШАД, наши доблестные воины в героическом порыве отбили у карателей наш исконно русский город Чапаев! В процессе штурма были уничтожены...

«Плохо дело», — подумал Леднев. Он знал: если сказано «доблестные воины» и «героический порыв» — значит, плохо дело. Значит, потери огромны.

— ...На связи командир батальона 2-й бригады ополчения тайного воинства «Стальная кольчуга», позывной Глум.

На экране появилась другая голова — вернее, призрачный намек на голову: сквозь прорези в балаклаве-невидимке видны были только глаза и рот. Камуфляжная ткань мерцала при движении, подстраиваясь к фону. На фоне маячили какие-то сопки, чахлые деревца и рассыпанные в щепу дома.

— ...Это наша ответочка с-сукам, — балаклава ощерилась желты-

ми обломками зубов. — За Аксай! За наших пацанов! За 15-е июля! И это только начало! За все ответите, фашистские гады, холуи, пидорасы, жидобасмачи...

— Возмездие свершилось, — благородным голосом вступил диктор. — Мы все помним ту трагическую дату — 15-е июля. Бой под Аксаем. Мы отомстили. Мы выстояли и победили! В жестокой, неравной схватке...

— Не, ну так это самое, — нетерпеливо замерцал Глум. — Я же чо сказать хотел...

Тут что-то гроыхнуло, и мерцание исчезло.

— Глум? — диктор озабоченно поправил наушник. — Глум? Прием, прием? — он замер, как бы напряженно к чему-то прислушиваясь. — Кхм. Нам передают, что связь с Глумом потеряна. Позиции ополчения обстреливают. Но правду не застрелишь! Впереди новые подвиги. Мужество наших бойцов знаменует нашу неминуемую скорую победу. А сейчас склоним головы. В сегодняшнем бою погибли два наших танковых взвода и рота пехоты. Мы получили запись с передовой, кадры этого рокового, судьбоносного для истории, сражения. Смотрите же и запоминайте. Сегодня новая дата отсчета мести. Смотрите и запоминайте.

По экрану побежали танки и солдаты, вдруг небо потемнело — и все заволочло тучами и вихрями железной мошки, которая с ураганной скоростью окутывала и тысячами огненных нитей прошивала технику и людей. Через несколько минут от пехоты и машин не осталось ничего, кроме разбросанных по земле ошметков. Заиграла траурная музыка.

— Умная буря! — с разоблачительным пафосом гроыхнул диктор. — Сверхточное новейшее кибернетическое оружие. Но позволите?! Откуда оно взялось у отсталых жидобасмачей? Которые за всю свою историю не изобрели ничего сложнее тубетейки? Ответ прост. И скоро вы его услышите! А теперь — склоним головы в память о доблестных воинах «Стальной кольчуги» и поклянемся мстить всегда и везде. Смерть фашистам! Смерть фашистам!

Все находящиеся в трапезной поднялись с мест и, давась непрожеванным обедом, заскандировали: «смерть фашистам!». Леднев вздохнул и тоже встал, поддельно шевеля губами — в такие моменты он всегда чувствовал себя как-то глупо. Сейчас он хотел только одного: снова увидеть коралловые рифы и синюю, синюю воду, сквозь

которую плывет какая-нибудь рыба-клоун.

— Наша кровь вскипает от гнева, — продолжал диктор. — Сердца стучат в унисон. Мы помним, что и смерть бывает партийной работой. Но прочь, скорбь, прочь! Грядет время расплаты. Мы все в едином порыве хотим знать ответ на главный вопрос: кто стоит за этим? Смешно предполагать, что астанинская — тут прямо просится слово «сатанинская» — хунта обладает таким высокотехнологичным оружием. Откуда же у нее взялась «умная буря»? Давайте посмотрим еще раз и помедленнее.

Снова — черные вихри на поле боя. Камера наведена на одну из закрученных винтом туч. Стоп-кадр. Многократное увеличение. Теперь видно, что туча состоит из микродронов. Еще увеличение. Все размыто. Резкость подкручивается — и на экране возникает отдельный микродрон в виде четырехкрылого инсектоида с четким клеймом-иероглифом на брюшке.

— А вот и разгадка. Поставки кибер-оружия идут из... Да-да! Из дружественного нам Китая! Наши так называемые друзья из Поднебесной, разумеется, будут все отрицать — уже отрицают. Их СМИ (кстати, давно пора перекрыть эти мутные канальчики) уже заявили, что это провокация русских, — военкор скривил рот в саркастической улыбке. — Что мы, якобы, использовали китайские дроны «умной бури» из собственного арсенала. Какая нелепость! Какая смехотворная ложь! Вот уж недаром говорят — китаец видел ноги у змеи. А мы видим очевидное: под лицемерной маской партнерства Китай ловко таскает каштаны из огня, продавая «умную бурю» и нам, и нашим врагам.

— Ваш заказ, — подъехала тележка с подносом.

— Благодарствуйте, — Леднев с раздражением отметил, что за время репортажа у него разыгрался аппетит, и щей казалось уже мало — хотелось и расстегаев, и блинов, и груздей, и таинственного зайца под снегом.

— ...Пора забыть формулу «враг моего врага — мой друг». Это опасное заблуждение. Мы должны быть готовы воевать со всеми. Мы обязаны бросить все силы на вооружение. Нет времени различать, кто хуже. Кругом враги. И пусть нас не смутит эта формулировка — истина не боится банальности.

— Будете брать заедки к чаю? — отремонтировалось меню. — Сегодня у нас медовые пряники, варенье из царской ягоды, яблоки печё-

ные, свекольные парёнки, молочные тянучки...

«Нет», — стоически нажал Леднев.

— И пора, пора обратить внимание на такие внутренние пагубы и угрозы, как ползучий вирус чайномании. Этим вирусом заражена повсеместно наша столичная молодежь. Он проникает в речь, в моду, в образ жизни — противно наблюдать, как русский отрок манерно кривляется и сорит китаизмами с апломбом попугая. Но все это не так безобидно, как кажется. Возможно, завтра этот попугай превратится в стервятника, в предателя, во вражеского агента.

Дмитрий Антонович с тревогой вспомнил о Глебе.

— Будьте бдительны. Мы все — на фронте, все на передовой. Каждый, где бы он ни находился, призван на эту Священную войну. Враг будет разбит, победа будет за нами!

Заиграл гимн, на фоне голубого неба заплескались знамена Вооруженных сил и тайных служб России. Все снова встали — зазвенели вилки с ножами, громыхнули разом отодвинутые стулья.

Наконец передача кончилась. Экран потух, на миг отразив блестящий череп Леднева. И снова переключился на рифы. Полосатые рыбы-клоуны поплыли косяками.

26. Дьявольский сквозняк

— Что это ты мне тут изобразила? — отец Григорий гневно потряс моим рисунком. — Выгоню! Что это за лик? Что за улыбка? Где ты видела улыбку в образах? Срисовывай со списка, а не из головы выдумывай!

— Я не из головы... И ничего не выдумала. Это Тимур.

— Что за Тимур такой?

— Тимур Верясов, из 10-го класса...

— Вот растение сущеглупое! Зачем же ты к Феодору Стратилату пририсовала голову какого-то болвана?

— Не знаю, Ваше Преподобие. Я не нарочно. Рука сама ведет.

— Сама ведет? Руби такую руку! А то смотри, так заведет, что... Знаем эти руки. Хочешь разводиться художества — на выход! Не надо мне тут этого. Не потерплю!

— Да что я сделала такого?

— О, санкта симлицитас! Ты святому великомученику нарисовала

лик другой!

— А так нельзя?

— Нельзя! Нельзя черты менять, и все.

Я раскрыла альбом с репродукциями:

— А им было можно? Вон смотрите, в этой вашей книжке сколько Стратилатов, и все разные: тут худой, тут толстый, тут бледный, тут румяный, тут черный, тут рыжий... Я так думаю, отче, что они и сами никто не знал, как выглядел этот Стратилат.

Отец Георгий запнулся, тупо уставившись в альбом, и так надулся и побагровел, что я испугалась — вот-вот лопнет. Но не лопнул — выдохнул и сухо произнес:

— Порассуждай мне тут, козявица. Ишь... Разглядела она... Что они там знали — не твоего ума дело. Твое дело — из носа кап, в рот хап. Ты в послушании у меня. Как я говорю, так и делай. И все, никаких препирательств. Понятно?

— Понятно, — сказала я.

— Давай рисуй заново. Точно копируй. А чтоб не думать об этом своем, как бишь его... неважно... Читай умную молитву.

Страдая всем сердцем, я стерла любимые черты. Ну, что бы сделалось такого страшного, оставь я Стратилату лицо Тимура? Ведь он даже и похож, только красивей и улыбается. Наряди его в такой же доспех золотой, чешуйчатый, да бороду приклей, да копье в руку — чем не Стратилат?

Нет, бери стирай. Умную молитву читай. Копируй как положено. Ладно, что ж. Много ли тут надо. Любой дурак сделает.

— Вот, — говорю. — Пожалуйста. Как заказывали.

— Ты мне еще тут покривляйся, — ворчит отец Григорий, но вижу — добреет. — Вот же девка вредная мне досталась. Ладно. Теперь переводы на доску. А то художества тут развела. Из-за наивности своей погибнуть можешь в два счета. Опасности не чувствуешь. Ты, кстати, когда исповедовалась в последний раз?

— Вчера.

— Отцу Андрею?

— Ну, да. Он же службу Пасхальную вел.

— Так вот, знай: ты можешь исповедаться мне в любой момент. Вот прямо здесь. Я теперь твой духовник.

Мне это не понравилось. Я-то считала своим духовником отца-настоятеля Андрея, а тут вдруг на тебе. Но перечить не стала.

Наоборот — раз он так смягчился, осмелилась подступиться к нему поближе.

— А как это — быть художником? — спрашиваю.

— А зачем тебе знать? Ты рисуй давай, рисуй, не болтай языком-то.

— Рисую, батюшка. Переводить — дело нетрудное, — говорю.

Молчим какое-то время. Шуршим карандашами. Вдруг он вспыхивает:

— Вот с этого-то все и начинается! «Дело нетрудное!» Вот тебе и художник готовый. Как им быть? Да никак! Всего-то во грехе гордыни жить, не приходя в сознание. А гордыня — мать всех грехов, где она — там и детки.

— Это понятно. Нас так и учили всегда, — говорю. — А все равно непонятно, как это в жизни происходит.

— Известно как. С утра до ночи душа мечтами распаляется: намажешь картинку — ну, гений, думаешь. Завтра глядь: говно говном — и в уныние впадешь. А у Петрова-то, сукиного сына, лучше. Зато у Сидорова хуже. Вот так и качаешься: то зависть, то превосходство сердце отравляют. И жадность: все тебе мало, мало, хоть превзойди Петрова — так сразу появится Иванов какой-нибудь, а то бывает и хуже: так ослепнешь от жадности, что никакие петровы-ивановы уже тебе не ровня, только — классики! Только к ним в переплет! К небожителям! И чем голоднее гордыня, тем выше возносишься в мечтах прельстивых — и тем больнее сверзаешься. И тут такое тебе отчаяние, что иные в петлю лезут. Казалось бы: ну чего тебе? Рисуешь и рисуй, мастерства набирай да радуйся. Нет, мастерства мало! Надо чего-то такого, эдакого... — он покрутил в воздухе пальцами. — Чего нет ни у кого. Чтоб ахнули все. За это и душу бессмертную загубить готовы. Ну чисто дети злоглупые. Вот подай мне, Боженька, чего-то такого эдакого, чего нет ни у кого, а иначе повешусь, накажу тебя — бесценный Твой дар жизни отвергну, поплачешь тогда обо мне... А чего эдакого-то? Сами не знают. Знают только, что отличиться надо, какое-то «новое слово» сказать — вот и вся суть этого твоего искусства. Отличайся! Вроде глупость — а такое тут поле для мерзости открывается, что чертям в аду тошно.

— Какое поле, батюшка?

— Вот все тебе расскажи.

— Ну, сами же сказали, что я наивна и потому опасности не вижу. А как мне ее увидеть? Все, о чем вы говорите, — это ведь и в обычной

жизни есть. Все время мало и хочется еще. Разве так не у всех? Почему же только художников запретили?

— И правильно запретили! Я еще до государева запрета сам в себе художника запретил, понял: небогоугодное это дело, в семинарию учиться пошел. Художник — аки жаба гнусная: раздувается от многого величия, сидя в грязи. Тебе не понять. А примеры приводить не буду. Там и молвить стыдно, что бывает, на что идут творцы записные, лишь бы отличиться. Не хватало развращать тебя такими речами. Просто знай: грех это. И все.

— А среди иконописцев не так все? Разве зависти и гордыни не бывает?

— Бывает. Но здесь тебя молитва держит, смирение. Здесь нет этой идеи — отличиться от других изуграфов и славу стяжать какими-то новшествами. А тем более — любым путем выделиться, Господи прости. Здесь не надо никакого «нового слова» ни бормотать, ни выкрикивать, как юродивые делают или торговцы на ярмарке. Умение только надо тихое, и все. Скромность ремесленника во славу Господа, а не какое-то там «творчество» в свою славу. Какая тебя слава, плесень ты подзалупная? Ты своими желаниями не владеешь — а туда же, возомнил себя Творцом. И якобы у тебя тут с Ним состязания на равных.

— А если творчество не в свою славу, а во славу Господа? Может такое быть?

— Обман! Обман и лицемерие хитроглупое! Каждый, кто употребляет слово «творчество» к своим поделкам и приплетает к сему имя Господа — во сто крат хуже обманывается, чем просто тщеславный. Тщеславный дурак хотя бы не притворяется чем-то другим, кроме себя самого, а этот «творец во славу Господа» делает вид, что ему поручено нечто свыше, что уж такой он весь особенный, чуть ли не спецархангел на задании. Словом, ему все позволено — раз во имя Господа. Он же типа не сам от себя «творит», а по Высшему поручению! Задание такое, итить-колотить!

— Ага. Ну, то есть, творить во славу Господа нельзя, а ремесленничать можно?

— Ну-у... Да.

— А почему?

Отец Григорый зарычал.

— Вот же башка пустая! Кому я все это рассказывал? Стенам каменным?

— Простите, отче. Я просто не понимаю. Если Бог создал нас по образу и подобию своему — значит, это же не просто ноги-руки-голова, но и то, что внутри, в сердце и в уме ... Разве не он наделил нас желанием творить и стремлением к чему-то эдакому, непонятному, неизвестному, новому, отличному от всего, что рядом есть?

— По образу! По образу он нас сотворил. И не «нас» — а только Адама, мужеский пол. Или ты думаешь, что Господь Бог наш Вседержитель, Отец Небесный, Дух святой и Сын Иисус Христос Спаситель выглядел как баба? О каком образе «нашем» ты толкуешь? До чего же глупы современные девицы... Впрочем, и всегда так было. Нет в бабе никакого понимания. А туда же — о подобии толкует! Запомни, чадо. Нет в человеке, даже и в мужчине, никакого подобия Творцу Бесподобному.

— Тогда откуда эта тяга?

— Дьявольский сквозняк!

— То есть, в стремлении к творчеству мы подобны не Творцу... А тогда кому же? Сатане?

— Именно. Та же сатанинская гордыня.

— Но ведь ангелы творить не могут? И падший ангел Сатана — тоже... Как же тогда... Если Сатана не может творить, а человек может...

— Тьфу ты! А кто тебе сказал, что может? Придумал себе, по наущению дьявола, что может, а сам не может! Что же тут непонятного?! Завидовать только может Творцу и хотеть быть как он, а то и выше — вот и весь сказ!

— Ясно... А вот Адам, когда нарек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым?

— Ага! До грехопадения! До! В саду Эдемском. Тогда только и мог человек творить во славу Господа. А после и поныне вся природа наша искажена грехом. Падением по дьявольскому искушению. Также и природа творчества. Понятно?

— Понятно.

Снова помолчали.

— Все-таки непонятно. Если вся природа искажена, то значит, иконопись — тоже может быть обманом?

Отец Григорий засопел.

— Что значит? Каким обманом?

— Ну, как... Вот пишет изуграф икону по канону, молится и

думает, что он находится в смирении, а вдруг это ложное смирение? Вдруг он сам не понимает, как он вознесся в своей гордыне? Выше художников, которых презирает. Они, мол, не способны Господу служить — не то что я! Я вот скромный, чистый, и мне награда — рай.

— Бывает и такое, — неожиданно согласился он. — Это называется духовная прелесть.

— Чем же тогда иконописец лучше художника? Выходит, иконописцев тоже правильно запретили?

Отец Григорий хмуро постучал кистями в банке, промывая.

— Неправильно. Да только нас забыли спросить. Запретили всем скопом, и тех и других. Это было политическое решение. Нечего тут обсуждать.

— Как это — политическое?

— А вот так. Это вроде как джизья. Выкуп за жизнь. Просто не деньгами, а совестью. Денег им уже мало. Душу хотят отобрать.

— Кто?

— Кто-кто! — крикнул он. — Басурманы поганые! Кто еще джизью с нас берет? Кому подушную подать платим?

— Так ведь они нас от Внешнего мира оберегают — потому и платим. Это же лучшие наши бойцы и пограничники сторожевых башен.

Отец Григорий только плюнул и рукой махнул — мол, о чем с тобой говорить.

27. Новая нога для Ирины Васильковой

Внучка государственного советника юстиции 1-го ранга Ирина Анатольевна Василькова четыре года назад потеряла в аварии ногу. Леднев сам руководил операцией, которая проходила в несколько этапов. Сперва — круговая ампутация по середине бедра. Как только гематоботы закрыли рану антирубцовой бластемной заплатой — тут же, на операционном столе, томограф просканировал здоровую ногу от носка до середины бедра. Затем виртуальный децеллюризатор создал ее очищенную от клеток модель — тончайший, ажурный каркас соединительной ткани — и передал в зеркальном виде на 3D-принтер. Одновременно с этим бионик просчитывал и генерировал необходимое количество коллагеновой «пасты», и когда она была загружена в картридж, биопринтер напечатал полимерный каркас по модели

децеллюризатора — архитектурно точную, симметричную копию здоровой ноги. Печать длилась 38 часов. Никто не спал, кроме Васильковой под анаболиками, которой за это время сменили четыре бластемных заплаты. Наконец, когда полимерный каркас был готов, бионик засеял его стволовыми клетками Васильковой — и начался заключительный этап операции. Новую ногу — вернее, ее воспроизведенную часть — буквально приклеили к усеченной конечности: посадили на «живородный гель», который плотно скрепляет клетки, запуская процессы СК-дифференциации в каркасе, и, сделав свое дело, со временем рассасывается, не оставляя никаких следов хирургического вмешательства.

Полгода Василькова провела в постели и еще два года в экзоскелете — пока шла СК-дифференциация, регенерация тканей и прорастание в них нервных волокон. Новая нога выросла прямо на ней — как оторванный хвост на саламандре — только без этих жутких эволюций от аморфных зачатков до заключительной метаморфозы в нужную форму. Форму с самого начала задавал полимерный каркас. Это был новый метод, хоть и на старой закваске, на синтезе нескольких областей биоинженерии, который возник в последние двадцать лет благодаря крутому взлету всех биотехнологий. Один лишь 3D-принтинг усовершенствовался так, что рядом с первым поколением выглядел как лазерный луч рядом с отбойным молотком.

Для Леднева эта операция была особенной — первой в его практике (не так уж часто выпам отрывает ноги) — и сама Василькова казалась ему особенной. На вид и по биопоказателям ей было лет двадцать — двадцать пять, а по метрике — пятьдесят восемь, постоянная клиентка, последний укол омоложения Леднев ей делал четыре года назад, накануне аварии, так совпало. Она — не считая чудесных, белых, как молочное стекло, зубов, — была некрасива, с плоским костистым лицом, кривоногая, словно кавалерист — но Ледневу чем-то нравилась, то ли гибкими звериными движениями, то ли звериным же сочетанием какой-то безмолвной силы и неприязательности — ее, например, не занимала жадная мечта вместе с молодостью получить какое-то природно другое, более изящное тело (а Леднев успел повидать истеричек, которые требовали отрезать им абсолютно здоровые ноги и напечатать взамен «идеальные», по образцу какой-нибудь титулованной мин-син¹⁹). Так что его ничуть не удивляло, что у

¹⁹Медийная звезда, королева красоты (от кит. «звезда, знаменитость»)

некрасивой Васильковой было три счастливых брака, пятеро детей и, по слухам, тринадцать любовников. Ее последний муж, придворный архивариус, в высоких кругах упоминался всегда под таинственной и скромной кличкой «библиотекарь», и Леднев мог только догадываться об истинном масштабе этой фигуры.

— Прекрасно, прекрасно, — пробормотал он, осмотрев ее ногу, и воодушевленно добавил: — Скоро будете как девочка прыгать и не вспомните, какая из двух пришита.

— Да я уже не помню, — она улыбнулась. — На днях заказывала себе туфли от ЛиЛу и забыла, куда ставить галочку «ортопедическая» — на левую или на правую.

— О! Последняя коллекция? Я был на показе, это фантастика. Но и эти, которые сейчас на вас... — это что, Джун Во осеннего сезона? Жаль, что он не делает мужских моделей...

— Я Джуну передам, — легко сказала она. — Уверена, одну мужскую пару он уж как-нибудь сочинит — специально для вас.

Леднев замахал руками:

— Ох, Ирина Анатольевна, душа моя! Я совсем не то имел в виду...

— Пустяки. Свои люди — сочтемся.

Вот тебе на. Хотел всего лишь комплимент сделать, а вышла взятка. Черт знает что.

— Нет-нет, — снова мягко, но настойчиво запротестовал он. — Я бы не хотел, чтобы... В том смысле, что... Не знаю... Я как-то не к месту распетушился... ЛиЛу, Джун Во...

Она недоуменно подняла брови.

Он сдался:

— Дорогая моя, простите. Занесло.

— Ничего. Меня тоже иногда... заносит.

Леднев вспомнил, как она потеряла ногу. Шумная была история. Василькова презирала беспилотники, ездила вручную. И однажды ее «занесло».

«Я была под эмпатиками, — рассказывала она. — И прочитала в сердцах всех людей, что жизнь их — вся наша жизнь, и моя тоже — полна страданий и неправды. Мне стало так больно, так больно! Невыносимо. И тогда я поняла: единственное благо для человечества — это смерть».

Познав истину, она хорошенько разогналась и выскочила на тротуар бильярдным шаром, разметав пешеходов — пятеро погибших,

двенадцать покалеченных. Затем ее вынесло на перекресток, где она впилилась в лоб маленькому «Хорсу», убив еще двух пассажиров и в кашу раздробив кости своей левой ноги от бедра до педали. К счастью, все пострадавшие оказались плебеями, так что никто из них не имел права выдвинуть против нее обвинения. К тому же, благодаря аварии выяснилось, что водитель «Хорса», который выжил (погибли его жена и дочь), зажиточный лабазник из Троицкого предместья, имел связи с иностранной разведкой, и после того, как выплатил Васильковой компенсацию за ее разбитый «Витязь», потерянную ногу и моральную травму, он был приговорен Высшим Судом к посадению на кол за государственную измену.

Был также казнен и торговец эмпатиками с крамольным содержанием. Во всех СМИ прогремел тогда отчет Комиссии по Легальным ИСС-веществам и электронным стимуляторам: «Комиссия установила, что болезненный эффект «страдания и неправды», который побудил И. А. Василькову к разрушительному поведению, есть не что иное как диверсия, коварный акт вредительства нашему Богатому Внутреннему Миру. Сама по себе мысль о смерти человечества как о благе не идет, разумеется, вразрез с нашей доктриной. Недаром идейно крепкая И. А. Василькова обратилась к ней в отчаянной попытке избавиться от болезненного переживания. Однако стимул, которым была вызвана эта мысль, исказил ее духовную сущность. Коварно заложенная в эмпатик установка «вся наша жизнь полна страданий и неправды» — абсолютно преступна, это чуждое, в корне враждебное нам представление об устройстве нашего справедливого богохранимого Государства. И каждый, кто пытается внушить нашим гражданам такую установку — пусть даже через казалось бы безобидные эмпатики, — должен быть ликвидирован».

Что касается самой Васильковой... Её тоже, конечно, наказали — ну, а как же. Пожизненно лишили водительских прав. Она восприняла этот приговор стоически. Ни разу не пожаловалась — ныть было не в ее привычках. Но Леднев догадывался, какие круги ада проходила ее свободолобивая гоночная душа. Веками ездить на беспилотнике! Никогда больше не прикаснуться к рулю и педалям! И все-таки — ни ропота, ни стога. Удивительная, сильная женщина.

28. Зарница

22 апреля. Славный день, великий праздник — День рождения Ленина нашего дорогого Ильича. Первого народного царя, вождя униженных и оскорбленных. Несмотря на все его заблуждения, Ленин нам дорог. Ленин нам дорог своей скромностью и простотой: родился и жил в шалаше, ходил в разлив, стоял на броневике, стрелял из Авроры, по субботникам носил бревно, из личных вещей имел ружье, пальто и кепку, любил детей, а работал на чердаке.

В этот день нас вывозят на автобусах в лес — играть в Зарницу. Всех по жребию делят на две армии — одну обозначают белыми повязками, другую — красными. Это единственный день в году, когда нам позволено все, что категорически запрещено: одиночество, уединение, публичное появление без головного убора. Потому что по правилам игры — война. А на войне другие правила.

По правилам войны, чтобы «убить» солдата вражеской армии, нужно вырвать у него из головы светляка. Можно пользоваться специальными когтями-лезвиями — их выдают на лужайке перед началом игры. Не всем — только тем, у кого в журнале нет черных отметок. Поэтому многие изготавливают сами себе заранее. Самодельным когтям трудно придать необходимую изогнутость, зато можно их заточить гораздо острее казенных. И разукрасить на свой вкус. Нельзя только делать когти длиннее положенного — не пропустят. Нельзя надевать когти на обе руки. Нельзя применять когти не по назначению, а то были случаи — вместо светляка выцарапают глаз или раскромсают в лоскуты щеку. Это нарушение правил. За такое снимают очки всей команде. А виновника — в карцер.

Когти — строго для светляков. Вырвал, хватай, беги. Но не так-то это просто — чтобы вспороть кому-то затылок и выколупать оттуда светляка, нужно этого кого-то мордой к земле приложить — то есть, необходимо серьезное физическое преимущество. Поэтому за мужской труп врага дают очков вдвое больше, чем за женский.

Идеальная цель — знаменосец. Убивая знаменосца, захватываешь знамя врага — а значит, приносишь победу своей армии. Если, конечно, донесешь это чертово знамя до штаба.

Мы попали в армию белых. Нашим знаменосцем был Лезга. Но мы сразу потеряли его из виду...

Когда, пройдя по лесным тропам череду препятствий, армии наконец сблизилась и с криками «Ура!» выбежали на поле боя, — как всегда, начался хаос. С обеих сторон полетели взрывпакеты и дымовые гранаты. Повсюду бабахало, все вокруг заволокло клубами дыма, который вытягивался лентами по ветру. В дыму носились тени людей — кто свой, кто чужой — не разобрать. Наш отряд в первые же секунды потерял двух человек — огромная стая мелюзги, какие-то вшивые семиклашки окружили нас и, кошками прыгая на одного по двое-трое, чуть не разорвали всех на кусочки. Меня повалили, извозили в грязи, я потеряла платок и клочок волос, выбила кому-то зуб кулаком, при ударе сама себе порезав ладонь когтями, зато не нарушила правил — и кое-как отбилась... «Вперед!» — зарычала Рита. Мы, шестеро оставшихся в живых, помчались вперед.

Внезапно дым развеялся, и я увидела солнечную поляну, подернутую нежной весенней зеленью, с прозрачным перелеском вддали, и бескрайнее синее небо, в котором одинокой запятой стояло белое облачко.

На зеленом поле там и сям копошились группы человечков — бегали, боролись, резали друг другу головы непонятно зачем. Поодиночке чернели «убитые» — кто-то лежал, добросовестно притворяясь мертвым, кто-то сидел, ощупывая голову, кто-то куда-то брел, словно призрак. Я вдруг представила, как нелепо все это выглядит для белого облачка, и для безмятежной березовой рощи на холме, и для холма, пронизанного тайными норами лисиц... И для лисиц, и для их пищи — суетливых полевок, и даже для муравьев... Как глупо и претенциозно выглядит человек, играя в смерть, перед лицом природы и неба, которые в беззащитной, умиротворенной своей простоте насквозь пронизаны смертью.

— Ё-моё, девки!.. — задыхнулась Рита. — Гля! Красный знаменосец!..

— Это... Да это же Верясов... — испуганно прошептала Марьялова.

— Еще лучше! Жирная добыча! — оскалилась Рита. — Не дрейфить. Победа будет за нами. Погнались.

Отряд Верясова был разбит, он остался один и только что подхватил красное знамя из рук убитого знаменосца... Одежда на Тимуре висела клочьями, лоб и щеки были располосованы в кровь, которая, смешиваясь с грязью, стекала по лицу мазутными ручьями.

— А-а-а-а! В атаку! Бей краснопузого! — они впятером набросились на него. Повалили.

А я оцепенела.

— Динка! — орала Рита — Помогай, сука! Чего стоишь! Хватай флаг!

Я не успела ничего сделать — послышался быстрый топот за спиной, меня сбили с ног, затем — удар по голове...

— Жива? — раздался голос сверху.

Я потрогала затылок — сквозь слипшиеся от крови волосы, на месте светляка, нащупала рваную рану.

— Убита, — сказала я и открыла глаза.

Увидела черное лицо Тимура. Белки глаз и зубы сверкали на нем, как у шахтера после смены.

— А ты как? — я села, отряхиваясь и пытаюсь собрать волосы в узел. В голове стучало квадратной болью.

— Твои подружки просто фурии. Но я с девицами не дерусь. Пришлось пасть смертью храбрых, — он растянулся рядом на траве, закинув руки за голову.

Улыбаясь, он безмятежно глядел в небо.

А я — на него. Впервые без прежнего страха. Может быть, потому, что теперь его красота, сильно подпорченная кровавыми порезами, потом и грязью, не так ослепляла меня.

— Значит, мы оба трупаки? — сказала я.

— Да. Расслабься. Смотри, какое небо.

Я откинулась на спину. Мы лежали голова к голове. Длинные ленты дыма от разбросанных вокруг дымовых шашек вились над нами и уносились в синеву.

— А вон та белая тучка-запятая, — указала я рукой, — все еще тут. Я ее заметила еще до того, как мы... напали на тебя...

— Но ты же не напала?

Он приподнялся на локте и склонился надо мной. Бережно, едва касаясь кончиками пальцев, убрал с моих губ какую-то травинку.

— А у тебя глаза серые, — сказала я. — с рыжими крапинками внутри.

— Правда? А какие должны быть?

— Не знаю. Все никак не могла рассмотреть...

— Но ведь ты же никогда на меня и не смотрела? — прошептал он,

ласково шурясь.

Солнце очертило по контуру его голову и плечи. Он медленно, как бы в задумчивости наклонился и поцеловал меня.

Не так, как тогда, на Охоте. А тихо, нежно, чуть припекаясь губами к губам.

— А я давно смотрю на тебя... Ты очень красивая...

— Я чумазая, — я попыталась закрыться от него.

— Ну и что? На меня посмотри! Мы боги! Нам все равно!

Я засмеялась.

Он снова смахнул что-то с моего лица, провел пальцами по волосам, выбирая из них какой-то сор.

Этого не может быть, подумала я. Это происходит не со мной. Сейчас я проснусь — и все исчезнет.

В тот же миг раздался гонг, возвещающий, что игра закончена. Включился репродуктор, зашипел, прокашлялся и объявил: «Раз-раз... Раз-два-три. Внимание!.. — Тимур напрягся и поднял голову. — По итогам зарницы, объявляем. Красные победили». Из леса раздался отдаленный гул ликования «Ура-а-а-а!».

Тимур вскочил и тоже заорал «ура!».

— Наши победили!

Широко расставив ноги, он лихо, в два пальца, по-разбойничьи засвистел.

«Все убитые обязаны в течение пятнадцати минут вернуться в свои штабы для регистрации и реимплантации светляков. Повторяем. Все убитые...»

— Урааа! Пиу, пиу! Тыщ-тыщ-тыдыщ! — стрелял Тимур из невидимого автомата в небо. — Мы победили! Мы победили! Слышь? Ва-ва! Мы победили! Значит, мы не зря погибли!

В одну секунду он превратился совсем в другого человека.

— Я вообще-то из другой команды — сказала я, поднимаясь.

— Ох, прости! — опомнился он. — Я и забыл, что ты белая!

Он подхватил меня и закружил.

Я уперлась ему локтями в грудь, вырвалась.

— Надо идти, — говорю. — На регистрацию и реимплантацию.

Тимур отступил, посмотрел на меня насмешливо-изумленно и вдруг рассмеялся.

— Позвольте вас проводить?

— Нам в разные штабы.

— А, ну тогда это... Будь здорова! Не пропадай!

Он взял под козырек и бодро зашагал сквозь дымы, выкрикивая и присвистывая:

— Не плачь девчо-онка! Пройдут дожди! Солдат вернётся-о-отся! Ты только жди!

Что значит «не пропадай»? Разве я когда-нибудь пропадала? Зачем пробил этот гонг? Зачем он поет эту дурацкую песню? Не плачь девчонка... Разве я плачу? Разве я... Нет, нет, нет... Я не плачу, не плачу, не плачу...

29. Портной Государя

— Кто там следующий, зови.

— Забылин Добрыня Горыныч.

Человек, которого называют «портной Государя», в армейских кругах — просто «портной». Биография его пестра, кровожадна и таинственна.

В прошлом, в эпоху интернета еще, Забылин прославился как Великий Боян — поэт, сказитель и гуслир панславянизма. Материал черпал из полевой службы: вот он омоновец, вот он военкор, вот командир батальона спецназа ОАН. Былинный герой, вояка славный, звезда русской литературы. И вот он же — главный разработчик компьютерной программы «Русский стиль», когда писательство уже вышло из чести, но еще задолго до запрета. Всегда нос по ветру. Да и в торговых делах не промах — владелец сети магазинов одежды «Дубок». А вдобавок — директор секретной хакерской службы «Ножницы», за что и получил орден героя 2-й Холодной войны. И когда Сам Колоб Стожильный вышел к народу в балаклаве-невидимке с биркой «Дубок»...

Леднев давно заметил: чем проще кличка у вельможи, тем он авторитетней. И тут всегда есть лицевая сторона, а есть — изнаночная. Сейчас Забылин с лицевой стороны — мирный труженик, продавец элитного платья и почти сказочный (за давностью лет) герой Добрыня Горыныч. А с изнанки, если верить слухам, — основатель и спонсор тайного войска «Стальная кольчуга».

«Стальная кольчуга»... Леднев вздрогнул. Яицкие ополченцы... Глум в балаклаве-невидимке. Батальон ТВ СК. Уничтоженный умной

бурей в обеденном репортаже. Так это же бойцы Портного! Его дружина. Ну, и дела.

Как бы он тут не разгромил чего под настроение. А то уж больно сердечный мужик.

Весь исполнен народного гнева и лепоты, матерится страшно и слезлив до безобразия. Тип «русский шансон» — маскулинный и при этом сентиментальный. Это бывает с детьми сельской интеллигенции. Отец — какой-нибудь забитый под каблук агроном или ветеринар — хвосты коровам крутит. Мать, деревенская учительница, ставит на горох за помарки в прописях. В доме ходи по струнке, ноги мой, салфетку закладывай под горло за обедом, нож держи в правой руке — а на улице воля, пацаны, войнушка, грязь, матерное счастье. Обижали, конечно. Чужой! Пришлось стать больше чем своим. Придумал семейную легенду: мол, я из лапотных князей, из потомственных стрельцов. Дрался. Зауважали. Так и пошло. То рогожка, то кольчужка, то гусли-самогуды. И всегда — больше чем свой. А чтоб не подумали чего.

Вот тебе и матерщинник из бледного цветка полей. У богемы это в обычае. Но тут другое. Тут мат — не про богему, как у какого-нибудь изнеженного Весельчука. Тут мат — про народ. Мат сермяжный, портяночный, окопный. Чтоб дух аж за сердце хватал. Такой дух, чтоб аж слезу из ноздри вышибало.

И глаза горят. И шея дыбится, кровью наливается. И грудь колесом, звенит орденами, сверкает. Вот он каков, наш Добрыня Горыныч! Соленый, бравый. Дверь ногой выбивает — а на ноге берцы, между прочим, из последней коллекции ЛиЛу. Сам-то себе — не сапожник.

— Не, ну ты видел новости? А? — голос задушевный, называется «продолжаем разговор». — Это ж, бля, чо такое, а? Во хорьки! Я всегда говорил, что этим сунь-хуй-вчаям нельзя доверять.

Ноздри Забылина раздувались.

— Иногда так посмотришь — да ебись оно все трехфазным током! Руки опускаются. А потом так — не-ет, братец! Мы еще повоюем! Мы еще этим сукам покажем! Мы им такую передачу покажем, что они будут мчаться в обосранных портках впереди собственного визга.

— Вы про умную бурю передачу? — осведомился Леднев.

— Ну. В обед же включили. У меня харч поперек горла встал. Такая обида за наших пацанов!

— Но мы же отомстили, да? И разоблачили.

— Да, — нахмурился Забылин. — Вломили так, что раскидало всех мелкодисперсным фаршем по ландшафтному дизайну. Опоздюлили врагов... Вскрыли друзей... Ура. Но как-то че-то не то. Блин... Ну вот не то, не то. Не так надо!

— А как?

— Надо всех отоварить, и наших и ваших!

— Каких-таких «ваших»?

— Это фразеологизм такой. Идиома, — сказал вдруг Забылин сухим академическим голосом.

— А. Я даже слов таких не знаю, — ехидно подыграл Леднев.

— Ну вот, теперь знаешь, — парировал Забылин. — Пользуйся. Я своим пацанам так всегда говорю. Просвещаю. Они же тупые, как бревна. Хорошие такие парни. Честные. Без этих всех выкрутасов. Милые. Родненькие. Так я их люблю. Пацаны! Вот бежал бы по проспекту и орал бы: пацаны! Так я их люблю. Простые ребята. Обидно за них! А у них ведь женушки, детишки! Всем помоги! И помогаю. Помогаю! Откуда только силушки берутся...

— Вы удивительный человек, — сказал Леднев, рассматривая в линзу его карту.

— Я-то что? Я просто видеть не могу несправедливость! Вот и все. Вот и весь я! Бегу туда, где наших бьют. Я просто так устроен. Я устроен чисто и конкретно. Иногда сам себе поражаюсь: ну вот что тебе, блядь, надо? Ну вот нахуй тебе это все? А не могу! Не могу! Бегу спасать куда-то кого-то... Всю жизнь! Всю жизнь куда-то бегу кого-то спасать! И за это меня почему-то называют героем. А какой я герой? Я просто так устроен.

Забылин сделал свое фирменное, хэмингуэйское лицо: прищуренные глаза, запеченные на солнце губы. Ледневу показалось, что вокруг защелкали фотовспышки.

— Переодевайтесь, друг мой. Наши ассистенты подготовят вас к операции. Вон там, — он указал рукой.

— Я помню, помню. У вас тут ничего не меняется. Стабильность.

Забылин прошел за перегородку и уже оттуда выкрикнул:

— Когда я здесь был-то в последний раз? А? Лет десять назад?

— Девять лет и пять месяцев. Как раз купол начали строить. Когда уж построят! А то я нынче попал в метель, ухх... — сказал Леднев для поддержания разговора.

— Не знаю, — строго сказал Забылин. — Чего не знаю, того не

знаю. Терпеть надо. А то... разбаловались мы тут. В метель попал — и уже трагедия. Драма. Разнежились. Ты на передке побывай, да? В окопе лежи. Товарищей потеряй. Сам осколок в жопу получи. А потом ной.

— Не хочется как-то, — отозвался Леднев.

— Ага! Вот и захлопни варежку. Радуйся. Я всегда так пацанам своим говорю: радуйтесь, братцы, пока живы. Уныние — грех! А купол построят. Когда надо, тогда и построят. Куда нам торопиться? Вся вечность впереди.

— Золотые слова. Вам какую вакцину молодости? На десять лет назад? На пятнадцать, на двадцать?

— Я же продиктовал, когда записывался.

— У нас сегодня сбой. Видимо, информация не прошла.

— Атакуют, суки... Ха-ха! Не на того напали! На меня вон как-то целый Жижа наехал — и где он теперь? А все никак не успокоятся.

— Кто?

— Враги народа, кто. Народ же за меня! Народ же все видит: кому бой в привычку, а кому лишь бы новую лычку... Пацуки штабные, — он хмуро огляделся. — Знаешь, что такое пацуки? Крысы.

Леднев удивился: очень уж грубый намек на генерала Пацука, фаворита Государева. Ходят слухи, что Портной с Пацуком не только сердце Стожильного не поделили, но и что-то на войне в Казахстане. Леднев мало понимал в делах военных, но догадывался, что именно можно не поделить на последних нефтегазовых территориях.

— Крысы и есть, — не унимался Забылин. — Чумное племя. Обновят меня. Клевещут. Наветничают Госудрю. Мол, я к его трону свою жопу примеряю. Это я-то?! Смешно! Да только Государь не дурак! Сам шутить изволил по этому поводу.

— Что вы говорите!

— Ну! Третьего дня был я у него на примерке. Стоим, я его булавками обкалываю. А он мне так, хитро: а что, Добрынюшка, не пора ли перекроить мой камзол до твоих габаритов богатырских? Я ему: Господи помилуй, как можно! А что, говорит, я, может, и стожильный, но ведь не железный — устал! А ты вон — сильный, красивый, речистый, герой всех войн и все такое. Все бабы от тебя детей хотят.

— Так и сказал?

— Так и сказал.

— А вы что?

— Да что! Куда уж мне, говорю. У меня этих детишков и так двадцать с лишком. А внуков с правнуками и не сосчитать. Хотя я, конечно, еще могу. Могу! Но блин? Я ведь тоже не железный, говорю. Посмеялись. Понял, да? Вернул ему его же шутку.

— Рисково шутите.

— А то! Я мужик бурсой, дерзкий. Я весь открытый, как перелом. За то меня и любят. И народ, и Государь.

— Все так, все так, Добрыня Горыныч. Так какую, вы говорите, вакцину вам ставить?

— А я разве не сказал? Да как всегда. Тридцать три годочка чтобы. Да. Любимый мой возраст.

— Ох, распнут вас когда-нибудь, — засмеялся Леднев.

— А пусть попробуют!

С этими словами Забылин с триумфальным видом шагнул из-за перегородки, одетый в больничную распашонку с цветочками, из-под которой торчали жилистые волосатые ноги в голубых бахилах.

— Прошу! — сказал Леднев.

— Ну, с Богом, — Забылин размашисто перекрестился и улегся на стол. Его тотчас окружило облако кибер-ассистентов, как сонм ангелов.

Через дезинфекционную камеру процессия проследовала в операционную.

— Все готово? — спросил Леднев по старинке, хотя знал, что в этом нет надобности: роботы, в отличие от людей, не забывают ни о чем и не ошибаются. — Капельница? Следящие системы включены? Наркозно-дыхательный аппарат? Дефибриллятор? Так, хорошо. Начинаем. Перевернуть в прон-позицию. Анестезия.

Леднев отвернулся, чтобы достать из клон-банка ампулу НСК, заметив краем глаза, что анестезиолог, ставя иглу, как-то странно себя ведет, все время попискивает. Он не успел подумать об этом, занятый мыслями о предстоящей операции. Внезапно писк перешел в сигнал тревоги:

— Летальная дозировка, летальная дозировка, летальная дозировка! — вопил анестезиолог и крутился на месте, как собака, бегающая за своим хвостом.

Леднев ахнул, подбежал к операционному столу: Забылин, белый как бумага, исходил пеной.

— Реанимация! — заорал Леднев.

Но все системы и ассистенты будто свихнулись: все выло, визжало и носилось кругами. Леднев, страшно ругаясь, кинулся было реанимировать вручную — но тотчас в его линзе алыми буквами вспыхнуло: «Вмешательство запрещено!», мозг прошило молнией — и он отключился.

Когда он очнулся, все было кончено. Забылина под белой простыней вывозили из кабинета. Кругом ходили какие-то люди. Над ним склонилось внимательное лицо.

— Что произошло? — прошептал Леднев.

— Вы убили пациента. Бывает, — процедило лицо тонкими вялыми губами.

— Это не я... Не я... Программа... Я пытался спасти... Что-то с программой, проверьте программу... Это ошибка... — бормотал Леднев. Хотя лицо давно исчезло.

Он все понял. Но все еще не мог поверить — и говорил, говорил.

Внезапно с каким-то отвращением он заметил, что все его ассистенты ведут себя абсолютно нормально, а недавно взбесившийся анестезиолог что-то вводит ему в вену.

— Вы меня ликвидируете? — упавшим голосом спросил он.

— Это всего лишь релаксанты и конфиденты. Успокойтесь. И продолжайте работать, — сказала какая-то женщина. Он уловил аромат ее духов — Лиу Шу прошлогодней коллекции, «Верба над зеркальной гладью реки». По телу разбежались в разные стороны прохладные шипучие ручейки. Забурлили в крови мириады вулканчиков. Он почувствовал умиротворение. Хорошая препарат-композиция — подумал он с блаженной улыбкой, уплывая куда-то вверх по течению.

30. Бесцветные

24 апреля. Второй день с тех пор, как он сказал, что мы боги. И забыл обо мне. И так и не подошел — хоть на пять минут, хоть на минуту, пусть бы мимо проходя хотя бы словечко бросил — на прогулке, в коридоре... Ничего. Я зачахла от тоски, не могу ни есть, ни спать. А увижу его в толпе — прячусь: такой он бодрый, беспечный и веселый, что глазами с ним встретиться боюсь, чтобы не увидел в них моей надежды и муки.

А тут еще девчонки. Как иногда впотьмах, бывает, обсчитаешься

ступенькой и с размаху спотыкаешься о пустоту — точно такое же чувство возникает, когдаходишь в комнату, раскаленную от разговора — и все мгновенно замолкают.

Теперь они со мной не разговаривают. Всё высказали в первый же день после Зарницы. И предательница я, и дезертирка.

— Из-за тебя мы продули, а ты ходишь как ни в чем не бывало, и морда еще такая — не доплюнуть, — сказала Рита.

— Ты что, она теперь на клиресе! Попробуй доплюнь! — ехидничает Гольцева.

— Что-то мы ее там не видели, — замечает Марьялова.

— Зато кое-то видел, как она с Верясовым лизалась, — говорит Гольцева. — Представляю эту картину. Поле боя, усеянное трупами, — она драматическим жестом обвела вокруг себя рукой, — и два нежных голубка. Голуби мира!

— А может, у них любовь, — промурлыкала Усманова.

— А может, вы заткнетесь? — сказала я.

— На всяк роток не накинешь платок! — выкрикнула Лещенко, и тут со всех сторон понеслось.

Припомнили мне все мои грехи, и Люсю тоже:

— Герой-девица! Скажи спасибо, что не утопила Ирку Левицкую вместе с Люсей!

— Не надо, я не держу обиды, — кротко запротестовала Ира, святая душа безгрешная. — Я ей прощаю.

— А мы нет! Она уже тогда перед этим своим Верясовым выставлялась! — шумят все. — Если бы он не побежал, и она бы не побежала! А теперь она ему слила Зарницу, ножки подогнулись: ах, Тимур!

— Да ладно, девки, хватит, — сжалилась надо мной Рита. — Это была всего лишь игра.

— Это была проверка на вшивость, — возразила Гольцева. — Теперь мы все знаем: она свою пизду вперед коллектива ставит, ей нельзя доверять.

Самое ужасное, что они говорят правду.

Утро. Зарядка. Бегу со всеми кросс — сил нет, еле плетусь, а отстать нельзя, и такая вдруг меня злость на себя взяла: все, думаю. Не буду его больше любить. Забуду о нем, как и он не помнит обо мне. Оглянулась — сад стоит вокруг, как в ожидании волшебства, деревья тонкой акварельной кистью прорисованы — до прожилок на самом крохотном листочке, и сквозь ветки смотрит нежно-голубое небо —

вот как надо ждать любви: терпеливо, светло, застенчиво... Почему же я так не умею? Научи меня, сад, научи меня, небо, научите меня, деревья, — шепчу сквозь слезы, и ничего сквозь слезы уже не вижу, кроме радужной сверкающей мути, подпрыгивающей в такт шагам. Кеды стучат по земле. Я все еще, оказывается, бегу, но больше не чувствую себя. словно кеды стучат сами по себе, а меня кто-то поднял вверх, как облако пара.

И тогда — снова находит на меня *иное*.

Я вижу землю с птичьего крыла, но не здешнюю, другую — и не землю, а как будто разостланную до горизонта карту. Не такую, как на уроках географии или военного дела, — не карту земель и фронтов. А карту людей. Люди окрашены разными цветами. Есть люди серые, черные, красные и белые. А есть бесцветные — их большинство, очень много, целые равнины, огромные плоские пространства. А серые, черные, красные и белые — как будто возвышенности и горы. Сначала все стоит неподвижно и только мерцает-пульсирует внутренним шевелением. Затем серые и черные горы приходят в движение, сталкиваются и начинают бороться друг с другом. Часть черных воюет на стороне серых, их меньше, но они выше. И серые при их поддержке сперва побеждают. Но затем в борьбу на стороне черных вступают красные — они как разверзшиеся вулканы, кипят и выбрасывают в воздух клочья серы и черный дым, который превращается в железные тучи и огненным дождем сечет серых. Серые рассыпаются в щебень, скатываясь к подножию черных и красных гор, которые сплавляются в одну огромную монолитную скалу и подминают их под себя. К победителям присоединяются белые, хотя, пока шло сражение, они не принимали в нем участия, только пускали в обе стороны стрелы, которые, однако, никого не ранили, а наоборот — лечили и тех и других.

Победа черных и красных над серыми обещает новую эру справедливости и спасение для всех бесцветных, но откуда-то я знаю: все погибнут. Это конец. И мне почему-то от этого становится легче.

«Дерюгина, не тормози», — толкает меня кто-то.

Кажется, я начинаю различать свои сны и *видения*, которые называю «иное» или «воспоминания о будущем». Сны я могу рассказывать другим людям, а эти видения — нет. Язык немеет, гортань замыкается. Нет, не так: звука нет даже в гортани. Видение всегда немо и как бы извне находится, как бы само наблюдает за мной — поэтому я не могу о нем ничего произнести. Наоборот, у меня возникает странное,

жутковатое чувство, что это *оно меня произносит*. Не знаю, не могу найти слов, чтобы описать это. Знаю только одно: я не могу ничего сделать с «воспоминанием о будущем» — ни другим донести, ни себе, ни предотвратить, ни даже понять, что именно я вижу. От меня ничего не зависит. Я просто вижу. Вернее, даже не я, а кто-то другой видит будущее, в котором видит и меня...

Это похоже на сон только тем, что ты не можешь поведать о нем никому, пока сон не кончится, пока ты не проснешься. Но *видение* кончается, а я словно продолжаю спать — и не могу произнести о нем вслух ни слова, ни звука.

Я обнаружила это сегодня на исповеди, когда пыталась рассказать отцу Григорию свое видение про битву гор и железные тучи, показавшееся мне апокалиптическим, — и обезмолвела. Стою, как с зашитым ртом. Слышу только — Григорий уже надо мной разрешительную молитву читает:

— Отпускаю тебе грехи, чадо Диана, потому что ты глупа, как скороводка с омлетом, которая думает, будто она причина разбитых яиц. Он убирает епитрахиль.

— А теперь за работу. На чем мы остановились?

— Вы говорили, золотить сегодня будем.

— Точно, точно, — он достает моего Стратилата. — Зашлифуй пока.

Уходит к своему столу.

Там лежит почти законченная икона «Христос Пантократор», и он, прищурясь, окидывает ее цепким взглядом. Налюбовавшись на свою работу, отец Григорий хлопает ладонями и весело потирает одну о другую.

— Так, так. Зо-ло-тить, зо-ло-тить, — напевает он и принимается выдвигать и задвигать ящики стола, глубоко засовывая в каждый свой длинный индюшачий нос. Наконец, извлекает какую-то маленькую мягкую книжицу и бережно откладывает в сторону.

— Так. Это у нас сусальное золото. А где у нас полимент... Глаза мои старые... Ага, вот у нас полимент, — достает банку. — Как раз вчера намешал. Сейчас разведем его заячьим клеем... Надо воду подогреть. Не стой столбом, разожги плиту. Спички вон там. Что ты делаешь? Вентиль на газовом баллоне открути сперва.

Когда все готово, он берет кисть и, макая в полимент, начинает за-

крашивать нимб Стратилата — тонкими, прозрачными мазками.

— Видишь, как надо? Обмакнула — и жди, пока стечет. Кисть должна быть почти сухой. И потом — быстро-быстро и легко-легко, как белка хвостом. Поняла? Давай, теперь ты. Легче, легче. И ловчей. Не пересушивай. Сразу — хоп. Ага, вот так. Да. Хорошо. Так и продолжай.

Он оставляет меня и садится заканчивать своего Пантократора.

Я покрыла нимб очень скоро. Дождалась, когда высохнет первый слой, и без спросу нанесла второй. А потом так же — третий. И только тогда позвала:

— Батюшка, я всё, посмотрите.

— Ну, молодец, — сегодня он в хорошем настроении. — Теперь давай золото клеить. Нет, ничего не трогай. Рано тебе еще. Смотри, как я делаю, и запоминай.

Он раскладывает на столе замшу, переносит на нее лист сусального золота, затем разрезает его скальпелем на две части. Достает из-за пазухи флягу, трясет ею в воздухе. Она тяжело, утробно взбулькивает.

— Слышишь? Другой звук! Сегодня тут не кагор, а водка. И не надо на меня так смотреть. Это не чтобы пить, это наш подпуск для золочения. Хотя... одно другому не мешает, хе-хе.

Отвинчивает пробку, поводит носом, резко выдыхает и опрокидывает флягу в рот.

Передергивается. Занюхивает рукавом.

— Ох ты, Господи помилуй... Хорошо пошла!

Затем выливает немного водки на нимб.

— Теперь смотри.

Широкой мягкой кистью он поддевает отрезанный листик золота — невесомый, трепещущий, словно крыло бабочки, — и переносит на смоченный водкой нимб.

— Видишь, как оно тотчас прилипает? А теперь — нежно-нежно разглаживаем. А где не пристало — еще подпускаем водки. И снова гладим.

Говоря это, он ласково водит кистью по золоту, как бы успокаивая его — и оно успокаивается, перестает трепетать и пузыриться, срастается с доской чисто.

— Вот и все. Вот какая красота. Теперь просушить и через три-четыре часа зубком пройтись. И будет не просто красота — а небесная красота.

Он снова отхлебывает из фляги. Встает, потягивается — рукав опадает, обнажая толстое волосатое запястье, пережатое ремешком наручных часов.

— Однако полчаса еще есть. Приберись-ка тут. А я, дай Бог, как раз закончу Спаса.

Но «подпуск» уже сделал свое дело — отец Григорий бросил кисти и сидит расслабленно, наблюдает, как я скребу веником по дощатому настилу.

— Во пылищи-то развела! — ворчит добродушно. — Баба, а рисует лучше, чем метет. Где это видано?

— Воды не осталось у нас, веник не намочить.

— Воды не осталось? Уж я Лешке задам! Долбил же дураку, неси полную канистру! Вот погоди, пусть только явится. Еще небось и опоздает.

— Это я виновата, — говорю. — Половину спустила, когда за ветром ходила.

— Тьфу ты! — плюется Григорий. — Молчи уж. А впредь знай: если хочешь помочь кому-то и никак без вранья не обойтись — ври красиво, и никогда, слышишь, никогда не говори о срамном — нельзя об этом говорить, особенно девицам. Поняла?

— Поняла.

Он снова взглянул на часы:

— Пятнадцать минут еще до Лешки. А как он любит ходить — так и все двадцать. Ладно. Вижу, девка ты хорошая, хоть и пустая. Покажу тебе, уж так и быть. Иди за мной.

Он снимает лампу со стены и ведет меня по штреку куда-то.

Приходим в низенький и узкий, могильный грот — спину не разогнуть.

Отец Григорий достает из какого-то тайничка завернутую в пелена доску и, уложив ее на каменном приступке, бережно разворачивает. Это образ Богородицы с младенцем.

— Вот. Хотела знать, ради чего мы северный придел сожгли? Вот ради нее и сожгли, ее и спасали.

— Я думала, спасали весь алтарь...

— Весь алтарь бы не прокатило. Криминалисты бы обнаружили, что он сгорел пустой, без икон... Ай! — он махнул рукой. — Да там спасать было нечего, все поделки кустарные, халтура. А это — единственная жемчужина. Знаменитая Смоленская Одигитрия. Пу-

теводительница. Защитница земель русских. Список 17-го века с чудотворной иконы самого Луки-евангелиста! Святыня. Задержи дыхание — и смотри. Смотри.

Я послушно смотрю. Одигитрия похожа на переодетого женщиной мужчину — тяжелый подбородок, недовольно сжатый рот, длинный нос, маленькие, узко посаженные глазки с выражением гневного недоумения. У младенца Иисуса наоборот — лицо идеализированное и без всякого выражения.

— А почему она такая... сердитая? — спрашиваю осторожно.

Отец Григорий засопел.

— Потому что... понимать надо!

Разочарованный, он порывается снова завернуть икону с глаз моих долой.

— Наверное, она злится на таких, как я, тупиц, — говорю.

Он смягчается.

— Да уж, повидала она всякого на своем веку. Ну, и записей было по ее лику столько, что впору тут разозлиться. А младенец так вообще новодел, полностью переписан в 19 веке. Видишь, как стили отличаются? — он вздыхает и нехотя признает: — От оригинала тут, конечно, мало что осталось. Считай, одна доска и фон.

— Так на фоне ж ничего нет, пусто?

— Красочный слой потерялся со временем — и в тех местах, которые шли под оклад, не подновлялся. Подновлялись только лики и руки, что на виду.

Он минуту молчит, затем склоняется над иконой и, перекрестясь, целует ее.

— И все-таки это она. Настоящая. Она там есть, душа ее живая, дух ее чудотворный. Я чувствую... — шепчет. — Она как сама наша матушка-Россия. Вот здесь, под окладом, — он проводит рукой по фону, — здесь находимся мы, народ ее невидимый, почти утраченные, зато исконные краски. А здесь, где прорези в окладе, — показывает на лики и руки, — видная часть, красочная, но фальшивая — это как наша власть. Которая вроде как от Бога, да только лик Его утерян и вместо него — новодел.

31. Китайская шапочка

— Вы сделали революцию в методах досудебного расследования! — воскликнул как-то Рыбкин. — Поразительно, что наши службы до сих пор пользуются «сывороткой правды», это же какой-то пещерный век, все знают, что правды там — как в пьяной болтовне дурака, и все равно в любой непонятной ситуации фигачат в ноздрю последственному это дерьмо...

— Старинный ритуал, — сказал Леднев. — Зрелищный. Народ любит такое. Раз в неделю им телевизор показывает что-то интересное — не сводки с полей, а целого государственного преступника, и вот представьте: этот страшный черт, схваченный «за ноздрю», вдруг превращается в своего парня, рвет на себе рубаху и режет правду-матку, роняя слюни. Это огромный спектр зрительских переживаний — от эмпатии (он такой же простой смертный, как и мы) — до злорадства (и поделом, а то возомнил о себе). Тут тебе и катарсис, и удовлетворенное чувство справедливости.

— Что такое катарсис?

— Эээ... Не обращайтесь... Я к тому, что как телешоу наш РЕВ и в подметки не годится «сыворотке правды».

— Ну, да, — подумав, рассмеялся Рыбкин. — Какие-то невидимые проводки, электроды, нанозонды, пациент лежит в камере сенсорной депривации и молчит, компьютер что-то пишет. Непонятно!

— Вот-вот. Такое по телевизору не покажешь — скука.

— Но вы же не для шоу РЕВ изобрели! У вас же были совсем другие цели.

— Да не было у меня никаких целей. Когда я придумывал РЕВ... Знаете ли, я не хотел такой судьбы для него. Допросы, враги, средство «абсолютной правды» и все такое... Я вообще тогда не задумывался над вопросом «зачем», я даже не знал еще «как» — меня захватила идея и все, это как инстинкт, ты просто подчиняешься...

— О, это прямо по Гауссу: «Мои результаты мне давно известны, я только не знаю, как я к ним приду».

— Мне нравится другое его высказывание: «Не следует путать то, что нам кажется невероятным и неестественным, с абсолютно невозможным».

— И вам поистине удалось сделать что-то невероятное! — восторженно подхватил Рыбкин.

— Нам, — поправил Леднев. — Всем нам. РЕВ — это заслуга всей нашей лаборатории. И знаете, что я думаю, Иван Семенович. Вот они там, наверху, нашли ему применение. Цель. Не слишком благородную, да? Пусть. А все-таки — у нас получился не самый бесчеловечный из всех методов пытки. Может быть, я утешаю себя... Оправдываю... Но смотрите. Ведь наш РЕВ — это удлинение жизни — на тот отрезок, в который мы погружаем человека. И чем глубже ретроспектива — тем больше жизни мы дарим этому несчастному. Тут ведь главное и самое тонкое — задать ему нужную глубину, не ошибиться с *логосом*, который запустит воспоминание. Представьте, что его хотят отправить на месяц назад, на год, а вместо этого по ошибке отправляют в самое детство — и выходит, человек еще раз проживает свою жизнь, целую жизнь! Не знаю, как вы, а я совсем не против, чтобы со мной так ошиблись.

— Зачем бы это понадобилось? — несколько испуганно спросил Рыбкин. — Я не представляю себя, а тем более вас, профессор, в роли государственного преступника.

— От суммы и от тюрьмы, как говорится... Но чисто гипотетически? А?

Рыбкин задумался.

— Не знаю. В моем детстве не было ничего интересного. Не уверен, что хотел бы туда вернуться.

— Как? — изумился Леднев. — Так-таки ничего? И даже безумной домашней лаборатории? А взорвать квартиру? Прожечь одежду кислотой? Разрезать на кухонном столе лягушку, к ужасу бабушки?

...Которая, кстати говоря, на том самом столе накрутила километры мясного фарша... «Вот я не понимаю, — бунтовал юный естествоиспытатель Дима Леднев. — Лягушку для науки не убей, а корову тупо для котлет — пожалуйста». Бабушка махала руками: «Я никого не убивала!» — «А мышей на даче? А дрозда кто ухлопал из рогатки? А еще бабушка называется, — ласково подначивал он, — не бабушка, а хулиганка какая-то». — «Эти твои дрозды мне все черешни поклевали! Вредители!». Дима иронично кивал: «Вот-вот. Цель оправдывает средства. И этот Макиавелли в юбке запрещает мне препарировать земноводных».

— У меня не было бабушки, — сказал Рыбкин. — Я рос в спец-интернате. В Детском Городе Особого Значения — для научно одаренных детей.

— Да-да, — опомнился Леднев. — Я все время забываю, как вы молоды, мой друг.

Рыбкин покраснел, уязвленный его замечанием.

— Не обижайтесь, дорогой Иван Семенович. Я к тому, что мы с вами из разных миров. Из разных эпох! А ведь я совсем не чувствую этой разницы, работая с вами. Да что там... Вы знаете мое к вам отношение. Но когда до меня вдруг доходит, сколько всего нас разделяет... Это же бездна! Просто бездна, — Леднев помолчал. — Я так долго живу. Так долго.

— И это счастье для всех нас, для нашей медицины! — воскликнул Рыбкин. — А вы так говорите, как будто сожалеете. Позвольте мне вам не поверить! Минуту назад вы сами признались, что хотели бы прожить свою жизнь заново, с детства.

— О, да, — мечтательно улыбнулся Леднев. — Года с этак... восьмидесятого. Когда мне было десять. Самое счастливое время. Лето. Июль. Олимпиада. По радио сообщают, что мы запустили в космос Союз-37...

— Вы до сих пор название помните?

— О! Я помню все: номер экспедиции, имена стартового экипажа, дату запуска — 23 июля. Я вам больше скажу — это не Союз-37 держится в моей памяти о детстве, это моя память о детстве держится на Союзе-37, — Леднев усмехнулся. — Знаете, забавно. Я сейчас подумал: а ведь это именно оно — то самое ключевое слово, тот логос, который меня бы точно вернул в мой июль восьмидесятого.

«Ди-имка! Ди-имка!» — орут со двора пацаны. Под алыми веками плывет солнце. Пахнет отутюженной пылью. В жаркой, вязкой тишине жужжат мухи, ударяясь о стекло. «Димка, выходи!». Он медлит, нежась в последнем, ласковом, тающем звуке сна. Звук обволакивает, покачивает, как волна, уходит. Не уходи! Дай запомнить тебя.

— Иногда мне кажется, что я до сих пор живу там, в этих своих вечных летних каникулах, в тягучем солнечном июле. А вся остальная жизнь мне только снится. И кто-то мне кричит и кричит с улицы «Димка, выходи», а я все никак не могу проснуться и выйти.

— Дмитрий Антонович, просыпайтесь.

Он пошевелился — все тело ныло, как избитое железным прутом.

В голове перекатывался чугунный куб. С трудом разлепил веки и сквозь радугу ресниц увидел силуэт, склонившийся над ним. Силуэт пощелкал пальцами перед его носом.

— Что со мной? Где я? Кто вы такой?

— Вы у себя в кабинете. С вами все хорошо. Полный порядок.

Гнусное слово «порядок». Чужое.

Тусклый, какой-то схематичный голос. Чужой.

Леднев, наконец, смог разлепить глаза и увидел лицо: бесцветные черты, рептильно-внимательный взгляд, вялые тонкие губы. Что-то знакомое...

О господи! Он вспомнил все: взбесившихся ассистентов, смерть Забылина, красные буквы «вмешательство запрещено». И потом... Потом это лицо... И запах каких-то тонких духов. Верба над зеркальной гладью реки...

Что ж так больно-то? До тошноты, до ядовитой зелени в глазах. Вот тебе и релаксанты с конфидентами. Обманули, гады.

Сдерживая стон, он ощущал себя. За левым ухом обнаружил какой-то маленький податливый шарик, что-то вроде висячей родинки, и сразу понял: это гнездо разъема. Значит, пока он был в отключке, его мозги обули в «китайскую шапочку».

— Мне вживили нанозонд? Зачем? — прошептал он, еле ворочая сухим языком.

— Во благо Родины, — насмешливо сказал комитетчик.

— Меня что, готовят к РЕВ-допросу?

— Ну, не мне же объяснять вам метод профессора Леднева.

Леднев невольно усмехнулся: забавная рекурсия. Гильотен на гильотине.

И тут же замычал — даже легкая улыбка причиняла ему боль. Чугунный куб в голове подпрыгнул, ударил в темя, с грохотом упал в затылок и прокатился всеми углами по вискам.

— Ыыыы.. Черт побери... Кто проводил операцию?

— Там все нормально. Не волнуйтесь.

Леднев приподнялся, огляделся: он лежал на каталке в больничной сорочке. Где-то вдали, на краю ойкумены, торчали его длинные жилистые ступни.

— Где мой костюм. Мне надо одеться. Мне надо домой.

— Конечно-конечно! Ухожу-ухожу. Одевайтесь. Но зачем вам домой? Домой вам совсем не надо. Уж поверьте мне.

— Да кто вы такой?
— Я ключ от этого кабинета.
Он вышел.

Леднев несколько секунд барахтался, как жук, опрокинутый на спину, прежде чем ему удалось встать. Нашел свою рубашку, и викуню, и чайные ботинки от Квин Хао — все было аккуратно сложено в шкафу — и только когда оделся, заметил странную тишину. Стена молчала, ассистенты не работали. Но к этой внутренней тишине добавлялось что-то еще, какой-то зловещий наружный вакуум.

С улицы не доносилось ни звука.

Он выглянул в окно. Никого. Ни одного человека на тротуарах, ни одной машины на дороге. Только ветер, морща лужи, гнал по земле листву и бумажки. Из дома напротив вышел комитетчик в черном, постоял, огляделся и зашел в соседний подъезд. По улице медленно прополз бронированный автомобиль «Щит» и остановился у перекрестка, чего-то выжидая. Со стороны Тверской донесся какой-то подспудный равномерный шум — сперва слабый, как звук закипающей пены, — все нарастая, набирая мощи, он превратился в тяжелый многотонный гул, словно по городу двигалась колонна танков. Гул поднимался, заставляя дрожать стекла, все выше и выше, будто желая растрясти всю землю до самого неба. И небо откликнулось. Над крышами, тоскливо и тревожно крича, взвихрились и понеслись черные стаи воронья и галок — в такой панике, что, казалось, за ними гонятся огненные колесницы Ильи-Пророка.

А затем появились и сами «колесницы»...

Небо надвинулось на город в предгрозовом напряжении. Снова все затихло —дохнуло могильным холодом и мгновенно стемнело. Леднев увидел на краю горизонта быстро летящие тучи, выстроенные в геометрически правильные цепи, — они двигались синхронно, на одном эшелоне, перестраиваясь в точном порядке. Никакого хаоса. Ничего подобного природа не создает. Самоорганизующийся разум. Умная буря. Она пронеслась с реактивной скоростью в сторону Кремля. Миг — и все исчезло.

Что это? Что происходит? Война?

Он еще постоял у окна, наблюдая, как светлеют московские крыши и купола, растрчивая в обыденном свете мрачный дух военной тайны и ярости. Но улицы все так же оставались безлюдными. На

перекрестке все так же стоял броневик. Из подъезда снова вышел комитетчик, осмотрелся, переговорил с кем-то по гарнитуре и зашел обратно. Только сейчас Леднев заметил, что в окнах здания напротив белыми пятнами маячат лица — такие же, как он, запертые в своих кабинетах люди, перепуганные, ничего не понимающие. Странно, но его это успокоило. Конец света все-таки легче переживать вместе со всеми, чем в одиночку.

Так прошло еще минут тридцать или сорок. Ни движения, ни звука. Мертвая тишина изнутри и снаружи.

— Внимание! Внимание! — вдруг ожила стена. — Сообщение от Федерального оперативного штаба Национального Антитеррористического Комитета. Сегодня в 15.35 на все системы Москвы была совершена масштабная кибератака запрещенной организации Хаканарх. Благодаря действиям спецотрядов быстрого реагирования порядок восстанавливается, главари и основная часть банды хакеров-анархистов ликвидированы. В городе идет зачистка. Просьба не паниковать и оставаться на своих местах. Не пытайтесь покинуть помещение до официального разрешения властей, иначе ваши линзы, в целях вашей же безопасности, будут незамедлительно переведены в слепой режим. Соблюдайте спокойствие. Возвращайтесь к работе. Ждите дальнейших указаний.

— Не выходи из комнаты, не совершай ошибку... — пробормотал себе под нос Леднев.

Господи, черт побери, как же болит голова.

Он пошарил в ящиках рабочего стола. Слава богу — на дне завалилась рекламная упаковка анестетика «Укус дракона». Он вышелустил из фольги две таблетки, проглотил, судорожно дергая кадыком, закрыл глаза и откинулся в кресле — ждать «дальнейших указаний». Или всего чего угодно.

32. Черная невеста

Теперь, чуть не в каждый свой «певческий» день, перед тем как приступить к доске, я исповедуюсь отцу Григорию в крипте. Он сказал, так надо, потому что он мой духовный наставник и мастер. Но я должна причащаться вместе со всей паствой на Воскресной литургии, а значит — снова исповедоваться. В последний раз отец настоятель

Андрей заметил, что мои исповеди стали школярскими и сухими, нет в них сердца. Я ответила, что уже исповедовалась иерею два дня назад, а теперь лишь повторяю. «Тогда пусть он тебя и причащает», — сказал Андрей.

— Ревнует! — смеется отец Григорий. — Хотя что ему? Работы меньше. Но нет — за каждое сердце война идет, невидимая война, даже здесь, в храме. Везде тщеславие и властолюбие. Грехи наши тяжкие!

— А зачем ему мое сердце?

— Твое, не твое... Любое! Все сердца паствы.

— Вы ему просто завидуете, — говорю.

— Вот еще! — Григорий обиженно надулся. — С чего бы мне завидовать ему?

— Его все любят, а вас нет.

— Да уж я не червонец, чтобы всем нравиться, — буркнул он.

Помолчал и добавил:

— И к тебе в духовники не набивался. Сама пришла. Можешь уходить, никто не держит.

— Мне все равно, кто мой духовник, — говорю, как нас всегда учили. — Я исповедуюсь перед Богом.

Отец Григорий недоверчиво качает головой.

— Что ж, хорошо, коли так... Ладно, Бог с тобой.

— В том-то и дело, что Бог не со мной, — призналась я. — Или я не с ним? Молюсь, молюсь... А будто урок отсидиваю. Ничего мне в этих молитвах не понятно, все слова знаю и смысл их вроде понимаю, да только все это как будто... мертвое. Не обо мне как будто...

— «Не обо мне»... А спасение твоей души бессмертной — тоже не о тебе?

— Я не чувствую там ничего. Ничего. Кроме непонятно чего. Может, и правда, нет у женщины души? Вот Рита бы меня поняла. Но у меня теперь даже Риты нет. Даже... Почему даже? Они все отвернулись от меня. Я чувствую себя как Магомед в изгнании: некому пожаловаться, кроме скал.

— Да на что тебе жаловаться, пророк ты сопливый? — морщится отец Григорий.

— Не знаю... Одиночество. Я так мечтала о нем. Но то, которого я хочу, — его нигде нет. А то, которого не хочу, — оно повсюду. Я не могу уйти от людей и не могу приблизиться к ним — как собака на

цепи.

Иерей хмыкнул.

— На то и придуманы светляки, чтобы мучить человека. Чтоб ни туда ни сюда. А ты страдай, страдай. И радуйся. Страдания душе полезны.

— А если я не могу радоваться?

— Уныние — тяжкий грех, — бубнит отец Григорий.

— А Волга впадает в Каспийское море, — огрызаюсь я.

— Не дерзи, чадо. Когда поймешь, что это не просто слова, — возрадуешься.

— А до этого? До этого что мне делать?

— Икону пиши.

— Я уже дописала.

— Новую пиши. Зря я тебя учил, что ли? Бери доску и начинай.

— Какую?

— Какую хочешь.

— Никакую не хочу. Совсем ничего не хочу. Как будто сердце отсохло у меня. И все мне кажется... одинаковым каким-то и ненужным. Что икону со списка срисовывать, что на уроке женского ремесла узорчик по образцу. Словно и разницы нет. И там, и там — пиши по правилу.

— А чего ты хотела? Чтобы совсем без правил?

— Не знаю. Когда-то я хотела найти художника, который написал зеленый сад, и ветер в нем, и тропинку. И уйти по этой тропинке от всех.

— Уйти от всех, угу. А все за тобой прям гоняются.

— Сейчас-то я понимаю. Никому я не нужна, да.

— Ээ! — он махнул рукой. — Бабское это, чую. Когда баба говорит «никому я не нужна», это обычно означает, что она не нужна кому-то одному-единственному. Что, несчастная любовь? А?

Я молчу.

— Забудь о нем. Иди в монастырь, — говорит отец Григорий. — Там есть подпольная мастерская. Инокinya Елена — из наших. Она тебя устроит. На всю жизнь. А мне голову больше не морочь.

— Я в монастырь не пойду.

— А куда тебе? Замуж? Никто тебя такую не возьмет.

— Какую?

— Такую. Кому нужна строптивая баба? Да еще с заскоком на

художествах. Знаю я таких, повидал. И родители, небось, не первой категории? А может, даже и не второй.

Я опускаю голову.

— Так я и думал.

Он достает из кармана подрясника флягу, вытряхивает из нее в рот последнюю каплю, вздыхает, встает. Колыхаясь огромным телом, шаркает через грот к стеллажам, копается на полках – то приседая, то вставая на носки. Я вижу, как шевелятся между листами бумаги его жирные красные пальцы, как ходят под сукном подрясника оладыи его боков и плоские ягодицы. Наконец, довольно крикнув, извлекает откуда-то ополовиненную бутылку кагора.

— Ты черная невеста.

— Что это значит?

— Значит, запасная, — он приподымает бутылку, смотрит на свет, трясет. — Кому-то на черный день. Вдруг у кого детная жена помре. Или на производстве здоровому парню руку оттяпает. И станет он еще ниже категорией, чем ты. Вот и жди: год — житейский, день — в святцах, месяц — на небе. Это еще если ты не порченная.

— Я не порченная. И не запасная. И... И...

И по любви замуж выйду. И муж у меня будет отважный герой. Военный ветеран. Инвалид. Солдат-калека — без ног, без глаз, без лица. Господи, опять. Опять я вижу иное. Вижу, и не хочу видеть: темная комната, вечная маска-протез на его лице, в меня летит костыль и крик: «уйди, уйди, постылая!». Мы будем жить на мою зарплату швеи и на его пособие, половину которого он будет тратить на «гуттаперчевых девочек» раз в месяц. У нас будут дети — пять минус три — трое умрут в колыбели, двое останутся. Мы проживем так семь лет, а потом... Потом наступит...

Бутылка выскальзывает из рук отца Григория — шмяк! — и вдребезги.

— Кирдык-елдык! — вскрикивает он, горестно глядя, как растекается среди осколков темно-красная лужа. Воздух наполняется густым сладким запахом крепленого вина.

Я беру веник и направляюсь к месту катастрофы.

— Ай-я-я-я-яй! — причитает Григорий, пока я заметаю в совок то, что осталось от его драгоценной заначки. — Ай-я-яй!

Беда. Сейчас он погорюет и впадет в самое мрачное, злобное свое настроение. А мне тут майся с ним. Уйти-то нельзя никуда, пока Леш-

ка-пономарь в договоренный срок не спустится за нами.

Но нет. Иерея охватывает странная, не свойственная ему, тихая печаль. Он сидит, уткнув подбородок в живот, свесив руки плетьюми, и долго молча смотрит в пустоту перед собой. Вдруг глаза его расширяются от ужаса.

— Вот мой бес, — шепотом произносит он, кивая на темное пятно от кагора на полу. — Смотри-ка, Диана. Ты видишь это?

Он пальцем прочерчивает воздух над пятном, следуя его контуру.

Я смотрю и вижу: пятно по силуэту выглядит как пузатый черт на тонких ножках, с рогами и задорно вздернутым хвостом.

— Это знак! — он быстро, многократно крестится, скороговоркой бормоча «господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй...». — Ты видишь это, да?

— Да, батюшка.

Иерей заплакал:

— Вином Евхаристии, кровью Христовой я беса своего причащаю!.. Погибель мне! Анафема!

Я вскакиваю на ноги:

— Сейчас я все отмою! Сейчас, сейчас...

Бегу за тряпкой и водой.

— Только грех мой не отмоешь... — стенает вслед Григорий.

И так — на полчаса: в такое ничтожество впал — уж лучше бы ругался и ярился в своей обычной манере.

Дочиста отскребаю-отмываю пол, сдвигаю лавки и табуреты, укладываю на них отца Григория.

— Я великий грешник! — стонет он.

Наконец унимается, затихает.

Я сажу, листаю его альбом. Вижу там Одигитрию. Иду выбираю доску и начинаю новую икону. Все равно делать больше нечего — пока этого Лешку дождешься...

33. Сердце Кокурекина

Новое сообщение. *«Здравствуйте! С вами центр «Добрый Доктор Айболит». Вы заявляли третьего дня о пропаже домашнего животного? Примите наши соболезнования. Найден труп вороны с разряженным клеймом, просим явиться на опознание...».*

Да, сейчас все брошу и явлюсь. Только придумаю, как обойти приказ оперативного штаба не выходить на улицу, не совершать ошибку. А лучше доложу Антитеррористическому Комитету, что группа каких-то ряженных айболитов терроризирует меня с утра своей тупостью.

Впрочем, скорее всего, это глюк. Из-за атаки Хаканарха. Утреннее письмо от айболитов — после обвала и восстановления системы — каким-то образом продублировалось и отправилось как новое. Конечно глюк. И незачем так психовать.

А все-таки что-то здесь не то. Этот нелепый Хаканарх... Неправдоподобно. Трудно поверить, будто стоочитый КТБ проворонил у себя под носом подпольную кучку маргиналов и позволил ей распланировать и осуществить покушение на основы Государства. Или как они там сказали? «Атака на все системы»... Что значит «на все», что было взломано, каков ущерб? — непонятно.

— К вам посетитель, — сказала стена.

— Откуда это? Разве режим чрезвычайного положения отменили?

— У духовенства особые полномочия.

— Поп, что ли?

— Протоиерей Мефодий Кокурекин.

Только его сейчас и не хватало.

Входит отец Мефодий. Пыхтя, фыркая и подпрыгивая нетерпеливо, выворачивается из шубы наизнанку. Ряса, крест, тревник. Ах вот оно как. По мою душу пришел.

— Привет, Мишка, — сказал Леднев вяло и ехидно.

— Кому Мишка, а кому и Ваше Высокопреподобие!

— Привет, Ваше Высокопреподобие.

— Не ерничай, сукин ты сын! Над церковными званиями смеешься?

— Я бы еще что-то в них понимал. Вот ты, например. Какой-то митрофорный священник. Что это такое — хрен его знает.

— Это значит, что я награжден митрой за особые заслуги.

— А.

Заслуг и званий у Мишки много.

Настоятель тридцати девяти церквей московских, председатель пастырского попечения о воинстве русском, глава патриаршей комиссии по делам всех детских городов, начальник духовного отдела Воздушно-Космической Академии им. Гастелло, почетный профессор Сла-

вазийского политического университета, первый научный советник Государя-Помазанника по биомедицинской этике, оратор, идеософ, политолог и так далее. А в народе — батюшка Кукареку. Телезвезда утренней программы «Дозорная Вышка».

На экране он выглядит высоким и благообразным — из-за большой головы и широкого длинного торса, так что сидя за столом рядом со своими собеседниками, он кажется крупным. А на самом деле росту в нем — от горшка два вершка. Мужская рифма к маленькой грибоподобной Лидии Аркадьевне. Только, в отличие от нее, у Мефодия розовые, как у девицы с мороза, щеки, пышная дымчатая борода обо всю грудь и густые каштановые волосы, собранные в богатую косу. А голос... Сам худ, а голос жирен — как в народе говорят. Вся сила в голос ушла.

— Ну что, чадо Дмитрий? — пробасил Мефодий, притворно что-кая и окая. — Готов ли ты к последнему причастию?

И вдруг визгливо закашлялся в смехе:

— Ага! Попался? Ну скажи, скажи! Поверил, шельмец? Обосрался?

Леднев печально кивнул:

— Чего греха таить. Обосрался, батюшка. Обосрался. Как требник твой увидел — так и сразу.

Мефодий, все с тем же кашляющим смехом, упал в кресло, дрыгая коротенькими ручками и ножками.

Отсмеявшись, он ткнул пальцем себе в яремную выемку:

— Бронхит.

— Вам в другую клинику, батюшка, — сказал Леднев.

— Не, ну ты глянь на него! А? Как не родной! — снова раскашлялся-расхохотался Мефодий.

— Вашего Высокопреподобия нет в моем расписании.

— А зря, зря, — строго прогудел Мефодий, подпуская в голос фирменного своего жиру. — Духовник каждую секунду в твоём расписании должен быть, детка. А то как смерть придет раньше исповеди? А? Что делать-то будешь? Закричишь «помогите!» — да поздно.

— Ты зачем явился-то? — пробормотал Леднев. — Когда я тебе последний укол делал?

Он запустил базу клиентов, чтобы найти историю Кокурекина. Но вместо базы увидел разлетающихся в разные стороны птичек: «объект не найден».

— Что за?.. Так. Ладно. Я помню. Последний укол я тебе делал

шесть лет назад. Рановато для апгрейда.

— Ой, — скуксился Мефодий, затыкая пальцами уши. — Не хочу слышать эти твои англицизмы бесовские.

— Дать тебе жалобную книгу?

— Эх, Дима, — укоризненно сказал Мефодий. — Хороший ты парень... И умный, и всё... Но эта гордыня твоя... Адская просто гордыня. Не любишь ты людей.

— Не люблю, — легко согласился Дмитрий Антонович.

— А помнишь, как мы на втором курсе медфака зажигали? А?

— Помню, Миша. Все помню.

— Девки просто плавилась. Вот что значит работать в команде! Ты брал красотой, а я — красноречием.

— Какой нахрен красотой? — скривился Леднев. — Иди ты в жопу.

— Я всегда тебе завидовал, — как ни в чем не бывало, мечтательно и злорадно продолжал Мефодий. — Но да. Ты прав. Красоты в тебе — как в справочнике по анатомии: вроде бы и латынь, да не Вергилий. Не хочу тебя обидеть, но взгляни на себя... Ну что в тебе такого? Ничего. Даром что длинный. Эта твоя маленькая челюсть... Эти залысины уже в юности... Тощая спина в родинках... Но, блядь, почему? Почему все лучшие бабы на курсе всегда были твоими? А?

— Не знаю, — пожал плечами Леднев. — Какая разница. Все равно Галка меня бросила.

— И не досталась ни-ко-му... — засмеялся в кашле Мефодий. — Ты мудака, Дима. Ты классический, хрестоматийный мудака. Ты знаешь, что с ней было потом?

— У тебя хрипы, — сказал Леднев. — Тебе нужно к врачу. Пока горлом кровь не пошла.

— Все о прахе заботишься. Это не мне, это тебе нужно к врачу. К души врачевателю. Ты же, смотри, весь черный, как не знаю что.

— Все-таки прислали исповедовать меня? — Леднев поморщился, как от зубной боли.

— Что я слышу! Прислали! — вскрикнул Мефодий. — Ты с дуба рухнул? Мы же с тобой друзья. Московские студенты! Пуд соли вместе съели.

— Сто лет с тех пор прошло.

— Не сто, а семьдесят четыре.

Леднев откинулся на спинку кресла и прямо взглянул ему в глаза.

— Что ты хочешь от меня, отче? Чтобы я тебе поведал все свои

тайны? Вот первая. Вторая. Третья, — говоря это, он загибал свои длинные пальцы и, сложив из них красивый кукиш, сунул Кокурекину под нос.

— Ой! Ой! — замахал Мефодий, словно отгоняя пчел. — Тайны у него, ишь ты... Кому нужны твои тайны. Я к святым тайнам Христовым причащен бываю каждый божий день, а ты мне тут про свои тайны... Знаю я все эти ваши тайны, у всех одно и то же, и ты не исключение. Да-да, великий гений, принц науки — ты в своих никчемных тайнах мало чем отличаешься от безмозглой домохозяйки, которая носится со своим уникальным рецептом котлет.

— Тем лучше, — безмятежно сказал Леднев.

Мефодий плюнул с досады.

— Что лучше? Чем лучше? Червяк ты бумажный. Да если хотя бы со мной сравнить, с моими тайнами житейскими — да я против тебя как боевая машина против мухобойки. У меня жизнь была — ого-го! Пока ты пыль библиотечную глотал — я прыгал с десантом в Сирии, я умел сбросить с самолета надувной храм, приземлиться с парашютом и тут же, на месте, развернуть проповедь. Пока ты над диссером геморроил — я отрабатывал тактику боя в составе полковых священников. Пока ты колбами звенел, по конференциям катался, да ходил на приемы с Галкой, как с дорогой вещицей, я там мальчишек наших спасал!

— Много спас?

— А ты не телами меряй — душами! Я души спасал.

— Да-да-да. Но прибежал ко мне за новым сердцем. Спасать чужие души и собственные туши — как это по-христиански.

Мефодий побагровел.

— Крамольник! Хулу на Святую Церковь возводишь!

— При чем тут церковь, Миша? Сердце-то твое.

— Не мое, а государственное! Я сам себе не принадлежу... Моя, как ты выразился, туша, для Державы ценна, а то бы... Да я бы...

— Угу. Давай, расскажи мне что-нибудь еще.

— А и расскажу. Почему бы и нет. Я не гордый. О чем послушать изволите, профессор?

— Расскажи, как ты попом-разведчиком был, в Америку летал интернет окроплять, — ехидно сказал Леднев.

— Не юродствуй! Я выполнял свой духовный долг — уничтожить дьявольское оружие врага. Это все промыслительно! Священная миссия!

— Уничтожил? Миссионер... Тебе нужно было не в Америку лететь, а прямо в космос, окроплять спутники Маска.

Мефодий метнул в него испепеляющий взгляд. И вдруг в глазах его зажегся мстительный огонек.

— Знаешь, а я ведь могу подумать, что ты, Дима, — атеист, — сказал он угрожающе медленно.

Леднев промолчал, с любопытством разглядывая его, как неизвестный науке вид. Кокурекин тоже молчал. Пауза тянулась. Наконец он хлопнул ладонями по коленям и встал.

— Ладно, хрен с тобой. Хрен с тобой.

Криволапым своим, карликовым шагом он поковылял в прихожую.

— Мишка! — позвал Леднев. — Так, а приходил-то ты зачем?

Кокурекин обернулся возле вешалки, подумал и с тяжким вздохом обронил:

— Ну, как зачем. Ты же все понял сразу. «Идущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день». Душу твою спасти хотел. Исповедать и причастить Святых Христовых Тайн.

Голос Кокурекина впервые звучал серьезно и даже сострадательно.

Леднев опустил голову.

— Ах, вот как. Значит, меня приговорили все-таки.

— Все приговорены. Наступают последние времена.

Он наклонился и достал из мусорного ведра клочок анархистской листовки. Помахал им в воздухе:

— Хаканарх.

Леднев изумленно рассмеялся:

— Господи! И ты туда же! Что за бред?

— А ты сидишь на Луне и ничего не замечаешь?

— Нет, ну... Мою бригаду ассистентов хакнули. И еще зачем-то базу клиентов... Но это как во время землетрясения, когда на тебя бежит лава, сказать: а вы знаете, я тут заметил какую-то сейсмическую аномалию.

— Ага. Если бы только. Взломали Центральное Облако данных и Головной компьютер КТД. Хакнули всю канцелярию, все банки...

— Все банки... — рассеянно проговорил Леднев, покрываясь холодным потом.

Кокурекин многозначительно кивнул и снова помахал обрывком

листовки.

— Стена! — крикнул Леднев, вскакивая. — Проверить работу клон-банка!

— Работа прекращена 95 минут назад, — ответила стена. — Режим криоконсервации отменен. Все биоматериалы аннигилированы.

Леднев бросился в операционную. Там, в глубине зала, все так же под защитой лазерной решетки, высилась передвижная башня клон-банка. Но уже издалека, сквозь решетку, он увидел катастрофу — термоиндикаторы на всех ячейках мерцали безжизненным тускло-красным светом.

— Стена, — охрипшим голосом сказал Дмитрий Антонович. — Запустить поиск. Ключевое слово «молодильное яблоко». Найти все документы.

— Объект не найден.

— Проверь еще раз. Проверь локальные диски главного компьютера. Ключевые слова: молодильное яблоко, нск-терапия, кощеева игла.

— Нет результатов.

— Облако. Запрос к Центральному Облаку. Показать данные всех филиалов по объекту «Клон-Банк».

— Объект не найден.

— Фармацевтический завод «Молодильное яблоко».

— Объект не найден.

Леднев вернулся в кабинет, циркульным шагом прошелся из угла в угол, остановился посередине, уставился в пол и, разведя руками, пробормотал:

— Прекрасно. Отличный денек. Клон-банк протух. Документов нет. Фабрики нет. Ничего нет.

— Ну-ну... Без паники, Дима, — ласково сказал Мефодий. Он так и стоял у вешалки в прихожей. — Все ведь можно исправить. У тебя ведь есть формула? — он постучал себя пальцем по виску. — Ты ведь помнишь ее?

Леднев упал в кресло и зло рассмеялся.

— Так ты за этим пришел? За формулой? И как ты надеялся ее получить?

Его тон и смех сбили с толку Мефодия. Но приободрясь, он прогудел торжественным церковным басом:

— Через таинство исповеди. Пред лицом смерти. Присмотрись — и ты увидишь ее совсем близко.

— Я только рожу твою вижу. Если так выглядит смерть — значит, я умру от смеха.

Мефодий крякнул:

— Я серьезно, Дима. Исповедаться тебе надо. Снять с души грех.

— Какой? У меня их много.

— Сам знаешь какой. В котором ты ни разу не признался.

Намекает на Кохана, собака. Неужели и правда верит во все эти слухи.

— Проваливай.

Мефодий покачал головой и кряхтя полез обратно в свою шубу.

— Не обижайся, чувак, — сказал ему на прощание Леднев. — Но это была глупая затея. Им следовало бы подослать хотя бы кого-то другого. Без фантазии действуют, по шаблону. Подсылают студенческого друга. А какой ты мне друг, Миша? Ну, согласишься. Ты ведь меня всегда ненавидел.

— А за что тебя любить? — Мефодий хлопнул дверью.

34. Праздник Единения

— Так, — говорит Ментор. — Помните, какой завтра день?

— Да, — отзывается скучным хором. — Девятое мая, День Велико-го Единения Двух Священных Книг.

— Не слышу радости.

Кто бы говорил! Ментор вернулся из ссылки надтреснутым и серым, как высохший кусок хозяйственного мыла.

— Понимаю, — он шагает между партами и постукивает указкой по ладони. — Вам, разгильдяи, оболтусы, лодыри, обидно, что праздник в этом году выпадает на воскресенье, а не на будний день. Что тут сказать... Меня это тоже бесит.

Класс грохнул.

— Цыц! Значит, так... Не расслабляться! Завтра мы идем в гости к нашим побратимам-комусам из 4-го медресе. Так вот. Дорогие мои кохры, не подведите меня. А то проклянусь! Ведите себя достойно. И чтобы все было гладко. А не как в прошлом году.

В прошлом году, когда вайнахи были у нас гостями, праздник закончился мордобоем и двумя ножевыми ранениями. И все из-за Юл-дус, первой красавицы в медресе, — она на кого-то из наших парней

засмотрелась. Досталось и бедной Юлдус, и тому парню. У них там все строго. Мальчики и девочки учатся отдельно, ведут хозяйство отдельно, едят отдельно — только на праздники собираются вместе. Говорят, скоро, к десятой годовщине Двуетинокнижия, у нас тоже так будет. Но я не застану.

Медресе похоже на маленькую квадратную крепость с минаретами по углам и мечетью внутри, в дальнем конце двора. Двор обсажен молодыми деревьями и окружен с одной стороны кельями учеников, а с другой — летними и зимними классами. После торжественной части по земле раскатывают ковры, выносят колонки, и начинается концерт. «Здравствуй, мама, возвратились мы не все», — поет русский народный ансамбль музыкальных роботов под исламскую музыку — печальные, как пыль степей, звуки танбуров летят куда-то и все никак не могут взлететь, их догоняет утиный крик зурны, и все сокрушает слоновий рев карнаев, грохот давулов и литавров: «День Победы! День Победы! День Победы!»

И сердце мое сокрушено. Я снова вижу Тимура вместе с Оленькой. Кажется, они ссорятся: ее руки резко и зло жестикулируют — но меня это не утешает, потому что он отвечает ей ласково, я читаю по его губам: «Ну, что ты, что ты... Маленькая моя баобе²⁰». И почему я решила, что такой, как он, может любить такую, как я?

На ковры выбегают девушки в национальных костюмах — объединенно-фольклорный ансамбль песни и пляски братских народов — и плывут, и кружатся, как моя голова. Смеркается. Когда же это кончится? Никогда. «А теперь – дискотека! По случаю великого праздника Двуетинокнижия, согласно указу Государя, всем кохрам и комусам дозволено танцевать совместно, как отрокам, так и девицам! Танцую, будьте бдительны, соблюдайте целомудренную дистанцию». Из келий выносят светомузыку, организаторы бегают, что-то к чему-то подключают, путаясь в проводах.

Все-таки они рассорились. Тимур с отчужденно-загадочным видом стоит в одном углу, Оленька с глазами скорбящей мученицы — в другом. Ее увещевают подруги. Взвизгнув динамиками, грохнула музыка, рассыпались во тьме разноцветные огни, пульсируя в ритме крови, понеслись по кругу мотыльки зеркальных шаров. Дэмц-дэмц-

²⁰Детка, возлюбленная (кит.) — употребляется в подростковой среде, когда нужно подчеркнуть возвышенность чувств.

дэмц-дэмц. В резких вспышках мелькают изломанные тени танцующих. Разбитый по кадрам Тимур движется в круге.

Я закрываю глаза. Дэмц-дэмц-дэмц-дэмц. И ветер, и дождь, и солнце, и трава, и облака, и течение воды в реке, и пламя, расслаивающее пространство, — все, что я так люблю, разве принадлежит мне? Разве, любуясь природой, я жду взаимности? Почему же с Тимуром все иначе? Разве в нем меньше свободы, меньше тайны? Почему же мне так хочется схватить и удержать его? Глупо. Разве можно схватить и удержать ветер или пламя? А человека? Разве пламя тоньше человеческой души? Просто вот — есть ты, сама по себе, а есть он, сам по себе, и все. Как явление природы. И нечего тут хотеть, не о чем переживать. Можно ведь просто любоваться и больше ничего. Просто любоваться.

Я открываю глаза. Тимур танцует с Ритой. Внезапно, на миг, мне показалось, что я уже давно умерла и просто вспоминаю все это, корчась в аду. Все это словно со мной уже было и зачем-то снова происходит... И так будет всегда. Вечно. Потому что именно так и выглядит ад. Как дискотека, где с любимым мальчиком танцует твоя подруга. Все в глупых прыгающих огоньках, кругом мигает, и рывки света выхватывают вместо движущихся фигур статичные, раз и навсегда оцененные силуэты.

— Почему не танцуем? — раздается сквозь шум голос Юрочки.

Я не заметила, как он подошел.

— Не хочется.

Он стоит рядом, покачиваясь в такт музыке. Он него пахнет сыро — хлебным мякишем и подмышками. Его волосы, мокрые от пота, серыми прядками липнут на глаза, которые в переменчивом свете кажутся совсем маленькими, как дырочки в розетке.

— А почему больше не гуляем, как раньше? — улыбаясь, он слегка кривится от необходимости говорить громко.

И все в его улыбке кажется мне теперь некрасивым: мягкие бесформенные губы, слабый блеск прозрачных голубоватых зубов.

— Как раньше? — повторяю я.

Он что-то отвечает — в этот момент колонки взвизгивают и выстреливают басами. Я мотаю головой:

— Ничего не слышу!

— Брось! Я же вижу: что-то с тобой не то происходит!

— Кто приходит?

Он усмехается и, наклонясь, в самое ухо кричит:

— Ты все-таки странная! Не могу понять: то ли слишком умная, то ли совсем дурочка!

— Конечно, дурочка! — кричу я. — Но не совсем! Поумнее некоторых дураков!

— Например?

— Например, которые сразу двум дурочкам в любви объясняются!

Он закрывает лицо рукой:

— Ох, ну ёлки... Это тебе Рита сказала?

Я снова мотаю головой, показывая на уши — мол, не слышу. Делаю вид, что внезапно чем-то заинтересовалась где-то там, и лезу сквозь толпу сама не зная куда.

Рита сказала... Выходит, она тоже тогда все поняла. А я-то думала... Я думала, из нас двоих я одна такая проницательная. Но что мне теперь до нее? Риты больше нет. Никого больше нет. Когда это началось? Трудно сказать. С той злополучной Охоты на Пасху? Или с моего дезертирства на Зарнице? Или с позорного геройства на Вихляйке? Мне до сих пор снится Люсина рука. Чертова паучья лапка. Она то бегает, шкрябая ногтями, по комнате, то мирно лежит на подушке ладонью наружу, то стоит вазой на столе, держа в кулаке букет колонковых кистей, то душил меня, то складывается в кукиш...

Рита несется в танце и хохочет во все зубы, припадая к Тимуру на грудь. Меня тошнит. Мне душно, какая-то черная тварь сдавила мне горло. Пустите, пустите! — бормочу я, пытаюсь вырваться, тыкаясь в какие-то спины, не понимая — откуда вырваться, куда... Я ослепла и оглохла. Тых-тых-тых — доносится музыка словно из-под воды. Пустите, пустите!

Когда барабаны заиграли лезгинку и Рита пошла в хелхар вместе с нохчи-девушками — Юрочка отошел к стене и с болезненной вялой улыбкой наблюдал, механически отбивая ладонями ритм. Воропай встал рядом с ним, не отрывая от Риты взгляда. И тут перед Ритой закружил местный красавец Баштар — в черном трико, в красной черкеске с газырями по груди — вскакивая на носки и широко раскидывая квадратными рукавами, отчего его тонкая, стянутая ремнем талия казалась еще тоньше. Рита стрельнула в Баштара сияющими глазами и пошла с ним парой, поплыла мелким шажочком вдоль его темпераментных прыжков, взвихрений и наскоков. Глаза Воропая набухли кровью и печалью, как это бывало у него перед дракой.

— Знаешь, кто этот Баштар? — спрашивает кто-то кого-то рядом со мной. — Ему Базлаев наваял — помнишь, зимой, в кулачном бою на Вихляйке. Их двое было... Этот вот гусь. И еще один...

Я вспоминаю разбитые губы Юрочки, фингал у него под глазом, снежные хлопья, белые кляксы, опрокинутую в сугроб Риту, свою ревность, спущенные в унитаз рисунки. Как давно это было!

— А эта сучка гля как перед ним стелется.

— Не, ну чо, красиво рассекает. Чисто леблядь.

— И чего это Цыганок по ней так загоняется?

— Может, у нее сиськи лепые?

— Лезга говорит, что щупал ее сиськи...

— И как?

— Никак. Доска, тоска и два соска.

Они ржут с каким-то гнусным взвизгом.

Я не сразу понимаю, что они говорят о Рите.

Как бы отсюда уйти? Вижу: Великанова с Усмановой стенку подпирают. Подхожу к ним: «Давайте у Ментора отпросимся домой, а то надоело». Они мнутя — Усманова, видно, еще надеется на что-то, а Маше как всегда все равно, лишь бы не выходить из стазиса, — но все-таки соглашаются. Ментор дает нам в провожатые Юрочку и Воропая — оказывается, они тоже хотят уйти и караван себе ищут. Два месяца назад я бы, наверное, обрадовалась: прогуляться с Юрочкой, да без Риты — такого еще не бывало. Но теперь я чувствую только разочарование.

Напоследок я оглядываюсь — Рита уже не танцует, а стоит рядом с Баштаром, в кругу его доттагов, и звонко хохочет. Я смотрю на Ритины зубы, как она скалится, облизывая резцы кончиком языка, — и меня грызет когда-то уже испытанное мерзкое чувство, будто на этот образ накладывается что-то иное: тот же оскал, но неподвижный, и кончик языка — как угол подушки — сизый, пухлый...

— Ну, ты идешь? — зовет Усманова.

Мы выходим.

Стоит прозрачный майский вечер. Дорога идет через парк, превращаясь в тропинку, петляющую между деревьев. Здесь уже повсюду робко цветет и зеленеет весна, источая нежнейшие запахи смолы и пыльцы.

35. Мерцающий Глеб

В наушнике заиграли Зузы²¹. Леднев аж дернулся.

Глеб.

Дмитрий Антонович развернул дисплей, увидел лицо правнука, такое же, как свое — треугольное, хищно-насекомое, с глазами по бокам — только молодое, и разволновался. Глеб! Мальчик мой!..

— Ну, чо там, деда, как чо, маршалла, старикан. А я это... Чота решил заскочить, глянуть — чо тут как, не помер ли ты, а вдруг чо. Так это самое, ну, в смысле, все ойланза, да? Ну, деда, я сморю, ты заебцом, прям резкий как огурец, а то я забурсился от печали, ты просто скажи, бача, что типа все шаоньян.

— Да. Все ойланза, — сказал Леднев, стараясь не выдать чувств и нежно хмурясь. — Только давай с сегодняшнего дня без этих вот шаоньянов и всего вот этого... китайского...

— А чо такого? Новая типа линия партии?

— Типа того.

— Да лан.

— Нет, ты, пожалуйста, отнесись к этому серьезно.

— Говно вопрос.

— И не ругайся!

— А чо так?

— Просто послушай меня, мальчик.

— Мегар ду²².

— Глебушка, дай обниму тебя.

— Оффай²³!

Они обнялись голограмно. Росту в нем — два метра пять. Дмитрий Антонович упирается ему в подмышку. Ну, как упирается. Как можно упираться в Зуз-тело.

— Не слышу твоего запаха, Глебушка. У тебя что, не стоит аромо-приложение?

— Чо? Какое приложение? Не, ну ты, бача, совсем отстал. Никто уже давно не ставит эту физику. Молодежь — за чистые отношения!

Глеб взмахнул рукой, изображая пальцами знак «Свобода от телесности» — символ золотой молодежи, неуловимо напоминающий

²¹Зузы (сокр. от «Зоркие Узы») — 3D-видеосвязь в пределах Садового Кольца.

²²Ладно (чеч.)

²³Ой! (чеч.). Употребляется во всех непонятных ситуациях

приветствие хакер-анархистов. Забавно. Кажется, это называется парадоксом магнитной подковы. Когда к противоположным концам притягиваются однородные предметы. Что может быть более несоместимым, чем хаканарх и Глеб?

Глеб одет в ультрамодную тройку из огненного льда — и поэтому кажется, что он все время горит синим пламенем. Высокий воротник обволакивает его лицо до бровей прозрачными, текучими слоями холодного огня.

— Дай хоть лицо твое разглядеть. Да выключи ты это свое сияние, ради бога. Хоть на минуту.

— Оффай!

— Ты петар купил?

— Какой петар?

— На который ты у меня деньги утром клянчил.

— А! Не. Все ж пошло по звезде. Банки, кошельки, торговые лавки, всё. Седня ваще какая-то бурса в городе. Нас тут заперли на работе, запретили выходить наружу, прикинь... И чой-то я клянчил? Я отдам.

— Забудь... — внезапно Леднев расклеился и чуть не заплакал. — Честно говоря, Глебушка, у меня все плохо. Пациент умер на столе...

— Айю²³! И чо терь?

— Я же просил тебя...

Глеб изобразил жестом, будто застегивает губы на молнию:

— Все, все. Так это... Чо я сказать хотел... А! Ты там держись, чо. Я уверен, ты не виноват. Да, бача?

Леднев устало махнул рукой:

— Виноват, не виноват... Все еще хуже.

— Не, ну ё! Всем хуже! Это ж конец света, все потеряли свои деньги.

— Все еще хуже, — повторил Леднев.

Глеб открыл было рот, чтобы возразить, но замер. Глаза его округлились.

— Стоп. Ты говоришь про клон-банк? Клинику хакнули?

Леднев медленно кивнул:

— И фабрику. И все филиалы. Ни одного образца, ни одного документа. Пусто.

²³Возглас огорченного удивления (от кит. «ой, ох, ого, ничего себе»)

Глеб несколько секунд смотрел на него остекленевшим взглядом и вдруг взвился как ошпаренный.

— Ааа! — заорал он. — Мы все умрем!

— Перестань паясничать. Мы действительно все умрем.

Глеб поднял руки вверх — сдаюсь — и рассмеялся.

— Чой-то умрем? — сказал он беззаботно. — Не, ну ты чо, бача? Не бурси. Типа вещество пропало — и все пропало? У тебя ж есть голова, а в голове — формула. Ты ведь помнишь формулу?

Он постучал пальцем по виску.

Где-то я видел уже этот жест. И слышал эти слова.

Глеб снова включил холодное сияние. Леднев, как в кошмарном сне, всматривался в его меняющиеся черты.

— Береги голову, бача, — добавил Глеб с непривычной серьезностью.

Его тон, незнакомый и какой-то почти коварный, почти угрожающий, привел Леднева в чувство. Он снова обрел хладнокровие — так с ним бывало всегда, когда он замечал в обыденных явлениях признаки опасности и жути.

— Наоборот, — задумчиво промолвил он. — Я могу, наконец, расслабиться. Теперь мою голову будет беречь целый Тайный Комитет.

— Да ладно. Ты чо? Уберег он твою клинику?

— Что ж, — Леднев помолчал. — Почему бы для разнообразия и не умереть. Может, это и правильно? Жизнь, конечно, приятная штука, но возможно, я сделал ошибку, изобретя слишком долгую жизнь.

Глеб надулся.

— Ты, ты, ты. Всегда ты, всегда думаешь только о себе. Ты прожил молодым почти до ста лет. А как же я? Я что, должен состариться в 50 и сдохнуть в 70, как все эти лаптенogie замкадыши? Ты обо мне подумал? Да ладно, хрен со мной — о людях? О Государе?

Леднев молчал. А ведь и правда: не пора ли все это прекратить? Зачем так долго растягивать свое существование? Чтобы приблизиться к ветхозаветным стандартам? Но мы к ним не приблизимся, Бог не заговорит с нами из горящего терновника, и наше существование не наполнится высоким пафосом и библейским по масштабу смыслом. Наоборот. Вечная жизнь — это путь к деградации человечества. Мы делаем что-то, потому что нас подгоняет смерть. И чем острее человек чувствует смерть, тем полнее он живет — когда знаешь, что каждый миг твоей жизни может быть последним, тебе жаль тратить время на

суету и дрему. Так совершаются сильные поступки и открытия, так человек прорастает сквозь себя в будущее. По сути, все хоть сколько-нибудь значительное создается в попытке избежать смерти — кто-то надеется спасти свою душу, кто-то — увековечить свое имя... Но если избегать будет нечего, человек превратится в сплошное брюхо, разум его постепенно угаснет за ненужностью — возникнув как эволюционное приспособление для выживания, он исчезнет вместе с необходимостью выживать. И через тысячи лет человек будет представлять из себя что-нибудь вроде бессмертной амебы, вся забота которой — сучить ложноножками в фагоцитозе или замирать в цисте, пережидая плохие времена.

Но может быть, в этом и состоит высший замысел? Может быть, Лидия Аркадьевна права в том, что Бог позволил мне создать «Кощееву иглу», — и значит, на то была его воля? В конце концов, кто сказал, что человек разумный более ценен Богу, чем амеба? Мы сами так решили. На общем собрании. И выдали наше решение за мнение Бога. Наша картина мира антропоцентрична — даже та, которую мы называем теоцентричной, т.к. наш Теос антропоморфен. Что есть тогда наше представление о разуме? Мы ограничены сами собой: для человека эталонная мера разума — сам человек, и этой мерой мы измеряем все живое, видимое и мыслимое. Мы слепы за пределами себя. И может статься, что Бог создал весь этот мир для амеб, а мы — случайно разросшаяся плесень в его чашке Петри.

Впрочем, все это пустое. Рассуждать о том, на что ты не можешь повлиять, — занятие для нытиков и прожектеров. А я уже не могу повлиять на судьбу «Кощеевой иглы». Это она теперь управляет моей судьбой. Вместе с РЕВ-препаратом.

Он поднял глаза на Глеба и грустно улыбнулся.

— Да ладно! — крикнул Глеб. — Ты чо, не, ну чо ты? Ты издеваешься, да? Или совсем уехал? Ты совсем уехал, да? Хей! Деда! Вернись!

— Ты прав, Глебушка, надо думать о других... Ох, совсем забыл! — спохватился он. — У меня же для тебя угадай что есть? — Дмитрий Антонович показал ему колпак с автографом Верховцева. — Немного размазалось, но это потому что он, поверишь ли, в этот самый колпак плакал. Так даже ценнее! А? Автограф со слезами самого Верховцева!

— Кто это? — недоуменно насупилсся Глеб.

— Как это кто?! Верховцев! Ну! Коля Трехочковый!

Глеб замерцал, фальшиво рассмеялся и стукнул себя по лбу:

— Ах, да! Верховцев! Да-да... Конечно! Баркалла, деда. Прости, совсем я чо-то. Такая херня кругом, сам понимаешь — все из башки вышибло.

— А представь, каково мне. Эта смерть на столе... Ненавижу такие дни. Всегда чувствуешь себя виноватым.

— Да! — жадно подхватил Глеб душевную ноту. — Тыща сомов, тебя заклинило на этой смерти! А чо так? Как будто у тебя первый трупяк в практике! Ну? Брось дурное! Тех пережил, и этого переживешь. Ну, Портной, ну и что! Были выпы и покруче!

Леднев откинулся в кресле и медленно, театрально огляделся:

— Кто сказал Портной?

— Ты, — резко замелькал Глеб.

Дмитрий Антонович покачал головой:

— «Ты» — все-таки слишком фамильярно. Наверное, нам стоит перейти на «вы». Товарищ майор или как вас там, не имею чести... Хотя сперва было очень похоже, да. Но украсть чужое зуз-тело — большого ума не надо, наверное... Зато как вас легко развести, а? Раздва — и готово. Положите вашему начальнику заявление об уходе. Потому что мой правнук Глеб никак не мог знать, ниоткуда, что на столе у меня умер Портной.

— Оффай, — поднял руки мерцающий Глеб. — Признаю свой косяк. Только вот самая интересная мысль от тебя ускользнула, деда: а что если твой обожаемый правнук Глеб действительно знает об операции с Портным? И даже побольше тебя? А? Чо тогда? А, бача? Ты меня проклянешь?

Дмитрий Антонович секунду смотрит на него и затем быстро, испуганно отключает связь.

36. Рита

Вечером вдруг — тревога: кто-то попал в зону одиночества.

Оказалось — Рита.

Охрана получила сигнал Спутника от ее светляка, тотчас выехала на место локации, нашла ее где-то в парке, избитой и раздетой, и отвезла в тюремный лазарет.

Ментор имел загнанный и похоронный вид, на лице его читалось:

пора готовиться к новой ссылке. Его, Морковку и других воспитателей — тех, кто был в тот праздничный день в медресе и отвечал за поведение учеников — по очереди возили на допросы. Однажды приехали и прямо с уроков забрали сразу четырех наших парней: Воропая, Цыганка, Самойлова и Карпенко. Оказалось, Рита обвинила Цыганка и двух его приятелей в избиении, а Воропая в изнасиловании.

Меня, Базлаева, Усманову и Великанову тоже допросили — все мы подтвердили, что Воропай ушел вместе с нами за два часа до происшествия. Комендант общежития, вахтеры, охранники и нянечки подтвердили, что Воропай прибыл в школу вместе с нами. Наружные и внутренние камеры наблюдения показали то же самое. Но Рита стояла на своем. И следствие продолжало вызывать свидетелей — для порядка.

Кто-то показал, что Рита ушла с праздника с Баштаром и его доттагами, кто-то — что ее провожала группа Цыганка. Кто-то подтверждал, что Воропая не было ни в одной из групп. Кто-то видел, что группы наших и нохчей вышли вместе и потом разделились, но не мог вспомнить, с кем из них осталась Рита и был ли там Воропай. Показания путались.

Еще бы! Когда праздник закончился и все вышли из медресе — по закону гостеприимства комусы проводили наших до границ исламской директории. Кто с кем и на какие группы разделялся по пути — установить теперь было сложно: даже Ментор с Морковкой упустили из виду, как тасовалась и двигалась толпа.

Понедельник, вторник, среда — ничего: Рита продолжала стоять на своем. А нас затаскали по кабинетам. Наконец, следствие решило прибегнуть к «сердечному вразумлению». Для вразумления призвали Ментора как воспитателя класса, а Ментор — Юрочку и меня — как прямых свидетелей по делу и самых близких из свидетелей друзей Риты. Следователь выдал нам пропуск на троих и спецэкипажем доставил в тюремную больницу.

Нас провели в зал свиданий. Это была тесная комната, разделенная решеткой надвое: одна сторона — для посетителей, вторая — для заключенных. Две охранницы — здоровенные тетки с лошадиными бицепсами — ввели Риту.

Я ее не узнала. Разбитые губы и нос, вокруг глаз — черные синячки, отек по всему лицу. Из-под гематомных век тускло и затравленно выглядывали когда-то сверкающие синим пламенем зрачки.

— Что, страшная, да? — засмеялась она неподвижным, распухшим ртом.

Она смотрела на Юрочку. Тот сидел, уронив голову в плечи, закрыв лицо руками.

— Гамаюн, — сказал Ментор с чувством. — Рита. Девочка моя. Послушай меня. Вот что я тебе скажу. Ты это... Откажись от своих обвинений. Поступи разумно — и с тобой поступят так же...

— Не откажусь.

Ментор страдальчески поморщился.

— Ну, хорошо, давай подумаем, что можно сделать. Доказательств у нас нет, свидетелей нет, у Воропая алиби — и что мы имеем? Все уверены, что ты лжешь. Понимаешь?

— Я не лгу!

— Цыганок, Самойлов и Карпенко утверждают, что не притрагивались к тебе. Говорят, мол, ты их обвиняешь потому, что они видели, как ты ушла с чеченцами.

— Неправда! Все было не так.

— А как?

— Я вышла в полдевятого из медресе, все расходились. Меня провожали Амина и Зайна, Баштар охранял нас. Впереди двигались наши толпой. И позади были люди. Потом с нами поравнялись... эти трое, Цыганок и его дружки... И начали цеплять Баштара... Не помню, какие-то шуточки тупые, но Баштар стал заводиться, в чем дело? — говорит. Цыганок такой: извини, брат, в мыслях ничего не было, мы же все кунаки и все такое. Анекдоты какие-то стал травить... Стоим, все мирно. Цыганок достал косяк, предложил Баштару.

На слове «косяк» Ментор ахнул и заерзал на стуле.

— Под конец они уже обнимались. А пока стояли, аллея опустела, все уже далеко ушли. Цыганок говорит: спасибо за гостеприимство, уже поздно, мы дальше сами дойдем и за девочкой нашей присмотрим. Это про меня. Баштар еще спросил: а разве можно девочке одной в мужской компании ходить? Цыганок говорит: это моя сестра. И я, дура, почему-то говорю... Да, говорю, это мой заботливый братишка. Я Цыганку доверяла. И пошла домой с ними.

— Значит, Баштар с Аминой и Зайной вернулись обратно, а ты ушла с Цыганком, Самойловым и Карпенко.

— Да. Было около девяти. Мы зашли за поворот на 2-й развилке. Там, где камера разбита. Цыганок остановился и говорит так,

печально: «Плохо, что я обманул его. Ты ведь мне не сестра, да?». Я засмеялась: «Ну, да» — говорю. «А кто ты мне?» — спрашивает. Тут я поняла: что-то не то. Вижу — Самойлов и Карпенко по бокам от меня вот так встали. А Цыганок напирает: «Ну? Кто ты мне?». Я разозлилась. «Никто» — говорю. «Никто, значит. А им?» — показывает на своих дружков. «Им тоже», — отвечаю. «Тогда, может, поцелуешься с ними? Сначала вот Жеку поцелуй, потом Серегу, или наоборот — тебе ведь без разницы, или сразу с двумя. Пацаны, вы ведь не против?». Они заржали. «Зачем?» — говорю. «А зачем ты со мной целовалась? А? Мы ведь друг другу никто?». И так выкрикнул надрывно это «никто», что петуха дал. Мне вдруг жалко его стало и смешно одновременно. «Васечка, — говорю, — дурачок, ты только смотри не заплачь». Его аж всего перекосило — и он ударил меня. Кулаком с размаху. По губам. Я чуть не упала, но те вдвоем подхватили меня, держат. Цыганок подошел и со словами «я тебя проучу, стерва» разорвал мне на груди рубашку до пояса. Я стала вырываться и что-то закричала, не помню. Тогда он ударил второй раз — вот сюда, в переносицу. И все, я отключилась. Очнулась — лежу в овраге, в кустах под дорогой... Голая... Начала ползать по земле, искать одежду. И тут вижу — он стоит... С моей юбкой в руке. Говорит: «Ты не это ищешь?».

— Кто? — спросил Ментор. — Цыганок?

— Нет. Их уже не было. Воропай.

— Стоп, — сказал Ментор. — Ну, допустим, в историю с этими тремя можно поверить. Но Воропай! Ты же этим Воропаем все зачеркиваешь! Все сразу выглядит враньем.

— Но это был он.

— Как он там оказался? Один? Как он от школы туда в одиночку добрался?

— Он невидимка, — сказала Рита.

— Ну, хватит! Что за чушь! Его вчера просканировали — светляк на месте. И даже если бы он был невидимкой, твой светляк бы сработал, как только эта троица отошла бы от тебя на десять шагов. Никакой невидимка просто ничего не успеет с тобой сделать. И видимка тоже. Так что нет разницы: невидимка он, или видимка — вы бы не смогли остаться вдвоем наедине. Пять минут максимум — пока едет ближайший наряд полиции.

— Я знаю, — сказала Рита.

— Тогда перестань врать.

— Я не вру. Я не знаю, как он это делает... Но он сам сказал. Еще зимой, когда мы гуляли в парке – я, Дерюгина и Базлаев. Вот, они могут подтвердить. Мы встретили его — он был один. И сказал: «я невидимка». Мы все это слышали.

— Нет, — хрипло произнес Юрочка, не отнимая рук от своего лица.

— Что «нет»?

— Не было его там.

— Как это... — задохнулась Рита, – как это не было?! Юра! Посмотри мне в глаза и повтори. Как это его не было, если он был?

Юрочка поднял голову, выдержал ее взгляд и очень спокойно ответил:

— А так это. Не было его. Нас было трое и больше никого. Ты завралась, Рита.

— Иуда... Подонок! Ты с ним заодно! Ты заодно с ним! Вы сговорились! — закричала Рита, кидаясь на решетку. Охранницы схватили ее и посадили на место.

— Рита говорит правду, — сказала я. – Воропай гулял в одиночку, прятался за деревом, потом вышел. А когда уходил, похвастался, что умеет быть невидимым.

Юрочка вяло засмеялся.

— Очень ценное свидетельство! Все знают, что ты ее наперсница, вот и поддакиваешь ей.

— Вы с Воропаем тоже наперсники — и что? — запальчиво ответила я. — Наше слово против вашего!

— Бабам слова не давали, — небрежно уронил Юрочка, не повернув головы.

— Подонок... Сволочь... — шипит Рита, колотясь от бессильной ярости.

— Так, все, заткнитесь! — устало замахал руками Ментор. — Я тут с вами с ума сойду. Тихо. Дайте подумать. Значит, так... Что у нас есть. Очевидно ложное обвинение против Воропая — раз, — он загнул палец. — И бездоказательное обвинение против Цыганка, Самойлова и Карпенко — два. Ни свидетелей, ни...

— Свидетели есть – нохчи! Баштар, Амина и Зайна! Пусть их допросят! — крикнула Рита.

— Так и придется сделать, — мрачно кивнул Ментор. — Если ты не откажешься от обвинений. И про косяк, и про все остальное. Но тогда дело перейдет в исламский департамент. Мы не можем вести

следствие на их территории. И суд уже будет совсем другой. Будет шариатский суд, Рита. И я тебе скажу, чем все это закончится. Допустим, твои чеченцы засвидетельствуют, что ты ушла с группой Цыганка. Но это не доказывает, что Цыганок тебя избил. И даже если его вина будет доказана — не такая уж это и вина, особенно если он заявит, что хотел тебя проучить за недостойное девицы поведение. Шариат — да и наш Домострой — попускает телесные наказания неразумных жен и дев. И виноватой окажешься только ты. И хорошо, если тебе по суду не добавят еще. Плетей каких-нибудь или палок. А то и чего похуже...

Ментор поморщился.

Рита молчала.

— Теперь по обвинению против Воропая. Изнасилование — это очень тяжелая статья. И у нас, и у них. Это — смертная казнь. Даже если он виноват, и его вину докажут — скажи, ты правда желаешь Воропаю смерти?

— Да. И без последнего причастия. Пусть в аду горит.

Ментор горестно вздохнул.

— Ладно. Это неважно. Важно, что его вину не докажут. И еще привлекут тебя за клевету. И опять ты будешь виновата. А клевета по шариату — тяжкое преступление.

— Это не клевета. Я говорю правду.

— Правда ничего не значит, если она выглядит как ложь. А знаешь, почему она так выглядит? Во-первых — светляки, мы уже говорили об этом. А во-вторых — медицинское заключение. В котором сказано, что признаков насилия нет. Это значит: у тебя была добровольная связь.

— Он угрожал мне.

Ментор закатил глаза.

— Он сказал, что убьет меня, вырежет из моей головы светляка, и труп никто никогда не найдет.

— И ты поверила?

— Он сказал: я убил уже несколько таких шлюх. Он маньяк.

Юрочка насмешливо пробормотал:

— Да-да. А еще он сказал, что он инопланетянин и убил своих гнездовых родителей по заданию галактической разведки.

Ментор благодарно кивнул ему.

— Маньяк, значит, — вздохнул он терпеливо. — Тогда почему он не убил тебя?

— Не знаю. Откуда мне знать? Я была раздета... Избита... Я ничего не понимала... Мне было страшно... Стыдно... Я просто... просто...

Она разрыдалась.

— Вот видишь, — мягко сказал Ментор, — как все это тяжело и противно обсуждать. Ты уже натерпелась. Зачем умножать страдания? Зачем выносить сор из избы? Не надо. Всем будет лучше — и нам, и тебе... Отзови обвинения — и дело с концом. Убережешь себя от шариатского суда. Школу — от позорной тяжбы. Родителей своих — от горя. Тебя ведь любят родители? Отец тебя балует, каково ему будет, а? Ты подумала об этом?

Ментор вдруг, как фокусник, выдернул из-за пазухи ее легендарный сказочно-алый хиджаб, струящийся, невесомый, воздушный, будто лента облака на закате.

— Ольга Марковна разрешила тебе его носить. Он будет дожидаться тебя в твоей комнате. Возвращайся к нам. Представь, ты вернешься, откроешь свою тумбочку — а он там лежит. Подарок твоего любящего отца. Кто еще дарит своим дочерям такие подарки? Ты ведь не хочешь сделать ему больно?

Все ее черты по-детски вытянулись и задрожали, из глаз покатились слезы. Рита в одно мгновение сломалась.

— Ну вот, ну вот... — приговаривал Ментор. — Давай сделаем вид, что ничего из того, что ты рассказала, не было... Тише, тише! Я не говорю, что ты врешь! Я говорю, что нет доказательств. Есть только один точно установленный факт — ты по какой-то причине оказалась тем вечером в зоне одиночества. Все. Это не бог весть какой криминал. Тебя слегка накажут, самое большее, что тебе грозит, — одиночная камера дней на двадцать. Лечение подобного подобным.

Рита поникла и только вздрагивала от беззвучных рыданий.

— За что ее наказывать? — не выдержала я. — Это несправедливо. Можно же легко проверить, кто тут врет. Пусть нас всех допросят под сывороткой правды.

Рита перестала плакать и с надеждой посмотрела на Ментора. Но тот досадливо отмахнулся:

— Дети, дети! Сыворотка правды — очень дорогое удовольствие и применяется только к государственным преступникам.

— А по телеку говорят, что дешевое, — сказала я.

Ментор рассердился:

— Уж ты хотя бы молчи, Дерюгина. Не умничай. Дешевое по

сравнению с другими видами допроса при расследований тяжких преступлений против основ Государства. Главное слово здесь «преступления против основ Государства». К нам не относится. Значит, так... Короче, Гамаюн... Рита. Дорогая. Я твой воспитатель, я много лет опекал тебя, заботился, я болею за тебя всей душой... Поверь... Послушай моего доброго совета. Это дело лучше замять, признай свою вину одиночества и...

— Здесь нет моей вины! — отчаянно закричала она. — Я что, по своей воле оказалась в ЗОДе?! Я была без сознания! Эти гады!.. А потом... Потом... Этот мерзкий Воропай... Эта тварь ползучая, холодная, злобная, бесовская личина! Он бы убил меня, я знаю... Он... Он... Не человек, он не человек!

Рита выглядела страшно, она плакала, смеялась и кричала одновременно. Охранницы держали ее.

— Это какое-то... кликушество уже, — пробормотал Юрочка.

Замечание не укрылось от ее чуткого слуха.

— А ты... — она ткнула в него пальцем. — Ты такой же! Только хуже! И гаже! Иуда... Никогда не прощу, никогда!

— Опомнись, Рита. Ты не Иисус Христос, — надменный голос его дрогнул.

— Да! Но когда я пред Ним предстану, я попрошу, чтобы всех вас поджарили в одной сковородке!

— Гамаюн! — закричал Ментор и застучал невидимой указкой.

Но ее было не унять.

— Твари! Сволочи! Я там валялась одна... Как падаль в канаве... Как падаль! А теперь мне шьют одиночество?! Нахрен мне не сдалось это ваше долбаное одиночество! Двадцать дней! Двадцать долбаных дней карцера! Да я там, блядь, с ума сойду! Я не вынесу, я не хочу, не могу быть одна... Суки!.. Лучше бы я сдохла в том овраге!..

Ее увели. Последние слова она выкрикивала уже за дверью камеры свиданий.

— Ну, и что с ней делать? — развел руками Ментор, когда мы вышли из тюрьмы.

— Ее нужно на психиатрическое освидетельствование, — сказал Юрочка. — Она безумна.

Ментор посмотрел на него просветленными глазами.

— А ведь ты прав! Да, Юра! Да. Это выход. Да... И вообще, ты держался молодцом... Кремень! Учись, Дерюгина! Вот как надо работать.

— Что значит работать?

— Значит помогать следствию, а не мешать ему.

— Я и помогала, — сказала я.

— Дура! — вдруг накинулся на меня Юрочка — Думаешь, ты помогла ей? Она теперь готова до конца идти. До шариатского суда. Ты не понимаешь? Если бы мы могли убедить ее, что все ее обвинения — ложь и бред, мы бы могли спасти ее!

— Надо же, — мстительно сказала я. — У тебя тоже зуд спасателя?

— Ну, я хотя бы никого пока не утопил.

— Дети, дети! — взмолился Ментор. — Не грызитесь! Я так устал. Сожрите где-нибудь друг друга — только чтоб я не видел. Не при мне!

В тот же вечер Рита отозвала все свои обвинения. Трюк ли Ментора с хиджабом сработал или что-то еще — кто знает. Ее отправили в карцер на две недели — до конца учебного года.

37. Лебединое озеро

Интересно, будет ли по этой нейрограмме проведено новое следствие? Вряд ли. Даже если бы там обнаружилось на тридцать статей преступлений... Кого волнует, что происходит на зонных территориях? Особенно в детских городах. Судебные ошибки, фальшивые светляки, резня бензопилой, лечение молитвой... Естественный отбор.

И ведь я сам поспособствовал этому. Я невольно открыл новую эру «духовно и физически здоровых детей», эру русского спартанства. Моя НСК-терапия изменила всю демографическую политику. Нет, разумеется, первый лавр — роботам. Которые вытеснили из мегаполисов всю эту многомиллионную человеческую армию рабочих и полых. Нянек и брадобреев. Таксистов и строителей. Все исчезло — и чумазый пролетарий, и офисный планктон. Эти белковые передаточные механизмы постепенно выпали из цепи «сырье — производство — сервировка — желудок». Их заменили идеальные абиотические рабы: не болеют, не уходят в отпуск, не косячат, не ждут повышения, не ноют о прибавке к зарплате и не бунтуют. Именно тогда Москва и начала закрываться, отсекал обменные связи с окраинами, превращаться в замкнутую систему.

С приходом НСК-терапии у элиты открылась перспектива относительно вечной молодости и неограниченной фертильности — это

означало, что очень скоро, кроме потомков элиты, в мегаполисах ни для кого просто-напросто не останется места. Так произошло окончательное окукливание и засекречивание Москвы, Питера и нескольких других крупных городов державного значения. В то же время была принята доктрина «о естественном оздоровлении нации», касающаяся детей плебса. Она гласила, что дорогостоящая и трудоемкая забота Государства о больных и нежизнеспособных детях не только экономически неоправдана, но и противоречит духовным традициям самого народа, который, как показывает история, тем здоровее, многодетнее и ближе к Богу, чем меньше он заботится о теле и чем больше — о душе. Отныне — никаких прививок (благо, народ их боится). Никакого лечения, кроме любимых народом трав, заговоров и припарок. Выживают только самые приспособленные, самые иммунно и психически крепкие — вот они-то как раз государству и полезны. Рекруты будущего процветания нации. Обожженная глина, закаленный металл. Победа над гниющим западом, над обществом утерянного иммунитета. Абсолютная гармония желаний власти и народа.

Леднев закрыл нейрограмму и устало растер глаза.

Так. Почти шесть. Когда уже снимут режим ЧП? Долго они еще будут нас взаперти мариновать? Сколько еще ждать этих «дальнейших указаний»? Что там происходит снаружи?

— Стена. Покажи-ка новости за день.

На центральной панели включился экран.

— «Аномальная погода для сентября. Из-за снежного урагана многие москвичи застряли в пробках и опоздали на работу. Городской голова заверил Помазанника, что Силовой Купол над Москвой будет готов ко дню Празднования Сороковой Годовщины Его Коронования...»

— Дальше.

— «Житель поселка Хрустальный Мост застрелил всю свою семью и покончил с собой. Им оказался заместитель начальника 17-й службы УСБ КТБ...»

— Дальше.

— «Москвичи обеспокоены внезапным приступом активности хакер-анархистов: многие с утра обнаружили листовки и надписи...»

— Дальше.

— «В Ипатьевской слободе зарезали выкреста. Местные власти

говорят, что это провокация — орудует банда тайно жидовствующим...»

— Дальше.

— «Генерал армии Евсей Буянович Пацук доложил Верховному Главнокомандующему, что наши доблестные войска на Каспии разгромили врага и захватили кибернетическое оружие...»

— Умную бурю. Знаем, знаем. Дальше.

— Сообщение от Федерального оперативного штаба Национального Антитеррористического Комитета: «Сегодня в 15.35 на все системы Москвы была совершена масштабная кибер-атака запрещенной организации Хаканарх...»

— Дальше.

— Дальше ничего нет.

— Что значит — нет? С обеда никаких новостей?

— Никаких.

— А что есть?

— Чайковский. Лебединое озеро.

— Не понял... Повтори. Я, наверное, ослышался.

— Лебединое озеро. Прямая трансляция. Включить?

— Нет-нет, погоди.

Чувствуя сильное волнение, Дмитрий Антонович снова подошел к окну, долго всматривался и вслушивался. Ничего. Все тот же безлюдный городской пейзаж.

Заиграли Зузы.

На дисплее появилась взъерошенная голова доктора Рыбкина.

— Да, Иван Семенович, слушаю. Расскажите мне что-нибудь хорошее. Отчет готов?

Рыбкин виновато развел руками.

— Тогда какого черта вы мне звоните, дорогой мой? — раздраженно сказал Леднев и тут же опомнился. — Простите, ради бога. Плохой день. Вы что-нибудь выяснили?

— Я изучил все материалы дела, прочитал нейрограмму. И вот что я думаю. Эти ее видения...

— Воспоминания о будущем?

— Да. Я, кажется, знаю, как их объяснить.

— Сделайте милость.

— Ну, кхм... Я пришел к выводу, что это, так скажем, складки

ретроспективной памяти. Смотрите. Мы вводим РЕВ, да? Под его воздействием испытуемый заново проживает прошлое, как настоящее. Поступательно, момент за моментом. И, как в жизни, в каждый текущий момент он сохраняет неведение о последующем моменте. Так должен работать препарат. Но работает не совсем так. Время от времени линейность воспоминаний нарушается — я заметил, что это происходит в моменты проживаемой заново крайней усталости или стресса — и тогда ретроспективная память о последующих событиях может выступать вперед... или назад? — словом, когда пациент находится в какой-то точке хронотопа, которую воспринимает как текущее настоящее, и в эту симуляцию настоящего вторгается более позднее воспоминание...

— Испытуемому кажется, что он прозревает будущее, — закончил Леднев. — Да, именно это я и ожидал услышать.

— Однако, — сказал Рыбкин, — такое объяснение не применимо к тем случаям, когда она прозревает что-то, о чем априори не может помнить и знать. Например, ее видения умной бури — железные тучи и огненный дождь.

— Чепуха, — сказал Леднев. — Мало ли какие тучи ей привиделись. Совпадение.

— А Хаканарх? Она явственно видела слово Хаканарх!

— Некоторые вещи и слова просачиваются в зону светляков, вы же знаете. Особенно маргинальные.

— А ее видения про мужа-калеку?

— Мы всерьез будем обсуждать все девичьи фантазии?

— А если это не фантазия, если это сбудется?

— Вот тогда и поговорим. Послушайте, друг мой, — нетерпеливо поерзал Леднев. — К чему вы клоните? Все ваши доводы — скорее не за, а против РЕВ-препарата. Они меня лишний раз убеждают, что он неэффективен и не отвечает заявленным требованиям.

— Погодите, погодите, Дмитрий Антонович. Вы ведь сами знаете — недостаточно экспериментальных данных, мы имеем всего лишь один случай...

Леднев махнул рукой:

— А, бросьте! И одного достаточно. Мы им что обещали? Универсальный препарат, воздействующий на любого человека. Препарат абсолютной правды, идеальной памяти, без ловов и уж тем более — без ложных воспоминаний о будущем.

— Вот! — Рыбкин вытаращил глаза. — Идеальная память! Вот об этом я и хотел... Вот почему я звоню! Послушайте! Только не смейтесь... А что если вы действительно создали препарат идеальной памяти? Совершенной памяти?

— Не понимаю, — пробормотал Леднев.

— Смотрите. Мы привычно думаем, что память — это только о прошлом. В силу нашего линейного восприятия времени. Когда вы создавали препарат...

— Мы! Мы создавали препарат, дорогой мой. Вся лаборатория. Не обижайте меня этим «вы». Я никогда не приписывал себе результатов коллективного труда.

— Но если бы не ваш гений...

— Бросьте, бросьте. Ближе к делу.

— Хорошо. Когда... мы создавали препарат на основе вашей идеи о точке универсума...

— Это не моя идея. Это старая как мир идея, и вообще какая-то квазирелигиозная чушь, я, видимо, ляпнул что-то такое для смеха в отвлеченной беседе, а вы...

— Умоляю! Дмитрий Атонович! Нет времени! Позвольте мне договорить, пока не разорвало связь! А иначе... разорвет меня!

Леднев выставил вперед ладонь:

— Я уже все понял, не трудитесь. Вы хотите сказать, что мы случайно, работая над идеальной памятью о прошлом, попали в точку универсума — идеальную память обо всем времени.

— Да! — воскликнул Рыбкин, триумфально воздев руки.

Леднев грустно покачал головой.

— Увы, мой друг. Это глупо. Это крайний детерменизм — считать, что будущее можно увидеть не как прогноз, а как свершившийся факт. Это означало бы, что все предопределено заранее. Что будущего, по сути, нет. Иначе мы бы имели дело не с «воспоминанием о будущем», как у испытуемой девицы... А с бесконечно разветвленной сетью вариантов воспоминаний. Мы бы имели дело с хаосом потенциальностей. Таким множеством различных версий жизни, что...

Рыбкин каждое его слово подтверждал восторженным кивком:

— Может, так оно и есть? Просто мы не видим? Потому что... Потому что находимся внутри одной из версий?

Леднев пожал плечами:

— Ну, теоретически. Допустим. И что? Послушайте, друг мой. Я не

силен в этих всех теориях струн, квантовой механике и прочих тропинках Борхеса, мы тут можем блуждать до бесконечности...

Он не договорил: воздушный дисплей схлопнулся. Связь выключилась.

«Хотя... — вслед прерванному разговору подумал Дмитрий Антонович. — Пожалуй, что-то и правда в этом есть. Откуда нам знать, как оно все на самом деле? Может, действительно, версий — бесконечное множество, а мы не видим, замкнутые в одной из них? Может, бог многорук, как Шива, только рук у него не восемь, а бесконечное множество (впрочем, если восьмерка символ бесконечности — все сходится, как забавно) — и каждая рука одновременно пишет свою законченную версию мира, и в каждой версии — другая версия нас»...

Он рассмеялся. До чего ты дошел, Леднев. Символы, числа, «все сходится»... Так и до Лидии Аркадьевны недалеко. Эх, выпить бы. И поспать часов десять. Устал. Как же я, черт побери, устал.

38. Ложные светляки

Пятница, 12 мая. Мой последний день в крипте.

Отец Григорий ходит из угла в угол — так, что со стола разлетаются бумажки, — и потрясая кулачищами, вопиет:

— ...И вдруг на тебе: иконоборцы были правы! А догмат Седьмого Вселенского собора — это вам что, хрень собачья? И мы должны это принять? А завтра скажут наоборот — и снова примем? И снова будем жечь несогласных?

Сегодня в Луче Правды показали казнь раскольника, бывшего настоятеля Копельского прихода. Прокурор сказал, что следствию понадобилась двойная доза сыворотки, чтобы он заговорил на допросе — какой расход бюджету. «Он еще и расхититель казны! — гремел прокурор. — А на вид — посмотрите-ка — божий одуванчик. Просто мастер маскировки. И я не удивлюсь, если он окажется британским шпионом». Изможденный ветхий старик только моргал близоруко в ярком свете прожектора. В приговоре его называли матерым лисом, битым да недобитым, дьявольски лукавым преступником, который распространял хулу на Патриарха, Муфтия и Помазанника, готовил раскольничий бунт и восставал против основ Государства. Отец же Григорий назвал его святым мучеником. «Еще одна мученическая

смерть за веру нашу, за истинную Церковь!» — вскрикивал он умиленно и тут же рычал, грозя кулаком: «Инославные, самосвяты, воздастся вам, бляди!».

Пока он бушевал и неистовствовал, я писала за своим станком третьего дня начатую икону, да только портила. Все мои мысли были стеснены событиями последних дней, я думала о судьбе Риты и не могла понять свои чувства, в которых смешивалось сострадание и злорадство. И что-то еще, какое-то гнусное возбуждение...

— Усыпляют нас красивыми словами: «мы все дети одного Отца, мы все создания одного Творца! Бог у нас один!». Ну-ка, ну-ка, и как же зовут этого нашего общего бога? Иисус Христос? Нет? А догмат о Троице? Тоже нет? А Голгофская жертва? Что? Не было? Тогда что же это за Бог такой — вроде бы тот, да не тот? А я скажу вам! Это бог Авраама! Та же всеересь иудейская, только под личиной исламского экуменизма! Они, видите ли, признают нашего Спасителя пророком. Ну спасибо! В ножки им поклонимся! А ведь могли бы и ножичком по горлу... Спасибо, спасибо. Благодарствуйте. Или вот это их учение... Кадар и Када, о предопределении — это что же такое? Это отрицание свободы воли! Дара Божьего! Разве можно принять такое богохульство?! Какая разница между добром и злом, если и то и другое — начертано рукой Творца?.. Нет, даже не так: не начертано, а — чертится! Они говорят, мол, каждая секунда чертится Аллахом. Вот прямо сейчас, каждый миг Творец якобы созидает зло по своей воле и хотению, да ладно бы только зло — но ведь всякую херню, пакость любую, грязь под ногтями, вот я по нужде, скажем, иду — и что же, это все создает Творец?! Тьфу, прости Господи.

Обличительная речь иерея вдруг подействовала на меня странным образом. Свобода воли... Неожиданно, впервые в этих словах мне открылась черная космическая глубина. Мне всегда казалось, что свобода воли — это что-то о внутреннем мире, о совести, о метаниях человека в плену своих желаний и долгов, о каких-то цепях и мечтах, из которых он то вырывается, то нет, выбирая то одно, то другое, и всегда корит себя за выбор... И вот теперь я увидела эти слова внове — будто извне, в бесконечной дали от себя и от всего человеческого, огненными буквами начертанными по небу — вспыхнув и сгорев, они прожгли дыру нового смысла: свобода воли — это о времени, о невыносимой тайне времени... О каждом моменте жизни — и о будущем, о том, есть ли у него варианты.

Почему я должна думать, что отец Григорий прав, обрушиваясь на «врагов Христовых» и «блядей»? Разве не так было во все времена со всеми раскольниками? Они всегда правы. А те, другие, считают наоборот. И у всех самая верная вера. Как тут понять, чья вера вернее?

А что если правы мусульмане, и все, что происходит, — предопределено, и каждое событие, которое случается с нами, — неизбежно, и нет никакой закономерности, кроме той, что создана Богом, и каждый поступок, каждый мнимый выбор, в каждом отрезке времени и пространства, уже вписан абсолютной Его властью в судьбу — а значит, есть только один экземпляр будущего, рукопись Бога в единственном числе, и никаких вариантов.

— Ряженые! Ряженые! Извратили Писание в угоду врагам Христовым! — гремит иерей. — Как удобно подогнали! Растолковали нам, темным, и про вторую заповедь, и про Спас нерукотворный... Мол, сам Христос, отерев лик убрусом, показал художнику: образ его запечатлен может быть только нерукотворно — вот, значит, и довод против икон... Все с ног на голову перевернули, самосвяты, обновленцы-еретики, двуединокнижники!

— Я не понимаю, — не выдержала я.

— Чего ты не понимаешь? — удивился Григорий, словно впервые заметив меня.

— Ну, вот, в заповеди же ясно сказано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Никакого изображения. Ничего. Все запрещено. Что тут еще толковать?

— Дура! Это про идолов, про и-до-лов! Про болванов языческих. И про искусства разные. Чему вас там учат, на уроках Закона Божьего... Новый Завет читала? Что сказано в Деяниях? «Мы не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». От искусства и вымысла человеческого!

— А кто-то думает, что Бог подобен камню или вымыслу? — сказала я. — Это же глупо.

— Ты с Новым Заветом споришь или что? Совсем обезумела?

— Да нет же, наоборот: я не думаю, никогда не думала, что Бог подобен всему вот этому... Мне даже не надо запрещать так думать. Я не знаю, чему подобен Бог. Может, он подобен ящерице в траве. А может, ничему. Ничему из человеческих вымыслов. Но дело ведь не в

этом. А в том, что в Новом Завете не сказано: не изображай ничего, кроме иконописных образов. И в Ветхом Завете не сказано, что все изображения запрещены, кроме икон. Сказано только: не изображай ничего, и точка. Все. Значит, запрещены все изображения, любые. Иконы, значит, тоже.

— Значит! — передразнил отец Григорий. — Для кого значит? Для тебя, букварь-девица, азбуки есть. Не лезь выше. Вот еще толковательница нашлась.

— Я не толкую. У меня все просто: да — да, нет — нет. Я знаю, я сто раз уже себе это сказала: ты преступница. Ты нарушаешь второй закон. Что тут еще толковать? Это вы там все толкуете, как вам удобно. То правы иконоборцы, то не правы, то нельзя никому, то можно, но не всем... А когда вас толкуют не в вашу пользу, кричите: за что нас сжигают? Противно.

— Противно, да, — вдруг согласился отец Григорий и как-то сразу сник. — Но ты не права. Тобой сейчас владеет холод скептицизма, протестный этот дух ледяной, я знаю, я все это проходил в свои шестнадцать лет. Я думал, что это свойственно только мальчикам... Но смотрю сейчас на тебя — и вспоминаю себя. Тот же с виду тупой камень, а внутри пылает честное детское сердце. Я не могу тебя разубедить. Я очень старый и мудрый, я знаю много слов, но... Весь мой опыт говорит: что бы я ни сказал тебе сейчас — ты не поверишь. Даже если бы вдруг я обратился горящим кустом.

«При чем тут ты, — подумала я. — При чем тут какое-то детское сердце? Что ты можешь знать обо мне? Ты — не я, ты совсем другой».

— Ты, наверное, думаешь сейчас, что я старый пафосный дурак.

— Нет, — соврала я и рассмеялась от стыда. — Просто я... Я злюсь на что-то в себе и думаю сразу о многих вещах, которые не дают мне покоя.

— А ты не думай.

— Как это?

— Да просто. Представь, что все эти «многие вещи» о тебе не думают. Им наплевать на тебя. И тебе сразу станет смешно от мысли, будто они не дают тебе покоя. Это все равно как дерево бы вообразило, что ветер нарочно не дает ему покоя, тогда как ветер вообще не думает о дереве, его гонит неравновесное вертикальное распределение пара, которое создается солнцем, водой и землей, и он тоже сетует: когда же эти сволочи оставят меня в покое, а им и невдомек, над ними свои

сволочи — и так далее... Что? Почему ты так смотришь?

— Я... Не знаю, — произнесла я очарованно. — Я ничего не поняла — и как будто все поняла. Это какая-то тайная наука?

— Это физика.

Я покачала головой.

— Но сами-то вы своей науке не следуете. Вот, бегаете, кричите, кулаками машете.

— Иногда просто нужно выпустить пар, — сказал иерей. — Иначе разорвет. Ну, и есть еще вещи, которые стоят выше физики. А все остальное вполне описывается ею.

— А любовь к ближнему — выше?

— Конечно. Выше только любовь к Богу.

— Так вот мне это покоя и не дает. Что-то у меня не то происходит и с той, и с другой любовью. Вот Рита. Мне казалось, я люблю ее, но... Когда я думаю о том, что с ней произошло, мне становится страшно и сладко одновременно. Мне жаль ее, иногда находит гнев: за что с ней так? Я даже плакала о ней тем вечером... Я знаю, что она несправедливо наказана, жестоко унижена, но... Что-то во мне судит ее и радуется несправедному наказанию и унижению. От чего это злорадство? Наверное, от зависти. Она была такая вся... В превосходной степени. От ее зрачков даже солнце как-то иначе отражалось.

— Все это прелесть телесная, чувственный соблазн. Любила ты ее душой без духа, вот и корежит тебя сейчас. То превозносишь ее в мечтах своих, то топчешь, то жалеешь. Только грязь в своем уме разводишь. Перестань. Молись о ней, и все.

Перестань! Как будто это так просто. Или все-таки просто?.. Может, я то самое дерево, которое качается под ветром? И вся моя любовь описывается тайной наукой физикой, потому что она — не выше. Низенькая такая любовь. Ростом до первого сучка. А за деревом прячется чья-то тень... Я вздрогнула, словно по сердцу мазнуло сквозняком.

Я взглянула на отца Григория. Он готовил новую доску, вырезал в ней ковчег, и вокруг распространялся запах липовой стружки.

— А вот эта ваша тайная наука... Физика... Она может объяснить, как он становится невидимкой?

— Кто?

— Воропай.

— А... Этот...

Отец Григорий отложил стамеску, почесал бороду, оставив в ней древесный завиток, задумался, отхлебнул из фляги.

— Он умный парень? В учебе преуспевает?

— Да нет... Скорее, на все забывает. Учителя ему натягивают оценки. Боятся его.

— Боятся?

— Ну, да. Он немного с заскоком. Психический. Никто связываться не хочет.

— Хм. Тогда не знаю. Был бы он шибко умным, я бы предположил... что он сексот, например. Или хотя бы не умный, но без заскока. Сексоты обычно милые с виду люди. У сексотов, говорят, за пазухой муляжи. Мертвые души. С муляжами они в одиночку могут ходить где угодно. Ну, еще можно сделать эти штуки самому, нелегально — только тогда уж обязательно ты должен быть шибко умным.

Сказав это, иерей снова принялся за работу.

— Мертвые души... — повторила я. — И что это значит?

— Ну, смотри. У нас у каждого в голове светляк, да? И все эти гляделки-перделки... — он потыкал пальцем вверх.

— Спутники?

— Да... Для них каждый светляк — это человек. Живая душа. Но их можно обмануть. Система настроена так, что спутники получают сигнал только от одиноких светляков. Или от пары уединившихся светляков. Короче от тех, кого меньше трех. Ну, ты знаешь. Отошел на пять аршин от других — все. Тревога, менты, кранты. Карцер. Вопрос: как обмануть систему?

— Да! — подхватила я. — Как?

— Надо подвесить к себе двух фальшивых светляков!

— Как это?

— Это типа радиомаячки, которые имитируют вместо одного человека трех — живой светляк в человеческой голове думает, что у него компания, и не подает сигнала одиночества в космос. Все! Человек носит за пазухой две «мертвых души» — и вот тебе невидимка.

Так вот в чем дело! Пытаясь решить эту задачу, я вычитала. А нужно было прибавлять. Просто я не знала, что могут существовать еще какие-то слагаемые... Теперь знаю. Мертвые души! Маячки... Обманки. Теперь все ясно. Когда Цыганок со своими дружками расправлялся с Ритой, Воропай оказался поблизости. Спрятался рядом. Может быть, просто из любопытства. Понаблюдать. А затем, когда те трое

ушли, бросив Риту, — он вышел из укрытия... И если у него было на себе два фальшивых светляка — тогда понятно, почему система не распознала Риту и Воропая как уединенную пару. Потому что в сумме с двумя их живыми светляками получалось как бы четыре человека...

Я вдруг представила, как Рита лежит без сознания там, в кустах, на черной весенней земле — растрепанная, голая, среди своей разорванной, разбросанной одежды, ее безвольно вытянутое тело светится в вечернем сумраке, волосы струятся по лицу и груди, длинные пряди спутаны, в них забились комочки дерна, сосновые иглы, прошлогодние листья... Окровавленные, вспухшие губы приоткрыты. На изогнутой шее пульсирует голубая вена. Острые розовые соски смотрят в небо. Линии живота дышат. Бедрa раскинуты, как лепестки белой орхидеи, меж ними — узко, темно, вогло. Из-за дерева выходит Воропай, медленно наклоняется, подбирает ее юбку, стоит, смотрит. Мрачный жадный взгляд.

— Да, — хрипло сказал отец Григорий, снова булькнув флягой. — Вот и вся разгадка.

В этот момент раздался мерзкий топоток и шорох. Отец Григорий ощерился, схватил пустую жестянку и с размаху швырнул в угол.

— Крысы, — он выругался. — И мышьяк их не берет. Вот же твари...

Я подобрала банку, налила в нее воды и принялась мыть кисти.

— Если вы все это знаете... Почему не используете? Было бы ведь проще. Для конспирации там...

— Потому что в школе плохо учились, — проворчал иерей. — Мало знать — нужно уметь. Да и что мы знаем, чай не в технари готовились — я физику похерил сразу, как она началась, уже в седьмом классе. А сейчас и в школе этому не учат. Никто не знает физику.

— Это есть в реальных училищах, наверно. Только для категории А. Да и там — очень густое сито. Ну, знаете... Естественные науки — опасный инструмент в ненадежных руках, и все такое...

— Да-да, физика, химия, биология — три продажные девки НТП, слышали. С ними сношаться дозволено только избранным. Вот я и говорю. Знания утрачены. Для них-то — нет, — он указал глазами в потолок. — Для этих... как ты говоришь? Которые через сито... А вот нам, плевелам, недоступны.

Он грохнул кулаком по столу — аж подпрыгнули баночки и кисти.

— Эх! Вернуть бы те годы — уж я бы учился, я бы из книжек не

вылезал! А то — в художники поперся, дурак. Презирал науки. Да и то сказать... У нас ведь был интернет. Зачем что-то зубрить, изучать, головой страдать? Любой вопрос — не вопрос: погуглил в сети — и опа, вот тебе готовый ответ на тарелочке!

Опять набрался, подумала я. Уже язык заплетается.

— Как это? — спрашиваю. — Поглаголал в сети?

— Да не поглаголал! — он расхохотался. — Погуглил! Думаешь, я уже лыка не вяжу?

Я смутилась.

— Нет... Просто никогда не слышала такого слова...

— А слово «интернет» ты слышала?

— Кто ж его не слышал.

— И что это, по-твоему?

— Все знают, что это. Это вражеское изобретение Запада в угоду Дьяволу, искусственная невидимая паутина для уловления и пожирания душ человеческих. В центре паутины сидит жирный механический паук, который непрерывно высасывает жизнь из людей, но никогда не насыщается. Поглощая жизни, он выделяет слизь, из которой плетет новые и новые ловчие сети. И... нам не велят употреблять то слово, которые вы произнесли, мы просто говорим «паутина».

— Да уж, конечно... Крамола ас ис, — сказал отец Григорий насмешливо, но как-то печально, словно о чем-то тоскуя. — Нда... Черти во аде помирают со смеху от нашей языческой глупости. Это ведь надо такое придумать, а? Жирный механический паук... Хотя?.. Может, и есть в этом доля правды...

В наступившей тишине отчетливо стучала капля в глубине штрэка. Мне стало не по себе.

— Скоро пономарь придет, — сказала я, только чтобы что-то сказать.

Отец Григорий промолчал.

— Сегодня последний мой день, — сказала я.

— Смирись. Я уже говорил тебе. Иди в монастырь. Другого ответа у меня для тебя нет.

Монастырь... О чем он говорит? В монастырь идут за спасением души. А мне моей души не жалко. Что в ней проку? Что она такое? Я даже не чувствую ее, когда не чувствую смерти. Значит, нерв моей души — это смерть.

39. Тело №1

В кабинет вошли двое:

— Вы профессор Леднев?

Леднев оглядел себя.

— Вроде бы я.

— Собирайтесь. У нас распоряжение доставить вас на опознание трупа.

— Господи! — воскликнул он. — Да я же еще утром просил снять этот дурацкий запрос. Я же сразу вам объяснил, что вышла путаница: у меня другое животное. Другой биологический вид — черный ворон, *Corvus corax*. Понимаете? Ворон, а не ворона! Нет, это уму непостижимо. Преследовать меня весь день из-за какой-то ерунды и наконец прислать своих вышибал! И это все из-за каких-то двух базовых единиц? Слушайте. Если я оплачу штраф прямо сейчас, здесь, на месте — вы оставите меня в покое?

Они переглянулись в недоумении.

— Советуем вам прекратить валять дурака. Следуйте за нами, — деревянным голосом сказал один из них.

Леднев замер.

Только сейчас он заметил — по характерной одежде и выправке — что перед ним черные невидимки, сотрудники Отдела Духовной Безопасности.

Леднев без слов встал и оделся.

— Черт, — сказал он уже в коридоре, запирая кабинет. — А я так мечтал посмотреть сегодня полуфинал Лиги...

Ни слова в ответ.

В молчании они спустились к вахте. Охранник Артем проводил Леднева испуганным взглядом. Леднев улыбнулся и подмигнул ему, как взрослый — ребенку. Артем вспыхнул и, подняв свою огромную рабоче-крестьянскую лапу, по-детски помахал ему вслед.

— Я вам запишу! — крикнул Артем.— Я вам запишу полуфинал!

На выходе Леднев ожидал увидеть «Черную Марусю» — так на эковском жаргоне называлась когда-то, в начале советского века, машина НКВД для перевозки арестантов — и нынешние модифицированные чекисты, люди в известной мере сентиментальные, охваченные ностальгией, именно так и назвали свой новый модифицированный тюремный Газик — «Черная Маруся».

По слухам, она была оснащена всеми оперативными пыточными инструментами, как машина скорой помощи — реанимационным оборудованием, только наоборот. Если скорая старается сделать все, чтобы довезти полумертвого человека живым, то «Черная Маруся» сделает из любого самого живого человека полутруп, не доезжая до точки назначения.

Однако их ждал самый обычный четырехместный Чанган, только с затемненными стеклами.

Город словно вымер. Час пик — конец рабочего дня — и ни одного пешехода, ни одной неслужебной машины.

— Благодарь, — сказал Леднев. — А нельзя ли сделать так же и по утрам?

— Разговорчики, — лениво обронил тот, который советовал ему не валять дурака. Второй напряженно молчал.

Чанган выехал на Спиридоновку, повернул на Никитский бульвар, оттуда — на Воздвиженку, и по безлюдной Моховой помчал прямоком к Боровицкой башне. Леднев уже понял, что его везут в Кремль, а не на Лубянку, но все еще боялся в это поверить.

При въезде в Боровицкие ворота его линзы переключились в режим «бельмо» — и он перестал различать что-либо, кроме смутного чередования теней и света. И только тогда, ослепленный, поверил. «Бельмо» означало, что его везут не просто в Кремль, а на встречу с самим Государем. Каждый раз, когда Леднев ездил оперировать Его — в любую из Его резиденций, оснащенных «кельями» (так было велено называть личные монаршие филиалы Молодильного Яблока с операционными кабинетами и клон-банком) — каждый раз, как только Леднев пересекал некую границу на пути к секретной «келье», его линзы превращались в повязку на глазах.

Впервые он удостоился повязки тридцать лет назад, тогда еще и линз-то не было. Его отвезли к Ладожскому озеру, посадили на катер и завязали глаза — а когда повязку сняли, он увидел перед собой царскую келью и самого Государя, который кротким голосом сказал, что хочет быть «как дети», чтобы войти в Царствие Небесное, и никакие уговоры не помогли. Так начался Его путь к «святому младенчеству», описанный во всех школьных учебниках и житиях. С тех пор было проведено десять омолаживающих инъекций — по одной в каждые три года. На самом деле операций было в пять раз больше — по числу клонов Государя, которые должны были молодеть вместе с ним.

Именно столько требовалось на выезд к народу. К московскому народу. Народ земель, лежащих за Садовым кольцом, обходился телевизором.

И тот и этот народ — несмотря на огромную разницу между собой — одинаково проникался страхом, восторгом и любовью, видя, что Государь год от года молодеет, — и укреплялся в вере, что вот, наконец, он явился — истинный Помазанник Божий, ведь не иначе как сам Перст Господень мажет его чело небесным елеем, обращая время его жизни вспять.

Народ... Что же это такое? Тьма невежества? Но ведь народ московский, в отличие от народа зонного, имеет почти все знание о терапии омоложения. Сами пользуются. И все-таки верят в мистическое помазание Государя Перстом Божьим. Образованные ведь люди. И паутина у них есть, и НТП, и деньги — в отличие от темных светляков... А никакого отличия по сути и нет. Значит, дело не в знании, не в образовании? А в чем же? И почему я не такой? И что я такое? Какая разница. При чем тут ты, старое сухое насекомое...

А может быть, народ — это те, кому дана привилегия навсегда оставаться детьми? Не вырастать, не взрослеть — а навеки пребывать в блаженном, новорожденном неведении о реальном мире, вопреки всем своим знаниям и опытам... И разве я сам иногда об этом не мечтаю? Вернуться во времена своего детства, в ту первозданную Адамову тьму неразличения добра и зла, где свет горит ярче тьмы — как эдемский огонь в гончарной печи, где обжигал Господь свою глину.

Снаружи послышались крики, машина остановилась.

— Кто такие?

— Черные! Первый конвой!

— Кого везем?

— Хирурга! Открывай ворота!

Машина тронулась, медленно проехала еще метров триста и снова остановилась. На этот раз беспилотник отключил двигатель. Значит, прибыли.

Леднева взяли под руки и повели куда-то. «Направо... Налево... Осторожнее, здесь ступеньки...». Все как всегда, но что-то было не так. Запахи. Он чувствовал запах крови и смерти. Много крови и много смерти.

Бельмо исчезло — и Леднев увидел, что находится не в келье, как ожидал, а в роскошно оборудованном бункере. Там же было еще не-

сколько человек — среди них три члена Правительства, епископ Паисий (известный в близких кругах своим противоборством с Патриархом), один красный генерал — уже упомянутый Евсей Буянович Пацук, и три черных генерала: директор Внешней Разведки Волков, руководитель Отдела Духовной Безопасности Угрюмов и руководитель Отдела Информационно-Кибернетической Безопасности Мухин. Каждого из них он знал в буквальном смысле до мозга костей, т.к. все они не раз побывали на его столе.

— Здравствуйте, Дмитрий Антонович, — сказал Пацук, выходя вперед и протягивая руку.

— Признаться, я несколько... — растерянно огляделся Леднев. — Чем обязан?

Присутствующие расступились — и перед ним открылась ошеломляющая картина. На полу, в живописно расхлестанных складках алого шелкового халата, лежал Государь. Его округлое, младенчески гладкое тело было залито кровью, которая черными пятнами растекалась по алому шелку. Мертв. И, судя по синим раздувшимся венам на руках и ногах, — не меньше часа.

— Это... Он? — тихо спросил Леднев.

— Вот это мы и хотим от вас узнать, — сказал Пацук.

— Необходимо удостовериться, что это именно Он, а не один из его клонов, — нервно подхватил член Правительства.

— Мы обязаны объявить народу, и тут не должно быть ошибки, — добавил генерал Мухин.

Леднев подошел и склонился над телом. Семь ран: три — в голову, четыре — в грудную клетку, и все — с разным углом входа.

— Интересно, — пробормотал он. — Похоже, в него стреляли со всех сторон одновременно — и спереди, и сзади, и с боков. Непонятно, что за оружие... Впервые вижу такой характер поражения.

— Это микродроны. Умная буря, — сказал Мухин. — Они взломали базу нашего кибер-арсенала и переписали код.

— Кто «они»?

— Хаканарх, — внушительно произнес Пацук.

— Хаканарх! — хором, как в патрином приветствии, выкрикнули все генералы, члены правительства и даже епископ.

— Понятно, — сказал Дмитрий Антонович и продолжил осмотр.

— Ну, что? — нетерпеливо спросил член правительства.

— Это он, — подтвердил Леднев.

Раздался многоголосый вздох — скорее облегчения, чем скорби.
— Так что?.. Передаем в срочные новости? — потер руками Мухин.
— Погодите, товарищи, — сказал Пацук. — Пусть профессор нам объяснит, откуда такая уверенность.

— Да, да! Профессор! Ваши доводы! — подхватили все.

Леднев вздохнул:

— Видите ли. Есть одна — всего лишь одна — деталь, которая отличает Государя от всех его клонов. Потому что я лично, своими руками, эту деталь трижды ему переделывал... — он кашлянул. — Увеличивал.

По толпе прокатился сдержанный гул. Кто-то хохотнул в кулак.

— Конечно, никаких сведений об этих операциях вы не найдете в своих файлах. Но вы можете взять любых его двух клонов, снять с них штаны и сравнить, — Леднев обернулся. — Кстати, где они все?

— Думаю, достаточно, — обвел присутствующих глазами Пацук. — Спасибо за вашу помощь, профессор. Уберите его, — махнул он.

Леднева снова ослепили бельмом, схватили под локти и повели обратно.

40. Венчание травой

Сегодня — Никола Вешний, собирается братчина — все парни девятого и десятого классов идут в ночное. Ну, ночное — это так, красивое слово, один-единственный школьный мерин на выпасе, и тот хромой. А на самом деле это ночь без вокхалов²⁵, семь часов воли — в промежутке между концом учебного года и разгаром сельхозработ, а для кого-то — и вовсе последний праздник накануне призыва. Многих десятиклассников уже обрили, и Тимура... Я видела на днях. Если бы не походка и не шрамы на лице, я бы его не узнала: голубая голова блестит на солнце шишками, голые уши, прозрачные на свет, алые. Никогда не видела его ушей. И все черты его — светлые глаза, высокие дуги бровей, улыбка с ямочками на щеках — все лицо выглядит каким-то раздетым и заново вылепленным. Теперь уже невозможно, немислимо представить его прежним, с дикими темными кудрями. Да и зачем. Незачем о нем думать.

²⁵Старший, взрослый (сленг, от чеч. вокхалла — старость)

Мальчишки гуталинят сапоги, надевают чистые рубахи, завивают чубы — у кого есть — и выходят до вечерней зари, плетку за голенище, картуз набекрень. А мы до заката жарим яшницы, булки печем, режем бутерброды, разливаем пиво по бутылкам, которое варили всю Николину неделю (с пролетья девятому классу пиво в закон, теперь мы — новые вокхалы). Наготовили, собрали, сложили в туески, вырядились — и за ними. Традиция такая: сперва парни уходят, а после заката — девки к ним с едой-питьем. Что мы там будем делать — не знаю. Говорят, будем пировать, кумиться-брататься, плясать вокруг костра и, кто смелый — купаться: на Николу Чудотворца вся вода освящается.

Девчонки еще с отбоя готовятся, учат друг дружку:

— На жениха заговор читай: Макошь-землица, Мать-рожаница, Сварога сестрица, даруй мне удачу без плевел и плачу, дай молодца, чистого с лица, доброго снутри, раз-два-три, кострома, гори!

Кому я вру? Я не могу перестать думать о нем. Я каждую ночь плачу — с тех пор как он танцевал с Ритой тогда, в медресе. И я злорадствую, что Рита осуждена и сидит в карцере, — будто ее справедливо наказали. За меня. Потом опомнюсь, помолюсь — а выходит опять все то же, даром что другими словами — сердце-то не словами думает, а только своего хочет: жизнь моя, любимый мой, подойди ко мне, будь со мной в эту ночь, будь со мной. Чуда просит. И уж все равно мне, кого просить — а кто бы ни услышал: Макошь ли, Никола ли Чудотворец, Бог ли, бес — все равно, кому угодно душу готова отдать за его любовь, за одну только ночь, за час, за полчаса наедине с ним, — зачем мне душа, если она порознь от меня, если она с ним, а он не со мной?

Девчонки наряжаются, достают платки, расшитые маками, васильками и ромашками, волосы убирают, щеки и рты свеклой натирают, брови сурмят, у кого своих нет. Я тоже намазалась-нарумянилась, чтобы поярче лицом быть — а то вдруг он меня не разглядит ночью среди других, не заметит? Никогда не делала так, а тут подумала: почему бы и нет, ведь не зря бабы во все века красятся — значит, это как-то работает, нужно испробовать...

Испробовала.

Приходим уже после братчины. Как это происходит — мы знать не знаем: одни говорят, они кровью братаются, другие — мол, так же, как девки кумятся, березы завивают. Что гадать? Да хоть бы и на

головах стояли — нам не покажут. Костры уже разведены, в небо искры сыплются.

Идем, а он откуда ни возьмись, как бы мимо пролетает:

— Алалей²⁶! Что ты сделала с лицом?

— А что?

— Ты стала как все эти матрешки. Вас не различить!

И, пританцовывая, раскачивая плечами, чешет себе дальше, припеваючи:

Эх вы мои крошечки,
девочки-матрешечки!
Груша, Маня, Ксюша, Таня,
Люба, Зина, Алевтина!..

Мне захотелось побежать и спрыгнуть с обрыва в реку, чтобы смыть с себя разом все: румяна, сурьму, Тимура, и чтобы кровь моя превратилась в холодную воду, и все вокруг онемело. Но все вокруг продолжало шуметь, смеяться и плясать в желтых отсветах костра — силуэты с огненными мазками на складках одежды, с танцующими бликами на лицах, тени насекомых, искры пламени в густой ультрамариновой тьме, черное дыхание леса со всех сторон, его чужеродный, таинственный, жерловой гул и скрежет... Все двигалось — мрачно, темно, огненно, быстро и медленно, неравномерно и безраздельно, как поток ветра, все было охвачено всем, все бежало и ни от чего не могло убежать, и я тоже — потому что нельзя убежать никуда ни от кого дальше, чем на десять аршин. Я смеялась, пела и плясала, ничего не чувствуя, кроме жалости к себе и презрения из-за этой жалости, из-за того, что хочу плакать, в голос реветь. Давай, давай, заплачь, — дразнила я себя и как будто становилась сама себе посторонней.

Только не оборачивайся, не оборачивайся, забудь, забудь, забудь. И когда на мгновение забываю — он подходит, рядом садится в траву, локоть на колено, в зубах стебелек.

— Айда к реке.

Я молчу.

— Давай. Отмоем всю эту красоту с твоего лица.

— А тебе-то что? — говорю.

— Хочу увидеть тебя еще раз. Может быть, в последний раз.

²⁶Ироничный возглас восхищения (искаж. от чеч. алалей — вот это да!)

И ладонью провел по своей бритой макушке.

Как наждаком по сердцу. И — все... Все.

— Когда? — спрашиваю тихо.

— В любой момент. Хоть завтра.

— И куда?

— Не знаю, мне все равно, где чертей валить, — он прицелился пальцем в костер, — пыщ, пыщ! — и засмеялся.

— Но ты ведь вернешься?

— Хаз йо! К тому времени ты обо мне забудешь!

Я знала: никогда, никогда его не забуду, — и он это знал, в его дразнящем тоне было столько беспечной самоуверенности, что я назло согласилась:

— Да.

Его лицо обиженно вытянулось:

— Ну, тогда и я о тебе.

— Ну, и прекрасно, — сказала я.

Он выплюнул травинку:

— Переживать не буду.

— О чем?

— Ни о чем.

— И я.

— Что — ты?

— Так же, как и ты.

Он поднял бровь и, подумав, усмехнулся:

— Ты что, на меня злишься?

— Я? С чего бы это?

— Вот и мне интересно, с чего бы.

— Спроси у своей Оленьки.

— Она не моя.

— Как грустно, — ехидно сказала я.

Тимур засмеялся:

— Стой. Ты что, ревнуешь?

— Вот еще. Ни капельки.

— Ты ревнуешь!

Я отворачиваюсь, он заглядывает мне в лицо, шуруется в ласковой улыбке, шепчет:

— Я дурак, да? Ну, хочешь, побей меня?

У костра травят байки, жарят хлеб и орехи — сквозь едкий дым

разносятся волшебные ароматы.

— А то был случай, — рассказывает кто-то, вертя прутиком в углях и разгоняя искры. — Купила баба у цыганки помаду на черном рынке. Мазалась ей каждый день, мазалась, вымазала всю — а на дне записка: «у тебя рак!».

Девчонки ахнули.

— Ерунда, — говорит какая-то скептически. — Этой байке сто лет в обед. А вот реальный случай: на двенадцатом автобусе ехал солдатик — и вдруг упал. Замертво. Что такое, почему? Паника! И только одна старушка заметила, как из автобуса на той остановке вышел иностранный человек с зонтиком.

— А зонтик был ядовитый?! — закричали проницательно со всех сторон.

— Так что? Да или нет? — шепчет Тимур близко-близко. — Скажи да. Ну! Смотри, какая ночь! Какое небо! Что там твоя тучка-запятая.

Сердце заколотилось. Моя тучка-запятая...

— Ты ее помнишь?

— А то! И никогда не забуду... — он накрывает ладонью мою руку. — Ну, что? Да? Да?

Я поднимаю глаза, гляжу на него и не могу наглядеться.

Он подмигивает, щелкая языком.

— Эй, кохры! — свистит. — Хватит жрать! Айда к реке!

Многие только этого и ждут — все пиво выпито, все пляски сплясаны, все сказки сказаны. От костра десятиклассников доносятся голоса:

— Купаться! Купаться! Кто идет купаться?

Наши тоже приходят в движение, обсуждают, спорят: кому идти, кому остаться дежурить у костра, или нафиг его, этот костер, залить и пойти всем скопом.

Только Юрочка Базлаев сидит, словно каменный, зло глядя в огонь — ноги крест-накрест, локти в колени упер, плечи ссутулены, длинные волосы свисают по краям лица, а по лицу ходят мрачные багряные отсветы.

— До Троицы купаться нельзя, — вдруг заявляет он громко, не меняя позы.

— Кто сказал?

— Я сказал. Мы никуда не идем.

— Да ну! Ты чего! — кричат ему, ноют. — Это ж только в русалью

неделю нельзя! Всегда на Николу купаются, это ж Травный день, водосвятие!

— Мы все остаемся здесь. А ты, — кивает он Тимур, — вали к своим.

Тимур удивленно хмыкнул.

— Ладно, — и ко мне повернулся. — Пойдем?

— Дерюгина, сидеть! — рявкнул Юрочка менторским тоном.

А я и так сижу, даже шелохнуться не успела... Но тут уж назло ему захотелось встать и уйти. В толпе притихли, недоуменно посмеиваются: что такое?

— Это твой батяня? — спрашивает меня Тимур, а сам на Юрочку весело косит. — Грозный какой.

— Грозный, как жук навозный, — вырвалось у меня.

— Девица, уста свои прихлопни, — важно и холодно цедит Юрочка.

— А то что? — говорю. — Нет у тебя надо мной управы.

— Будет. На всех найдем управу.

Тимур не выдержал, рассмеялся:

— Да чо ты пылишь? Что тебе не так, хобяка ты долговязая?

— Мне что не так? Мне все так, — сказал Юрочка, сосредоточено ломая в пальцах веточки хвороста. — А вот тебе сейчас будет не так.

Пауза. Тимур, прищурив глаз, насмешливо прочистил ухо мизинцем:

— Комар пищит — в ушах трещит.

— Ты оглох? — Юрочка встал и шагнул через костер. — Так по губам читай. Вали отсюда. Иди своих девок портить, а наших не замай.

Тимур изумленно огляделся.

— Я кого-то испортил? — развел он руками. — У вас по этой части свои мастера имеются.

Теперь уже встал Воропай — горбато, держась за плетень в сапоге. И, как чертик на пружинке, тут же вскочил Цыганок, азартно и жадно озираясь.

— Эй, ребзя, не бурси, — благодушно сказал Тимур. — Или зубам во рту тесно?

— Пересчитаем? — хмуро предложил Воропай.

Тимур вздохнул, поднялся 0 весь расслабленный, ленивый, — и сразу стало видно, насколько он крупнее и взрослее каждого из них.

— Ладно, — говорит. — Вы все вместе хотите или по очереди?

Они немного растерялись: вроде бы что так, что саяк — а как-то все неравно выходит. Заминка. Стоят, пыхтят, переглядываются, в уме считают. И тут как раз зашумели другие голоса — десятый класс потянулся мимо нас к речке.

— Эй, Тимоха! — зовут. — Верясов! Где ты там? Идешь, нет?

— Сейчас! — откликнулся Тимур и солнечно улыбнулся Базлаеву, Воропаю и Цыганку: мол, или, может, мне их сюда подозвать? А? Как вам такой математический расклад для уравнения?

Юрочка вяло говорит своим:

— Связываться еще с ним, больно надо. К тому же он теперь армии принадлежит. Мы же не будем портить государственное имущество? Да, пацаны?

И пока они задумчиво, нехотя отступают, Тимур подает мне руку:

— Идем?

(Здесь должен звучать голос Ментора: «Дерюгина, прокляну!»)

Мы выходим из тесного круга огня в оглушительную синюю тьму.

Ночью все, что на земле внизу, и что в воде ниже земли, уменьшается и стаптывается, теряет свой образ и значение, остается только то, что на небе вверху — высокое звездное безмолвие, а в непогоду — исполинское клубление грозных облаков, или бесшумный волчий бег серых теней наперегонки друг с другом вдоль луны, или сплошь от края до края провисшая грязная вата, будто идет уборка и огромная космическая метла замела наш земной шарик вместе с пылью под пружины какой-то гигантской кровати... Но сегодня ночное небо — как в первый день после уборки — промыто до черного атласного блеска, до самой далекой звезды, и кажется, что пение сверчков и лягушек в безветренной тишине восходит по лунным ниточкам в эту сверкающую бесконечность, и как-то все связано со словом «люблю».

— Эй, Тимурчик! Что за соплю ты себе на плечо подцепил? — это проходит мимо Оленька в компании подруг.

— Цепляйся на другое плечо, — весело отвечает Тимур. — Не хочешь? Ну, сама виновата! «Прощай, крошка, прощай! Живи легко, не скучай!» — напевает он.

— Прощай-прощай, — бросает она через спину. — Не забудь только проститься и с моим папой в военкомате. Он тебе на прощанье устроит теплое местечко в армии. Я бы даже сказала — горячее. По блату, ха-ха. Ты у меня там побегаешь по минным полям. Посмотрим,

как ты потом будешь бегать по бабам. Без ножек.

— Я по ним ползать буду, — печально говорит Тимур.

— Мне жаль тебя! — выкрикивает Оленька, сгребает в охапку подружек, и они гордо и споро уходят вперед.

Затягивают на ходу: «Окрасился месяц багряаанцем...». И уже издали доносится надрывно: «А помнишь, изменник ковааарный, как я доверяаалась тебе?!»

— Что это она такое сказала про военкомат? — спрашиваю.

— А! — машет он рукой и крепче прижимает меня к себе.

В затоке реки звуки меняются, густеют и оседают к земле, лягушки стонут «люблю» на своем земноводном языке — пузырчатыми трелями, воркованием, шлепками. Но как только мы приближаемся, давя подошвами насекомых и ломая коленчатые побеги трав, они замолкают.

— Вода зубы режет, — говорит Тимур, побултыхав у берега рукой.

— Чо, нельзя купаться? — спрашивает какой-то задохлик, сухожильный и тощий, как петрушкин корень. Маленькими ручками он прижимает к себе пышную, горячую девку.

— Тебе, Витек, может, и нельзя. А мне можно.

— А нам и не нужно. Да, Зинушка? — щиплет ее за бок.

Зинушка нежно взвизгивает, вырывается, убегает — легко, как облако, Витек за ней скачет зайцем, настигает в прыжке, они падают и закатываются куда-то под иву.

— Ну, Витек, — смеется Тимур. — Ну, ерпыль ползучий... Не смотри на них, — он проводит по моему лицу мокрыми пальцами — от виска до шеи — запускает руку под узел платка.

Я развязываю платок. Он сбрасывает ботинки, выворачивается из рубашки, сдирая ее через голову наизнанку — дрожа и дыша так часто, что все его мышцы собираются узлами и наливаются потом. Его тело светится в темноте. Лягушки снова начинают петь.

— Иди сюда, — он отступает в воду. Черный силуэт, будто вырезанный на светлом листе реки.

Я разуюсь — трава обжигает ступни холодом, живая...

— Иди ко мне, — зовет Тимур.

Подвизываю выше колен юбку, избегая смотреть на свои худые ноги. Вода у берега — теплая, теплее земли и воздуха, нежная и сонная, как смерть, усланная по дну илистым песком, таким мягким, что если бы не ракушки, врезающиеся в подошвы острыми краями, то

исчезло бы последнее чувство опоры.

— Дай руку.

Я хватаюсь одной рукой за него, другой зачерпываю воду и обмываю лицо.

— Все?

— Еще немного осталось... На губах, вот здесь... — целует меня в уголок рта. — И здесь... — прижимает к себе.

Тело у него гладкое и твердое, как полированное дерево.

— Ты такой... твердый...

— Да? Это потому что я мужчина. Ты никогда не обнимала мужчин?

Я качаю головой, прячу лицо у него на груди.

— Я вернусь и женюсь на тебе.

«Нет», — думаю я, потому что знаю: этому не бывать, муж мой будет калекой, без ног, без глаз, без лица.

— Что молчишь? Не веришь? Хочешь, прямо сейчас женюсь?

Он подхватывает меня и несет на берег.

— Эй, человецы! Витек, где вы там?

Под ивой, свисающей длинными свечами в реку, пошевелилось что-то.

— Здесь, а что такое?

— Будете свидетелями. Вылезайте.

— Да ну... Нам и здесь хорошо. Правда, Зин?

— Ну и черт с вами, так обойдемся.

Берет мою руку и обматывает безымянный палец травинкой.

— Теперь ты. Ну, давай, да, вот так. Теперь завяжи, просто завяжи.

Вот, — говорит. — Теперь мы травой обручены. Знаешь, что это значит? В Травный день это крепче золота... Ты что, дрожишь?

— Н-н-нет.

Смеется.

— Вот же врунья! Дай тебя согрею. Ну... Чего ты, чего ты... Не бойся.

Он надвигается сверху. Расстегивает, целует, целует. Мокрая трава. Звезды, звезды, так много звезд. Разве бывает так много звезд? Какой он колючий — бритая голова, лицо, все как наждак — «это потому что я мужчина» — я раньше не замечала, он меня раньше не так целовал, раньше было как будто по воздуху, а теперь он трется, трется, трется — кожа горит от его поцелуев, все болит — губы, подбородок, шея,

грудь... Он так долго терзает мои соски, что они сейчас треснут. Его рука пробирается под юбку.

— Раздвинь... Не бойся, я ничего не сделаю... Вот так, да. Да...

Лягушки стонут. Его твердые пальцы мнут и растирают меня там...

Он берет мою руку, тянет книзу:

— Возьми его...

— Нет-нет-нет...

Он закрывает мне рот поцелуем, с силой прикладывает мою руку...

Едва я дотрагиваюсь — он весь вздыбливается, выгибает спину и с мучительным рыком извергается — тяжелые сгустки расплюхиваются мне на живот, на юбку. Откуда-то из памяти, из похабных анекдотов, выпрыгивает гнусное словцо «малафья», оно пачкает и пугает — кажется, что теперь я такая же грязная, как те анекдоты. И юбка... Как я пойду в такой юбке?

Я рву траву клочьями, с корневищем, земля рассыпается в руках, пытаюсь оттереть.

— Оставь. Переверни наизнанку. И никто не слазит. Дай помогу.

На обратном пути он свистит и что-то напевает. Он всегда свистит и что-то напевает, он помнит все на свете глупые песенки.

— Ну что, показал ты ей своего змей-горыныча? — спрашивает Витек.

— Молчи, дурак, — смеется Тимур.

41. Следователь Дурман

Пока Леднев размышлял, что означают слова генерала «уберите его» — немедленно уничтожить? сперва помучить и потом уничтожить? — его снова посадили в автомобиль и куда-то повезли.

Ехали долго. По изменению скорости, дорожных шумов и запахов, которые забивались ветром в приоткрытое окно, он понял, что выехали за город. В лес везут? Подведут к яме, выстрелят в затылок, закопают — и все.

Леднев не сомневался: после того, что он увидел в бункере, его убьют.

А может, всего лишь депортируют в какой-нибудь «город бывших», в одно из этих зонных поселений, куда, по слухам, отправляют «лишенных прописки» москвичей и откуда нет выхода — в отличие

от детских городов? Но кто сказал, что эти поселения существуют? Если оттуда никто не возвращался. Нет ни одного свидетеля. Ни одного беглеца.

Как все-таки мучительно ехать, не зная куда и не видя дороги.

— Когда мне отключат бельмо? — спросил Леднев.

Ему никто не ответил.

А вдруг — никогда?

А что если именно поэтому оттуда никто и не возвращается — потому что их отвозят туда слепыми и оставляют слепыми? Города бывших — это города слепцов... Нет, уж лучше в лес, в расстрельную яму.

Стоило ему подумать об этом — как бельмо исчезло. Он протер глаза от слез и увидел, что их чанган остановился в тихом зеленом дворике перед трехэтажным зданием. С виду — безобидный жилой дом в стиле неосталинизма, квартир на двадцать, с двумя подъездами и плоским фасадом.

Значит, решили сперва помучить.

— Это что, секретный филиал застенков Лубянки? Точь в точь дом моей бабушки.

— Выходите, — сказал номер один. — Вперед, вперед.

Вошли в подъезд — холодный и темный как склеп.

— Сюда.

Поднялись на второй этаж.

— Странно! Вы ничего не чувствуете? — Леднев повел носом. — Этот запах...

— Какой запах? — насторожился номер один.

— В том-то и дело, что никакого. Даже кошками не пахнет. В подъезде моей бабушки всегда воняло кошками. Ух... — он даже поморщился, внезапно ощутив мерзкое щекотание в ноздрах. — Ну и там... много еще чем... жареной рыбой, пригорелыми котлетами, оконной замазкой, куревом, ремонтом, духами соседки, которая прошла незадолго до тебя... Удивительно, я до сих пор помню марку ее духов...

— Сюда, — указал первый номер на дверь квартиры.

Но это уже, скорее, относилось к его напарнику. Тот покопался в карманах и открыл дверь простым металлическим ключом.

— Проходите, — сказал первый, и, как только Леднев вошел, они заперли за ним дверь на замок, оставшись снаружи.

Леднев оказался в типичной пенсионерской квартире семидесятих годов прошлого века. Узкий коридор — двоим не разойтись,

воспетый в народном фольклоре совмещенный санузел, закопченная кухня и одна-единственная комната — она же гостиная, столовая, кабинет и спальня.

— Анахронизм, — проворчал Леднев. — Дизайнера на мыло. Снаружи сталинка, внутри хрущевка.

И все-таки картина трогала душу: столько в ней было пошлости, бедной, мечтательной и как бы навсегда застывшей в своей мечте, что сердце надрывалось... Ковер, чешская стенка, книги и хрусталь за стеклом, раздвижной плюшевый диван, квадратный телевизор, накрытый салфеткой...

Неужели не декорация? Он включил телевизор. Экран напряженно задрожал, побледнел, затем грянули духовые и барабаны, полилась флейта, и по сцене забегали Зигфрид, Черная лебедь и Злой гений, скрепящая ножицами мускулистые ноги и махая волнистыми руками. Леднев переключил — то же самое. Переключил — то же самое. Значит, народу еще не объявили.

Он плюхнулся на диван, не разуваясь, закинул руки под голову и мгновенно уснул.

Его разбудил звонок в наушнике. «Принять запрос», — пробормотал Леднев спросонья и только потом очнулся, ошарашенно огляделся — где я? — секунду тараторил на «Лебединое озеро» в старом телевизоре, затем все вспомнил — и снова удивился, на этот раз — что сигнал здесь ловится, связь работает как обычно, будто ничего не произошло.

В динамике заскрипел голос домработницы Глаши:

— Хозяин, Ворона прилетела. Я ей открыла окно, как вы и велели. А она...

— Ну, слава богу.

Он встал и приглушил звук телевизора.

— Она... Вы понимаете... Я только отвернулась приготовить ей корм, как вы и велели — а эта птица, леший бы ее побрал, тут же влезла к вам на полку и распотрошила все ваши коробки-головоломки.

Леднев рассмеялся:

— Ну, теперь я спокоен: это точно она!

— Проблема в том, что... Простите меня, хозяин. Но, раскрыв коробки, она достала оттуда несколько незнакомых объектов. Моя поисковая система распознала в них статуэтки из коллекции

Пушкинского музея. И сразу же подала сигнал в органы.

— Ты все правильно сделала. Хуже уже все равно не будет, — пробормотал Леднев.

В наушнике затрещало.

— Алё, алё! Что вы сказали? Я не расслышала. Ужина все равно не будет? Или ужин все равно будет? Мне готовить или нет?

— Отдыхай, Глаша. Стой-стой! погоди! Ты там это. Ворону корми и за порядком следи до... — он хотел сказать «до моего возвращения», но подумал и закончил: — до отмены команды.

— Должен сказать, ваша ворона оказалась умнее меня, — раздался уже знакомый бесцветный голос, и откуда ни возмись появился тот самый, с тонкими губами, человек в черном кителе. В руках он держал коробку с Мавкой. — Пока я вас тут дожидался, я так и не смог открыть эту хреновину.

— А, это опять вы... Простите, не имею чести...

— Дурман Игорь Васильевич. Следователь Отдела Духовной Безопасности при Комитете Тайных Дел.

Он уселся в кресло и пожаловался на коробку:

— Тяжелая! — грубо встряхнул ее. — Определенно, там внутри что-то есть. Очередной шедевр из Пушки?

— Не надо так трясти, — сказал Леднев, видя, что отпираться бесполезно. — Там керамика. Может разбиться.

Дурман прищурился:

— Любите искусство?

— Не понимаю, какое теперь это имеет значение. Я ведь здесь совсем не поэтому?

— Ну, как знать.

Леднев махнул рукой:

— Да бросьте. После всего, что сегодня произошло, вы хотите сказать, что взяли меня из-за нарушения Второго Закона? Из-за любви к искусству?

Дурман поставил коробку с Мавкой на журнальный столик перед своим креслом.

— Второй Закон мы отменяем.

Леднев опешил.

— Эээ... Что это значит? Кто «мы»?

— Мы, силы нового порядка, — Дурман важно задумался. — Да,

грядут великие перемены. Но начнем с малого — ликвидируем ересь иконоборчества. И весь этот закон о Второй Заповеди, который был продавлен клептократами в случке с еретиками-синкретистами, провозгласившими так называемое «единство двух книг». Так что... Ваша любовь к искусству, профессор, делает вас в какой-то мере нашим союзником. Хотя... — он погрозил Ледневу коротеньким тупым пальцем. — По-хорошему, вас следовало бы расстрелять. За хищение государственной собственности. Но — будем считать, что вы так пытались спасти шедевры русских музеев. Действовали, тксзть, в интересах государства. Вы же пытались их спасти, да?

— Да, — растерянно ответил Дмитрий Антонович.

— Вот и чудненько.

Леднев в волнении зашагал по комнате.

— А Семицветова? — спросил он, резко остановившись.

Следователь зевнул.

— Она не играет никакой роли.

— А я играю?

Дурман с некоторым изумлением посмотрел на него:

— Разумеется.

— Тогда я ходатайствую за нее. Прошу вас не наказывать эту женщину.

— Ой, да никому не нужна ваша Семицветова, — отмахнулся Дурман, взглянул на Леднева и досадливо закивал: — Хорошо, хорошо. Обещаю, никто ее не тронет.

— Как я могу вам верить?

Следователь пожал плечами:

— Никак. Хотите довод? Мы давно наблюдаем за вашими аферами — и, как видите, вы все еще живы-здоровы. Не сидите в камере пыток, не лежите в расстрельной яме. Разве это все, — он обвел рукой квартиру, — похоже на камеру пыток или расстрельную яму?

— Не знаю... Возможно, это все — компьютерная симуляция, которая передается мне через мои собственные линзы. Или, — увлекся Леднев, — я действительно уже мертв, и нахожусь в каком-то уютном отделе ада. Обманчиво уютном, разумеется.

— Пф, вот еще, — фыркнул Дурман. — При всем уважении, профессор... Делать нам больше нечего, как создавать вокруг вас фальшивые интерьеры и пейзажи. Как будто в казне есть лишние деньги. Но мне нравится ход вашей мысли. Уютный отдел ада, хе-хе... Про ад

мы с вами еще поговорим. Обязательно. Но сперва, — толчком ноги он развернул свое кресло к телевизору. — Будьте добры, включите звук. Не хотелось бы пропустить вечерние новости. И присаживайтесь рядом. А то мне, право, неудобно: вы стоите, я сижу. Я бы, конечно, и постоял за компанию с вами, но, извините, зверски устал.

42. Сговор

23 мая, на следующий день после Николы Вешнего, Тимура забрали в армию. Больше я его не видела.

Отца Григория тоже — с той последней нашей встречи в тайной крипте, когда он преподавал мне урок физики. Иерей перестал появляться на службах — ходили слухи, что он впал в тяжелый запой, и 25 мая стало известно, что отец Григорий скончался.

А 30-го вернулась из карцера Рита. Тонкая и бледная, как струйка дыма. Какие-то шутники, пока мы были на сельхозпрактике, измазали дверь нашей спальни дегтем и большими кривыми буквами написали сверху «шлюха». После обеда мы отмывали всю эту дрянь керосином. «Фуу! Что тут за вонь?» — выбегали и кричали соседки из других спален.

Рита ни с кем не разговаривала и ходила как шарнирный робот, без единой эмоции на лице.

На другой день надпись появилась снова, и на следующий... Вероятно, этим занимались патрульные бригады, которые в рабочее время делают обход спален, чтобы отлавливать группы прогульщиков, заговорщиков и «крыс». Ментор позволил нам создать свою бригаду из трех человек — на каждый день новую, и в течение трех дней мы по очереди несем дежурство у двери нашей спальни. Дверь оставляют в покое. Но не нас. Каждый сопливый первоклашка в школе знает, что «в девятом завелась шлюха». В нас тыкают пальцем, обсуждают: «а которая из них та самая?». Какой угодно кретин может засвистеть любой нашей девочке вслед: «Эй, целка! Или ты уже не целка?»...

«Из-за тебя нас всех смешивают с грязью», — шипят на Риту девочки. Она не реагирует. Она выглядит мертвой, кому интересно такое. От нее просто отворачиваются. Новая соседка Риты отодвигает от нее свою кровать. На прогулках ее сторонятся — теперь она всегда плетется где-то в хвосте, в пяти аршинах от всех, на расстоянии из-

гоя. Как и сегодня. Я не выдерживаю. Подхожу к ней.

— Спасибо.

Это было первое слово, которое я услышала от нее с тех пор как мы виделись в тюремном изоляторе.

— За что?

— За то, что сказала тогда правду. А теперь?.. Ты вместе с ними? — она указывает взглядом на спины впереди идущих. — Заодно?

— Я сама по себе.

— Так не бывает, — говорит Рита сосредоточенно и отчужденно. — Зачем ты подошла ко мне? Думаешь, ты лучше всех?

Я молчу.

Некоторое время мы идем рядом без слов.

Вокруг шумит и трепещет листва, сверкает под солнцем — уже полетному тяжелым, давящим в затылок. Я замечаю, как загорели мои руки — рядом с ее руками они выглядят обожженной глиной.

— Знаешь, что самое трудное там? Самое невыносимое? — произносит она все тем же отстраненным голосом, будто обращается не ко мне. — Я думала, одиночество. Нет. Самое невыносимое — это когда ты не можешь различить времени. День сейчас или ночь. Час прошел или сутки. Это сводит с ума. Можно прожить и двадцать дней, и двадцать лет в одиночестве — любой назначенный срок, если есть чем его измерить. Если каждое утро видеть восход солнца, а каждый вечер — закат. Но в карцере нет восходов и закатов. Ни крошечного окошка, ни лампы, ни часов, ничего — только темнота. И промежутки между едой. Когда вдруг клацает заслонка на двери и через узкую щель света просовывается тарелка супа. Сначала я пыталась мерить время этими промежутками. Я приняла за условие, что один шаг равен секунде. И терпеливо ходила из угла в угол, отсчитывая шаги от одной тарелки до другой. Но каждый раз я сбивалась со счета, и все шло насмарку. Я дожидалась новой тарелки, начинала отсчет заново и где-то после трехсот шагов снова сбивалась. И так раз за разом, пока не перестала различать — считаю я или брежу, хожу или стою на месте, уткнувшись лбом в стену, или даже сплю — я и во сне продолжала считать шаги и часто просыпалась от собственного голоса, выкрикивая какое-нибудь число: «двести! триста! триста пятьдесят пять!»... Все в голове у меня смешалось — сон, явь, реальность, бред... Сами числа — иногда я не могла вспомнить, что за чем идет... Потом... Начались какие-то провалы сознания. Однажды я очнулась от боли и

жуткого воя — этот вой шел из моего собственного горла, какой-то ярый, звериный, а сама я носилась по камере, бросалась на стены, царапала камни ногтями... Но я не помнила, что произошло, как начался этот приступ беснования. Я поняла, что перестала принадлежать себе. Что теряю себя. Потому что нельзя, понимаешь?.. Нельзя мерить время шагами в темноте, от тарелки к тарелке. Время можно мерить только солнцем. Восходами и закатами. А потом я смирилась. Я просто легла на матрас и лежала, представив, что я уже умерла, что все кончилось... Наверное, я и правда тогда умерла. И теперь мне непонятно: что я здесь делаю? Зачем я хожу, издаю какие-то звуки, двигаю ногами и руками? — она с удивлением смотрит на свои руки.

— Не говори так, — я осторожно трогаю ее за плечо.

Она шарахается:

— Мне не нужно твоей жалости.

В голосе — гнев и презрение.

Неожиданно для себя я смеюсь:

— Да пошла ты!

Рита вздрагивает и впервые за разговор смотрит на меня — тем самым, прежним своим взглядом, пронзительно-синим, жгучим.

— Вот как ты заговорила...

И резко ускоряет шаг. Я хватаю ее за руку:

— Что, задело? Значит, не такая уж ты мертвая?

— Пусти!

— Хочешь, я тебя еще немного оживлю?

— Пусти!

— Я знаю, как он это делает.

Рита замирает.

— Кто?

Я указываю глазами на Воропая, который идет впереди, в толпе, рядом с Юрочкой.

— Врешь, — жадно шепчет она.

— Не вру. Я знаю. Только не спрашивай откуда.

Я рассказываю ей про «мертвые души». Рита долго что-то обдумывает, пиная на ходу камушки — и вдруг хватается меня за плечо:

— Мы можем его наказать! — но, словно опомнившись, тут же уязвленно отстраняется. — Ах да, прости, какие «мы»? — я и забыла: ты ведь теперь сама по себе!

— Тише!

Меня холодком пронзает чувство, будто нас подслушивают. Я оглядываюсь. Никого. Позади — пустая аллея. Налетает ветер, по деревьям проносится тревожный шум. До нас долетают голоса впереди идущих: они говорят про заброшенный эlevator, планируют на завтра облаву... Ходят слухи, что на элеваторе спрячутся все беглые, все невидимки и нелегалы. Кто-то, мол, проходил теми местами и видел какой-то силуэт в окне, слышал какой-то ропот и топот... Где-то два раза в год — обычно весной и ранней осенью, когда росло количество без вести пропавших, — мы отправлялись туда «на облаву». Никаких следов посторонней жизни мы там никогда не обнаруживали, если не считать разной загадочной чепухи, вроде утонувшего ботинка или белого скелетика вороны с веером черных перьев. Только однажды, давно, в одном из затопленных подвалов или пожарных резервуаров, не помню, кто-то нашел полуразложившийся труп человека. Может быть, именно за тем мы туда и ходили из года в год — чтобы увидеть чью-то тайную, негласную и безнаказанную смерть.

— Ветер на нашей стороне, — говорит Рита. — Мы их слышим, они нас нет.

«Все, кохры! — кричат в толпе. — Завтра айда на эlevator!» — «Кого в бригадиры?» — «Базлаева! Базлаева!» — «Нет, завтра без меня, — отказывается Юрочка. — Я домой. Моя законная родительская суббота».

При звуке его голоса Риту корежит:

— Не знаю, кого из них двоих я больше ненавижу.

И снова — морозящий сквознячок в груди: откуда это мерзкое чувство, что нас подслушивают? Где? Кто? Внезапно я понимаю, что подслушивающий — не снаружи, а внутри, это я сама, какая-то часть меня словно слышит и заранее знает все, что сейчас скажет Рита и что я ей отвечу.

— Так, значит, завтра его не будет... — задумчиво бормочет она. — И, значит, он нам не помешает... — она впадает в напряженное молчание. Наконец решительно говорит: — мы сделаем это завтра, на элеваторе.

— Что «это»? — спрашиваю я, хотя уже знаю.

— Месь. Завалим Воропая.

— Завалим?.. Как?

Я задаю эти вопросы помимо своей воли, как программа или заведенный ключом автомат, в них нет никакого смысла — ведь мне не

нужны ответы: я вижу все, что случится, как будто это уже случилось — но зачем-то открываю рот и спрашиваю, словно кто-то другой это делает за меня, а я не могу ничего изменить — могу только наблюдать за неизбежным. Через два часа, на самоподготовке, она отправит ему самолетиком записку, он прочитает, ухмыльнется и кивнет. Через двадцать один час, по дороге на элеватор, она поднимет с земли камень. Через двадцать два часа, пройдя сквозь крапиву, мы исчезнем, и ветер будет шуметь в деревьях так же, как и сейчас.

43. Русский дух

— Экстренный выпуск. Внимание! Внимание! Объявление народу. Приглушите все остальные источники звука. Преклоните колени. Опустите голову. Приложите правую руку к сердцу, чтобы оно не разорвалось от горя. Отверзните ваши очи для скорбных слез и рты для немых рыданий. Отворите слух для черной вести. Государь-Помазанник убит! — пауза. — Государь-Помазанник убит! — пауза. — Государь-Помазанник убит! — пауза. — Сегодня, в результате циничного заговора наших внешних и внутренних врагов, на духовные основы нашего Богохранимого Государства было совершено беспрецедентное, чудовищное покушение. Террористическая группировка хакер-анархистов, именующая себя «Хаканарх», используя новейшее китайское кибероружие «Умная буря»...

— Что за сказки! — восхитился Леднев. — Мне же сам генерал Мухин сказал, что «умная буря» была нашей. Что хакер-анархисты взломали наш киберарсенал и перекодировали наших дронов.

— Разумеется, это была наша буря и наши дроны, — спокойно кивнул Дурман.

— И ваши хакер-анархисты, — добавил Леднев.

— Ну что вы, это было бы совсем неинтересно. Мы просто использовали их как ширму. Там работал наш внедренный агент, мы их контролировали... — Дурман запнулся. — Думали, что контролируем.

— Но они просчитались, — тоном небесного судьи сказал диктор. — Ничто не может сломить дух нашего народа — даже такая тяжелейшая утрата, как смерть Помазанника. Вспомним Его крылатые слова: «И смерть бывает партийной работой!». Вдумаемся в их бесконечно глубокий смысл. Что означает смерть для ничтожного ма-

териалистического сознания? Страх. Но не Божий, а шкурный. Беспредельный страх, который пожирает сердца наших врагов. Который властвует над их умами. Смерть — царица их мира, и Сатана — ее наместник!

— Русский стиль, — пробормотал Леднев. — Но без машинных сбоев. Если бы Забылин сегодня не умер на моем столе, я бы решил, что он сам написал этот текст.

— Он его и написал, — усмехнулся Дурман. — Разумеется, задолго до своей кончины. Бедный Добрыня Горыныч... Он был так уверен, что займет место Государя... Не без нашей помощи, конечно, угнездилась в его буйной головушке эта уверенность.

— Вот как. А я-то думал, он любил Государя.

— А как же. Любил, обожал.оргазмически просто. Это было искреннее чувство, уж поверьте, — сказал Дурман. — И взаимное.

— А что, правду ли говорят, будто Добрыня не только служил личным портным Помазанника, но и писал для него все речи?

— Ну, не программа же ему писала. Одно дело — русский стиль. Другое — русский дух. Добрыня был голосом русского духа, и голос этот принадлежал одному Государю. Грех было этим не воспользоваться. — Дурман скромно улыбнулся. — Представьте: народ включает телевизор, а там — о смерти Помазанника объявляет дух самого Помазанника.

— Жалок враг на службе у смерти, на посылках у нее, — продолжал «дух Помазанника». — Жалок и смешон — для того, кто смерти не боится. Для нас. Для нашего великого богохранимого народа — несокрушимой крепости, последней обители Спаса на земле...

— Все-таки этот ваш Голос Русского Духа — несносный графоман, — не удержался Леднев. — Еще немного — и я перестану переживать из-за того, что он был убит моим роботом-анестезиологом.

Дурман удивленно поднял брови.

— Не хочу вас обидеть, профессор. Но вы совершенно напрасно вините себя. Опомнитесь: вы щепка в этом потоке.

— Смерть для нас — не госпожа, а служанка, — голос диктора триумфально возвысился. — Даже убивая нас, она продолжает работать на нашу победу. Для ее рабов, служителей ее наместника Сатаны, это извечная тайна, неразрешимая загадка: разве можно не бояться смерти? А для нас — естественный порядок вещей, нерушимый закон: «Никтоже да убоится смерти, свободи бо нас Спасова смерть»... И в

этой точке сходятся все смыслы: Государь наш Огненноликий, наш Колоб Стожильный, подобно Спасу, умирает за нас, чтобы воскреснуть и обратить нас к жизни вечной — это и есть партийная работа. Великая мученическая смерть во имя бессмертной идеи.

— Интересно, сколько раз нужно повторить всю эту мантру, чтобы народ перестал различать себя, государя, партию, русский дух, Спаса и тексты Забылина.

— Я сейчас разрыдаюсь за народ. Такой обманутый и глупый. Вы не понимаете главного. Мы повторяем всю эту, как вы изволили сказать, мантру вовсе не для того, чтобы народ перестал что-то там различать. А чтобы сделать народу приятно. Мы любим народ — в отличие от вас — и будем угождать ему столько раз, сколько потребуется.

— Это не любовь, — сказал Леднев — Когда твой ребенок погибает от наркотиков, а ты ему покупаешь дозу, чтобы не вышло ломки, — это не любовь.

Дурман миролюбиво вздохнул:

— Вот-вот, именно так вы и относитесь к народу — как к больному ребенку. Вместо того, чтобы увидеть в нем иррациональную надличностную стихию, могучую историческую волю. Вот поэтому вы и проигрываете нам. Всегда. Вы не понимаете народ — но дело даже не в этом. Мы тоже не понимаем. Дело в том, что, не понимая, вы смотрите на него одновременно испуганно и покровительственно — как белая туристка на туземцев в джунглях Амазонки. Вы его смертельно боитесь, но при этом почему-то считаете, что он смотрит на вас как на бога, а не как на ужин, и хотя он вас уже нашинковал и обложил листьями салата — вы все равно будете поучать его светским манерам и в какой руке нужно держать вилку, а в какой — нож. А мы не поучаем. Мы — нож и вилка в его руке. И нам все равно, в какой.

— Прислушайтесь! Слышите? Слышите Его Голос? Он жив! Он выше смерти. Голос Русского Духа! — торжественно возвестил диктор. — Нет! Государь не убит — разве можно убить Русский Дух? Сказано ведь: «Русский Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит»... Возрадуемся же, ибо знаем — устами жертвенно убиенного Царственного Младенца, Огненноликого нашего Троединого Государя-Помазанника говорит с нами сам Русский Дух Святой: вот, Я перехожу в тело нового Помазанника Божьего. Я выбрал его среди прочих достойных и через епископа Паисия помазал на царствие. Примите мою волю и поклонитесь ему.

Государь умер — да здоровствует Государь!

На экране под звуки хоралов появляется генерал Евсей Буянович Пацук — в царственном нимбе, со скипетром и державой в руках.

Леднев изумленно хлопнул себя по коленям:

— Да ладно! — засмеялся и обернулся к Дурману. — Товарищ следователь! Скажите, что я сплю. Пацук?! Что за нелепость... Почему бы не поставить одного из клонов Младенца и сделать вид, что вообще ничего не произошло?

— Да надоел. На-до-ел. Сколько можно. Нужен новый образ Державы.

Следователь поднялся, выключил телевизор, прошел на кухню. Леднев слышал, как звякнула посуда, чихнул кран и резкими плевками пошла вода.

— Ржавая! — домашним голосом пожаловался Дурман. — Вот черт... С утра мечтал о чае. Ну, ничего. Воду спустите — и можно пить. И можно жить, — подбадривая непонятно кого, добавил он, возвращаясь.

Леднев тупо смотрел в потухший экран телевизора — там отражался силуэт Дурмана на белом прямоугольнике окна.

— И долго мне тут... жить?

— Жить можно! — громко повторил Дурман, будто говорил с глухим.

— Но зачем? — спросил Леднев.

— Что значит — зачем? Вы не хотите жить?

— Это не вопрос. Вопрос: зачем вам нужна моя жизнь?

— А ради любопытства, — насмешливо сказал Дурман. — Может быть, нам интересно, как вы поведете себя в условиях ада. Как вы там сказали?.. Уютного ада. Обманчиво уютного, разумеется, хе-хе. А если серьезно... Мы крупно облажались. Из-за ошибки нашего агента мы потеряли контроль над Хаканархом. Они должны были что? Все-го лишь хакнуть систему. И перекодировать киберарсенал. Но, черт возьми, мы не планировали, что эти идиоты анархисты уничтожат «Молодильное яблоко» — всю материально-техническую базу, все клон-банки, всю научную информацию...

— Вам нужна формула Кошечевой иглы, — понимающе кивнул Леднев. — Но дело в том, — вдруг, как бы дразнясь, сказал он, — что я ее не помню.

У Дурмана вытянулось лицо.

— Как это «не помню»?

— Ну, видите ли, там пятнадцать тысяч атомов в разных связях друг с другом, мудрено запомнить.

— Но... Вы же ее создали?

— Это Кохан, — по-детски, словно ябедничая, сказал Леднев. — Его формула. Вы ведь в курсе всех этих слухов? — он приложил ладонь ко рту и, выпучив глаза, прошептал: — Так вот, это правда. Я ее украл.

Следователь нахмурился, исподлобья посмотрел на него.

— Вы понимаете, что это значит? Вы сейчас берете и заявляете, что вы для нас бесполезны.

Леднев завел под потолок глаза, как бы осмысливая слова Дурмана, подержал позу и, заморгав нарочито наивно, кивнул:

— Именно так.

— Ну, хватит. Взрослый, уважаемый человек, а дурачитесь, как не знаю кто... А хотя нет... Знаю. Как ваш внучок, Глеб. Вот, оказывается, в кого он пошел. Но, надо признать, в агентурной работе это не самое плохое качество. Шуты выглядят безопасно, люди им доверяют.

Это был сильный, неожиданный удар — как хук, без замаха. Дмитрий Антонович поник.

— Значит, все-таки он ваш агент.

— Вы так говорите, будто это плохо, — Дурман с отеческим укором покачал головой. — Плохо не то, что он работает на нас. А что провалил задание. И теперь, по его милости, у нас нет Кощеевой иглы. И мы вынуждены мучить вас. Думаете, нам это нравится?

Леднева снова накрыл тошнотворный приступ головной боли. Кортекс-шлем.

— Не понимаю, — сказал Леднев. — Зачем было подсылать Глеба, если не помучить меня. И этот еще дурак Кокурекин. Зачем? В чем смысл всех этих иезуитских выпытываний? Если — вот, — он повернул голову и указал на штекер за левым ухом. — Если вы заранее решили допрашивать меня под РЕВом.

— Мы еще не решили, действовали стихийно, по обстоятельствам и на всякий случай, — Дурман устало прикрыл глаза. — РЕВ, РЕВ... Ваш РЕВ — темная штука, как он работает — пока не ясно даже вам, не правда ли? Я запрашивал у вас отчет по делу зэка-1097, где он?

— Вы сказали к утру, еще часов девять есть в запасе.

— Вот и разберитесь с этим. И тогда мы решим, что с вами делать.

А может быть, это я, я решу, что с вами делать. А потом делайте со мной что хотите. Разве я не готов был к этому? Сколько раз до разрешения экспериментов на людях я испытывал свои препараты на себе. И что изменилось? Еще один лабораторный опыт — только теперь не я буду проводить его над собой, а этот самодовольный чурбан. Интересно, кто ему будет ассистировать?

В этот момент раздался звонок.

— О, ваш преданный друг и соратник, любимый ученик, доктор Рыбкин. Что ж, — Дурман раскланялся. — Не буду вам мешать.

44. Камень

Главный корпус заброшенного элеватора высится уродливой громадиной на окраине городка. Это старинное, еще довоенное здание — тяжелое и помпезное, но с изысканной формы окнами, которые зияют черными выщербинами разбитых стекол. Вокруг него и по всей территории элеватора мощно разрослись травы, кусты и деревья — так, что в некоторых местах бетонные стены пошли трещинами, не выдержав напора. Повсюду, сквозь арматуру, вздыбленный асфальт, щелястый битум на крышах, сквозь разломы твердого мира пробивается молодая зелень, такая обманчиво-нежная на вид. Весело шумит на ветру свежими листочками, качаясь туда-сюда одной огромной волной, как что-то живое и мыслящее.

Мы идем туда по одичалой железнодорожной ветке, человек сорок, все — кохры, ученики старших классов, оставшиеся на выходных. Вопреки ожиданиям, Юрочка не уехал, он шагает во фронте, рядом семенит и подпрыгивает на шпалах Цыганок, на груди у него висит медная труба, время от времени он подносит рупор ко рту и покаркивает в него: «Ать-два! Ать-два! Подтянись! Левое плечо вперед! Не отставать! Песню запе-вай!». Никто не обращает внимания на эту клоунаду.

Рита, как всегда, плетется в хвосте, на расстоянии прокаженной, пять аршин, граница с зоной одиночества. Когда дорога сворачивает под ворота элеватора — грубо сваренные, с волдырями на стыках — я приседаю якобы завязать шнурок. На обочине лежит булыжник размером с кулак — Рита, поравнявшись со мной, подбирает его и сует в карман.

— Не вижу Воропая, — шепчет она.

— Тем лучше.

— Вперед, облава! — зовет труба.

Но все и так уже на взводе — пройдя за ворота, толпа набирает разгон, ломится через косматую сныть, сквозь пырей, взбивая сверкающие тучи пыльцы и семян, там и тут разносится индейский клич, визг и хохот.

Кто-то (оказывается, Воропай) хватает меня за плечо и рывком втаскивает в кусты.

— Рита! — успеваю крикнуть я.

Она продирается следом:

— Эй! — ветки хлещут ее по лицу, тянут с головы платок, вцепляются в волосы. — Что за...

Видит его, бледнеет.

— Не ссыте, девочки. Я к вам на стрелку. Звали?

Рита напряженно кивает. Я замечаю, как дрожит ее рука, которую она быстро прячет в карман, оттянутый камнем.

— Ну, пойдём, — говорит Воропай очень равнодушным тоном и, оглядевшись, направляется в непролазные дебри.

Минуты две мы пробираемся сквозь заросли и выходим к какому-то сарайчику с упавшей внутрь крышей. Невдалеке, за полосой крапивы, торчит красный столбик пожарного гидранта.

Отсюда, из одичавшего, онемевшего от долгого безлюдья угла, все наружные звуки кажутся необычайно четкими. «Эй, кохры! Держимся вместе тройками! — кричат от главного корпуса. — Если что — собираемся по сигналу трубы!». Вихрем несется топот многочисленных ног, воинственные завывания и крики. Слышно, как они разбегаются по гулким этажам заброшенного здания.

Мы стоим втроем — среди ветра, шумящей листвы и травы — отделенные от всех слоями близкой тишины и далекой акустики. Воропай, держа руки в карманах, подергивает бедрами и вертит головой, то наостряя ухо, то приглядываясь к нам своим близоруким рассеянным взглядом.

— Ну, чо, давай, — он начинает расстегивать штаны.

— Ты кому говоришь? — спрашиваю.

Он темнеет в лице. Придерживая ремень, подступает ко мне вплотную, словно желая лучше рассмотреть, щурится, обводит носом:

— Тебе, сучка. Или я чо-то не понял? Или твоя подружка меня

нае...

В этот момент Рита с размаху бьет его камнем по голове.

Покачнувшись, он поворачивается к Рите, штаны спадают — все происходит медленно и неестественно, будто кто-то нарочно растягивает и запутывает каждое движение, — хватается за нее и, стреноженный колошниками, грузно валится, подмяв ее под себя. Какое-то время они лежат неподвижно: Рита — навзничь, Воропай — ничком, обхватив ее руками и прильнув головой к ее животу, словно прислушиваясь к чему-то. Тяжело дыша, она выбирается из-под него и с омерзением, с беззвучным утробным воем колотит по нему ногами, пытаюсь оттолкнуть от себя. Его тело отваливается набок.

Рита все бьет и бьет ногами.

На четвереньках, чувствуя себя зверем, я подбираюсь к ней и накрываю ее губы рукой.

— Так-так-так, — раздается голос. Трещат кусты. На полянку выходит Юрочка, а с ним еще четверо — Сухотин, Карпенко, Самойлов и Цыганок с медной своей трубой. — Все всё видели? — Юрочка обвинительным жестом указывает на нас. — Взять их.

Нас хватают и оттаскивают от Воропая.

— Свяжите им руки платками.

Срывают с нас платки и связывают.

Воропай приходит в себя. Держась за голову, он сидит на земле, покачивается и мычит.

— Ыы... Ыы... Бля, Базлай... Чо вы так долго? Эти суки меня чуть не убили. Суки...

— Штаны надень.

Юрочка поднимает с земли брошенный Ритой камень, оборачивается к Цыганку:

— Позови остальных. Скажи: суд будет, — Цыганок прикладывает к губам орало. — Нет, стой. Отдай Сухотину.

Цыганок возмущается:

— А чо, он типа круче, да?

— Да.

Цыганок с раздраженным сопением срывает с себя матюгальник и отдает Сухотину. Тот долго протирает орало рукавом, наконец брезгливо подносит ко рту и, определив стороны света, поворачивается к элеватору:

— Всем кохрам! Внимание! Срочно собраться у восточного

гидранта! Будет суд! Повторяю...

— Будет суд, — торжественным, скорбным голосом произносит Юрочка, глядя куда-то вдаль.

Отовсюду нарастает гул голосов: «Поймали! Поймали? Где? Что? Кого поймали? Нелегала? Невидимку? Подать его сюда!» — и, ломая кусты, на зов трубы выходит вся облава, все сорок кохров. В глазах темно от ужаса и стыда.

Все выстраиваются полукругом и разочарованно замолкают: вместо загадочных неуволимых невидимок — всего лишь мы с Ритой.

— Айю! — говорит Лезга. — Вы зачем девочек связали? Что за херня, малята?

— Тишина! — бьет ребром ладони о ладонь Юрочка. — Объявляю заседание открытым. Так, — чешет он щеку. — Чо там дальше. А, ну типа: слушается дело ученицы девятого класса школы такой-то блабла-бла Гамаюн Риты, Ритули нашей драгоценной, и ее полоумной наперсницы Дерюгиной Дианы.

— Это судья должен говорить, — замечает Сухотин, неуютно поправляя очки.

— А я кто?

— Я думал, ты будешь прокурор.

— А, ну да. Точно. Ну, пусть тогда судьей Воропай будет.

— Он же потерпевший.

— Точно, точно... Ты молоток. Ну, будь ты судьей.

— Нужно еще выбрать членов коллегии.

— Не мудри, Сухотин. Будь проще, как заповедал нам Отец Небесный.

— Сын, — поправляет Сухотин.

— Эй! — окликает их Лезга. — Кончайте уже этот цирк!

— Помолчи, — говорит ему Юрочка с усталой интонацией Ментора. — Тебе слова не давали.

Кто-то изумленно смеется:

— А ты здесь на раздаче слов?

— Да, — очень спокойно говорит Юрочка. — Я здесь на раздаче слов. Кто-то против?

Кто-то против, но ему кричат:

— Да ладно тебе! Интересно же! Ты чего? Это ж Базлай, нормальный кохр, с нохчами рубится как зверь, чо ты докопался, все его знают.

— Да похрен вообще, — сплевывает Воропай и с гримасой едва сдерживаемой боли прикладывает к затылку ладонь. — Знают, не знают. Еще проголосуйте. Прокурор, читай обвинительное заключение! А то развели тут...

— А кто прокурор?

— Ну, кто, Базлай.

— Базлай! Базлай! — кричат со всех сторон. — Давай!

— Ээ... Ну, это... Да, — произносит Юрочка. — Короче, так. Обвинительное заключение... Обвиняется Рита Гамаюн...

Рита вдруг начинает быстро и резко плевать, с ненавистью глядя на него.

— ...Обвиняется... Рита... Так, о чем это я... А, да. В распутном поведении, в результате чего был нанесен тяжкий моральный вред... тяжкий моральный вред...

— Всем членам суда! — подсказывает кто-то из толпы. Хохот.

Юрочка вдруг разъяряется.

— Над чем смеетесь? Или не про вас это сказано: горе вам, смеющиеся, ибо восплачете и возрыдаете! Или не знаете, что несправедные Царства Божия не наследуют? Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистоты и непотребство! Итак, умертвите земные члены ваши. Вырвите глаза свои, если они смотрят на нее (указывает на Риту) без отвращения! Потому что блудница — глубокая пропасть, она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.

— Иуда, — скрежещет зубами Рита.

— Иуда?! — подхватывает Юрочка и обводит толпу пламенным взором. — Слышите? Это говорит шлюха, которая оклеветала нашего друга и брата, одного из лучших кохров нашей школы! И хотела клеветой своей предать его на позорную казнь! А когда не вышло — замыслила убить сама! И втянула в этот коварный замысел свою наперсницу (указывает на меня) — как и было сказано в притчах: умножая между людьми законопреступников!

— Ерунда, — говорю я, чувствуя, что снова бегу по льду вслед за Тимуром, как тогда, в первый раз, на Вихляйке. — Никуда она меня не втягивала. Это я ее втянула.

— Неужели? — Юрочка достает из кармана мятый самолетик, разворачивает. — Ну-ка, почитаем, что твоя подружка написала Воропаю, чтобы выманить его на стрелку? «Завтра на элеваторе у входа.

Динка хочет тебя», — по толпе проносится глумливый шум. — Ну? Что? — Юрочка подходит и хватает меня за подбородок. — Это правда? Ты хочешь Воропая? Ты? Или она просто использовала тебя как наживку? Не надеюсь, что он прельстится... — он оскорбленно сжимает губы, — ее бездеятельным, оскверненным телом?!

Его пальцы — сухие, с заусенцами. С обгрызенными до мяса ногтями.

— Мне все равно, — говорю. — Мне нужны были его мертвые души. Чтобы побыть в одиночестве. Побыть, наконец, в одиночестве. Без вас всех. Я вас всех ненавижу. Меня от вас тошнит.

— Ууу! — жадно гудят кохры.

— Ты зачем Люську утопила? — выкрикивает кто-то.

— Потому что всех ненавидит, сказала же сама! — подхватывает другой. — Вот же лявва мрачная!

— Ша! — хлопает в ладоши Юрочка. — Нишкни, мелюзга. Не все сразу. Кто-то еще хочет выступить?

— Я хочу выступить, — робко поднимает руку Маша Великанова. — Я ничего плохого не могу сказать... Но долг обязывает, — она говорит очень медленно и деликатно, с жалобно-извиняющейся интонацией. — Вот, например, Дерюгина Диана. Ничего не скажу, но... Она все время портила тетради. Я с ней сидела и видела... Это было невозможно, это страшное что-то: она писала мимо клеточек и чиркала на полях. А потом... — Маша страдальчески морщится. — Она вырывала листы! Напишет что-нибудь — и вырвет! Напишет — и вырвет!

— Меня щас тоже вырвет! — идет вприсядку Цыганок.

Хохот.

— Это к делу не относится, — теряет терпение Юрочка. — Мы судим ее за соучастие в клевете и убийстве Демьяна Воропая.

— Разве его убили? — испуганно моргает Маша, глядя на Воропая.

— Неважно. Мы предотвратили это преступление, что никак не отменяет... А что она писала?

— Мне неловко это повторять. Но... Сначала там было что-то про белые кляксы. А потом... — Маша заводит глаза и, вспоминая по словам, произносит: — «Рита дура, Юрочка пустозвон».

Все смеются. Юрочка краснеет, но быстро собирается:

— Это доказывает нам лишь ее собственную глупость. Назвать Риту дурой? Эту матерую лису? — он разводит руками, изображая

крайнее недоумение.

— Дура и есть, — кивает Гольцева. — Даром что стерва. Лиса из нее — как из драной кошки воротник. Дешевка.

— Она нас только позорит! — подхватывает Марьялова. — Из-за нее нас всех называют шлюхами!

— А мне ее жалко, — тонким голосом говорит Усманова. — Она хоть и злая, но добрая. Она щедрая.

— Это потому, что она давала поносить тебе свои заморские шмотки? — язвительно говорит Гольцева.

— А тебе что, нет? Она всем давала.

— Во-во! Она всем давала! — хохмит Цыганок.

Толпа веселится, зубоскалит. Какой-то пацаненок юлой выскакивает из круга, подбегает к Рите и пинает ее в спину ногой. Лезга ловит его за шкирку и легким поджопником возвращает на место.

— Не, ну серьезно, кончайте, — говорит он. — Фигня какая-то...

— Я уже кончаю! — не унимается Цыганок, изображая, будто зажал в кулаке шланг и, тряся, со стоном, направляет струю в небо.

— Лезга, а ты-то чо жужжишь? — кривится Воропай. — У тебя тоже жалко?

— Ему Риткиных сисек жалко! — кричит кто-то.

— Да там нечего жалеть, — ухмыляется Воропай — Да, Лезга? Это ведь ты говорил: тоска, доска и два соска?

— Точно! Сам рассказывал! Все слышали!

Лезга, густо покраснев, отходит и смешивается с толпой, которая принимает его, по-братски гудя и наставляя.

— К порядку! — нервно поправляет очки Сухотин. — Прения закончены. Последнее слово подсудимым. Рита Гамаюн, ты раскаиваешься в своих преступлениях?

Рита поднимает голову, обводит всех тяжелым взглядом, и сквозь налипшие на лицо черные пряди блестит ее оскал:

— Горите в аду.

Все невольно затихают — так страшен ее вид и голос.

Сухотин снимает очки, протирает уголком рубахи и снова надевает:

— Кхм, кхм... А ты? — обращается ко мне.

— Я поняла, — как будто медленно просыпаясь, говорю я.

— Что ты поняла?

— Усманова сказала «она всем давала поносить» — и я поняла. Мы

же все меняемся вещами, просто у Риты такие вещи, которые не на что обменять, ни у кого таких нет... Особые вещи. Хитрые. С секретом. И тут меня осенило, — я поднимаю глаза на Юрочку: скрестив на груди руки, расставив ноги, он возвышается надо мной в резкой перспективе, как циркуль, воткнутый в небо. — У тебя тоже есть хитрые вещи, только ты их никому не даешь поносить. Кроме Воропая. Обманные маячки, мертвые души. Так он и становится невидимкой, — в толпе недоуменно посмеиваются, переговариваются. — Но вот беда, твой друг — кретин, попался нам на глаза в тот день — помнишь? Конечно, помнишь — когда расстреляли детей Жижи, мы гуляли по зимнему парку, и ты распугивал ворон Златоустом, а свидетелей надо убрать, так ведь, Юрочка? Свидетелей надо убрать.

— Кто-нибудь ее заткнет? — угрюмо мычит Воропай. — Или я сам...

— Пусть говорит! — доносится из толпы. — Интересно же!

— Это очень интересно, да, — кивает Юрочка. — С точки зрения клинической психиатрии. Вороны, Златоуст, жижа какая-то, хитрые вещи, свидетелей надо убрать... Учитывая, что ей уже в пленках поставили диагноз «беснование»... Тут все ясно, — он крутит пальцем у виска.

Но в толпе что-то переменялось, все смотрят на него теперь другими глазами — с каким-то затаенным алчным вниманием, как на акробата, который вот-вот упадет.

— А если она говорит правду? — выкрикивает кто-то простодушно.

Юрочка стоит на своих длинных ногах неподвижно, заложив руки за спину. Вдруг по-птичьи наклоняет голову вбок, будто присматривается к чему-то в траве, и медленно делает шаг, другой.

— Если она говорит правду? — повторяет задумчиво, расхаживая туда-сюда. — Что ж, — он останавливается и всплескивает руками. — Тогда, получается, они невиновны! Стало быть, расходимся? — по толпе проносится недоверчиво-разочарованный ропот. — Нет-нет, стойте, это как же так... — Юрочка изображает мыслительный жест, охватывая пальцами подбородок. — А кто же тогда виновен? Если не они... — он выпрямляется и с видом крайнего изумления глядит перед собой. — Значит, мы? Судьи? И выходит, у нас в школе вместо двух залетных преступниц — целая преступная организация? Оп-па! — Он резко хлопает в ладоши. Толпа оторопело замирает. —

Понимаете, что это значит? Это значит, вся школа виновата. Мы все! И ты виноват. И ты, и ты, и ты! — Каждый, на кого он указывает, испуганно отшатывается. — И кто же нас всех будет судить? А? Мы, что ли, самих себя? Разве может такой суд считаться беспристрастным?

Все растерянно молчат.

— Я спрашиваю, — возвышает голос Юрочка. — Может ли такой суд быть беспристрастным? Разве мы не оправдаем самих себя?

— Оправдаем, — доносится чей-то неуверенный голос.

Юрочка прикладывает ладонь к уху:

— Не слышу! Мы оправдаем себя?

— Оправдаем! — кричат уже смелее.

— Все вместе! Мы оправдаем себя?

— Оправдаем!!!

— Да! А почему мы оправдаем себя?

— Потому что мы — роевое сознание! Мы — едины! Наше единство свято! Вместе мы — Правда, которая выше всех правд!

— Истинно так! — Юрочка сводит ладони перед грудью.

— Заключительное слово прокурора! — объявляет Сухотин.

— Обвиняю Риту Гамаюн и Дерюгину Диану в том, что вступив в злоумышленный сговор, оклеветали потерпевшего Демьяна Воропая, а затем попытались его убить. Вот орудие убийства, — Юрочка поднял камень и, держа его перед собой в вытянутой руке, повернулся вправо и влево, как мачтовый кран. — Кроме того, Гамаюн виновна в развратном поведении, порочащем честь и достоинство всего коллектива. В том, что своим примером увлекла на дурную дорожку Дерюгину. Которая, в свою очередь потеряв стыд и страх, открыто начала плевать на волю коллектива в угоду своим низким инстинктам, в цинизме даже превосходя свою наставницу... — он обстоятельно и подробно перечисляет все наши грехи, ничего не упуская. — До поры до времени это сходило им с рук. Но сегодня чаша терпения лопнула. И теперь они должны ответить за все сполна. Требую высшей меры. И пусть орудием правосудия станет то, что они использовали как орудие преступления! — он потряс над головой Ритиным камнем.

Кохры уважительно кивают: «Красиво задвинул». — «А я чот не понял». — «Чо ты не понял?» — «Ну, камень этот. Это типа что?» — «Это типа лечить подобное подобным». — «В смысле?» — «Ну, как. Раз они его камнем, то и мы их!» — «А! Справедливо!» — «Ну! Все по-честному» — «А то!».

— Суд удаляется на совещание, — объявляет Сухотин, на цыпочках подбегает к Юрочке, они шепчутся, Сухотин возвращается в первую позицию и снова объявляет: — Суд вынес решение: признать Риту Гамаюн и Диану Дерюгину виновными по всем статьям и приговорить к побиению камнями. Приговор привести в исполнение незамедлительно.

— Ну, чего стоим? Вперед, за камнями, — машет рукой Юрочка. — А то мы тут до новой луны проторчим.

Все разбегаются.

Остаются только Сухотин, Цыганок, Воропай и Юрочка.

Цыганок ходит кругами, что-то тревожно обдумывая, поглядывая на нас с Ритой быстрым глазом.

— Чот стремно, — говорит он, наконец. — Базлай, слышь, чо. Может, не стоит... ну, в смысле... того... А то вдруг какая-нибудь гнида донесет? Лезга какой-нибудь?

— И что?

— И все! Тогда нам как.

— С фига ли? Мы ничего не сделали.

Цыганок озадачен:

— Так ведь сделаем?..

Юрочка безмятежно качает головой:

— Я и пальцем не шевельну. А ты, Воропай?

Воропай сплевывает сквозь зубы:

— Вот еще, мараться.

— Ну, или они сделают, — Цыганок кивает в сторону ушедших за камнями.

— Вольному воля. Разве мы кого-то принуждаем? Сухотин, скажи?

— Мы и не могли бы, — рассудительно говорит Сухотин, быстро сосчитав в уме. — Их в десять раз больше.

— Никак не могли бы! Точняк, — доходит до Цыганка. — Попробовали бы мы их принудить, да? И ваще, а чо такого, мы просто играли, да?

— Ну, ты понял, — улыбается Юрочка змеиной улыбкой.

Возвращаются кохры — кто с камнем, кто с обломком кирпича, кто с арматурой.

Меня и Риту хватают под локти и выволакивают на середину полянки, Рита вырывается и бежит по кругу под смех зрителей — со связанными за спиной руками похожая на курицу. «Цып-цып-цып!

Цып-цып-цып!» — кричат со всех сторон, она мечется и петляет, Цыганок с Самойловым носятся за ней, растопырив руки. Наконец словили, ведут обратно.

— Привяжите их к пожарному гидранту, чтоб не разбегались! — предлагает кто-то.

Все находят идею разумной. Нас тащат через крапиву к красному столбу гидранта... Когда же все это кончится...

— Так, — говорит Юрочка. — Все готово? Давайте уже закончим это.

— Давай, давай! — кричат из толпы. — А то на обед опоздаем!

Он обводит всех задумчиво-любопытным взглядом.

— Ну, что ж. Пусть тот, кто без греха, первый бросит в них камень.

Все приходят в замешательство. «Что он сказал?» — «Уши прочисти, что. Пусть бросит, сказал». — «Камень! А у меня вон, кирпич!» — «Сам ты кирпич, мудило». — «Так надо ж камень». — «Вот же тупое существо, лютик ты ползучий. Это ж фигурально! Метафора! А так-то бросай чо хошь». — «Значит, можно кирпич?» — «Да хоть гайку от болта. Бросай и не выпендривайся» — «Сам бросай, умник». — «Я с грехом, а первый надо чтоб без греха». — «А кто без греха?». «Левицкая! Левицкая у нас без греха!». — «Точно. Ирка-святоша. Пусть она бросит первая». — «Левицкая, бросай!».

Левицкую выталкивают вперед. Ира стоит, опустив глаза, переминается.

— Вы ошибаетесь. Я очень грешна, — лепечет она. — У меня помарки в дневнике. Я постель вчера невовремя убрала...

— Знаем-знаем, кончай тупить, это не считается! Не ломайся! Ты всех задерживаешь! Люди ждут! Вечно ты всех маринуешь! Давай уже! А то выдумала, помарки!..

Ира послушно вздыхает. Заносит над головой камень и, поведя слабой рукой, бросает неловко. Камень пролетает мимо и с тихим шурхом падает где-то в кустах.

— Мазила! — выступает вперед Гольцева. — Учись, как надо.

Она сосредоточенно прицеливается, переходит с одного места на другое, да когда же это кончится, снова прицеливается — видно, не может решить в кого — в меня или в Риту. Выбирает. Выбрала. Все, конец, слава богу. Последнее, что я вижу, — камень, который, очень медленно и красиво вращаясь в воздухе, летит мне в лицо. Удар — и звезды. Сверкающие россыпи звезд.

45. Четыре всадника

— Дмитрий Антоныч, связь прервалась, я не договорил. Алло, алло!

— Да, мой друг, я вас слушаю.

Он стоял у окна. Краска на подоконнике и рамах была растресканной и местами облупилась, обнажив трухлявое дерево. В зазоре между оконными рамами лежала черная пыль и невесомые, высохшие мухи в паутине. Сквозь давно не мытое, покрытое белесыми плевочками стекло он смотрел на двор, удивительно похожий на двор его советского детства. Разбитый асфальт, расчерченный мелом на классики; голубой запорожец на кирпичач; детская площадка с песочницей, качелями-весами и железной горкой, под которой зияла вечная лужица в ямке. Лысый газон, протоптанный стихийно в разных направлениях. Тротуар, как всегда в сентябре, засыпан ярко-алыми ягодами шиповника. Все именно так, как он помнил. Только вот... Ни одной раздавленной ягоды на земле. Ни души во дворе. Ни звука.

Сейчас он слышал лишь чихание водопроводного крана, который, по совету Дурмана, оставил открытым, чтобы стекла ржавчина. И голос Рыбкина.

— Я выяснил кое-что любопытное, — возбужденно говорил Рыбкин. — О судьбе этого юноши, Тимура Верясова. Помните, мы говорили? Так вот. В мае его призвали в армию, он попал в воинскую часть Смоленского гарнизона и после трех месяцев учебки был направлен в район активных боевых действий. В первом же бою тяжело ранен — а теперь внимание: травматическая ампутация обеих ног и многочисленные осколочные ранения, в результате которых были частично утрачены кости и ткани лица и полностью — органы зрения. Сейчас он находится в госпитале... — Рыбкин сделал драматическую паузу. — Профессор! Вы понимаете, что это значит?

— Ну, говорите уже, не тяните.

— Точка универсума! Вы создали препарат абсолютной памяти! Наш РЕВ не просто работает — а работает на том уровне, куда не поднималась еще ни медицина, ни вообще человеческое сознание! Вы гений, вы открыли дверь памяти не только в прошлое — но и в будущее!

— Иван Семеныч, дорогой. Ради бога, успокойтесь наконец и объясните: откуда такой смелый вывод?

— Ну, как же? Все сходится! Все — до деталей! Все как она и увиде-

ла под нашим препаратом: муж — калека-солдат, без ног, без лица... И заметьте — это не складка ретроспективной памяти, девочка ниоткуда не могла об этом знать и помнить.

— Погодите, — Леднев замахал руками. — Какой муж? Нет пока никакого мужа! И вероятность замужества для нее ничтожно мала. Ее ведь подозревают в поджоге храма? РЕВ подтверждает, что она виновна. Значит, ее должны казнить. Видите, какой парадокс? Если препарат РЕВ работает именно так, как вы говорите, — ее должны одновременно и казнить, и выдать замуж. Это нелепо, — Леднев рассмеялся. — Теоретически, конечно, можно допустить, что в результате какого-то невероятного стечения обстоятельств она окажется на свободе, встретит там своего искалеченного возлюбленного... которого она, кстати, не узнаёт в своих воспоминаниях о будущем, вы заметили? Постылый муж-калека и Тимур — два разных человека для нее... — Он на секунду задумался, усмехнулся. — Интересный момент, не находите? Сам этот сбой показывает, что даже если память о будущем и существует, она такая же дырявая и проштопанная ловами, как память о прошлом.

Рыбкин молчал.

— А во-вторых? — наконец произнес он потухшим голосом.

— Что во-вторых?

— Ну, вы сказали «во-первых»...

— Ах, да. Во-вторых — она, возможно, и видит что-то там впереди. Но кто сказал, что она видит это благодаря нашему препарату, а не... допустим, сама по себе?

— Думаете, она ведьма? Но это... ненаучно, — неуверенно возразил Рыбкин.

— Ненаучно, мой друг, ваше пылкое желание натянуть факты на этот ваш... — он покрутил пальцами в воздухе, — универсум. Вы поддались мечте — и пытаетесь верифицировать свою идею фикс подбором фактов, ее подтверждающих. А следует поступать ровно наоборот — вспомните критерий Поппера. Давайте-ка попробуем вообразить мысленный эксперимент, который мог бы опровер...

Он замер на полуслове, внезапно осененный.

— Алло! Алло! — взволновался Рыбкин.

— Да-да... Я вам перезвоню, — пробормотал рассеянно Леднев и отключил связь.

Он все еще стоял у окна — и сквозь мутные стекла видел огненные

ягоды шиповника на тротуаре. Откуда-то нарастал, словно пробиваясь из реальности в сон, напористый гул воды. Кран! Он так и не закрыл кран. Леднев бросился на кухню. Кран бил прозрачной ровной струей, поднимая облако сверкающих брызг. Он схватил стакан, подставил под струю и, набрав до краев, жадно клацая кадыком, с наслаждением напился.

— Можно жить, — повторил он слова Дурмана и вдруг остро, как в катастрофе, почувствовал себя живым.

Странно: всего лишь несколько часов назад, сегодня утром, он перебирал дорогие костюмы и туфли... Леднев прощально погладил себя по рукаву — ткань ласкалась к пальцам. А все-таки хорошо, что взял викунью. И эти туфли. Он полюбовался на элегантную, безупречной формы колодку, на мягкую кожу, которая облегала ступню как родная... Да, пусть это и глупо. А что ни говори, в красивых туфлях и помирать веселей.

Леднев с холодной печалью осознал, что сегодня его ликвидируют в любом случае: если РЕВ-препарат эффективен как средство идеальной памяти — то, кроме формулы «Кощеевой иглы», нейрограмма заодно выдаст комитетчикам все крамольное содержание его головы, и его казнят как врага. Если же РЕВ-препарат окажется неэффективным и комитетчики не получают формулы — это приговор ему как ученому, и его казнят как мошенника. А учитывая то, что он видел сегодня в кремлевском бункере — его еще и дополнительно казнят — как свидетеля.

Однако я могу спасти эту девочку. Зачем? Что мне до нее? Почему? А потому что... могу. И потому что это красиво. Потому что это красиво. Дмитрий Антонович невольно улыбнулся.

— Вижу, вы в хорошем расположении духа? Ну, вот и ладненько, — Дурман появился, как всегда, бесшумно и неведь откуда. Вероятно, где-то в квартире есть потайная дверь, соединяющая ее с другим помещением.

— У меня отчет готов, — сказал Леднев.

— Прекрасно! — следователь живо огляделся. — И где же он?

— Он умещается в три кратких слова.

Дурман нахмурился и, шумно вздохнув, упал в кресло.

— Вы... Вы просто какой-то... несносный ребенок. Еще язык покажите.

— Стойте-стойте, вы, кажется, не так меня поняли, — простодуш-

но рассмеялся Леднев. — Три слова — это не то, что вы подумали! Это — «я не знаю». Я не знаю! Вот и весь отчет. Надеюсь, Сократ разделит мою скорбь, когда я встречу с ним в первом круге ада.

— Это неправославный ад. Духовно нам чуждый. Так что не надейтесь, — проворчал Дурман. — Мы вам обеспечим наш родной сермяжный ад. Если вы не перестанете кривляться.

— Боже упаси, кривляться, вот еще. Я серьезен и прям, как столб электропередач. Вас ведь интересует, действительно ли РЕВ-препарат дает, грубо говоря, способность видеть будущее? Вот почему вы мгновенно опечатали и засекретили Лабораторию Памяти, да? Если РЕВ — это, как там сказал доктор Рыбкин, точка универсума — то мы имеем вид совершенно нового, уникального оружия. Онтологического оружия. О, это было бы самое могущественное оружие в мире! Кто владеет временем — тот владеет всем. Так вот: я не знаю. Но если вы меня спросите, что я об этом думаю... Что ж, я могу повторить только то, что вы уже наверняка подслушали из нашего разговора с Рыбкиным: воспоминания о будущем — невозможны. Вот что я об этом думаю. Невозможны в принципе, и не важно — вангует ли пациент сам по себе или под нашим препаратом — это всё ловы. Конфабуляции. А раз пациент под РЕВ-ом выдает ловы — значит, РЕВ не работает, и я должен признать свое научное поражение.

Леднев, безмятежно улыбаясь, развел руками.

Дурман мрачно и подозрительно засопел:

— И что же вам мешает его признать?

— Ну, — смилостивился Леднев. — Я ведь могу быть не прав. Ну-жен опровергающий эксперимент.

— Какой?

— Элементарный. У нас ведь одна такая подопытная? Отпустите ее. И наблюдайте, не вмешиваясь. Если ее предвидение насчет мужа-инвалида сбудется с достаточной точностью, в подробностях — значит, я, возможно, неправ, и память о будущем, возможно, существует. Возможно. Но так ли это, и какова ее природа, и действительно ли эту память запускает РЕВ — это все вопросы, которые требуют дополнительных многолетних, кропотливых исследований.

— Я предлагаю вариант попроще. Мы ее сегодня же ликвидируем. И посмотрим, как после этого исполнятся ее предсказания.

— Сделайте одолжение, — сказал Леднев как можно признательней. — Это сразу, без лишних хлопот, докажет мою правоту.

— И вашу научную несостоятельность?

— И мою научную несостоятельность.

— Все-таки это абсурдно, не находите? Чтобы доказать, что вы правы, надо доказать, что вы неправы. Или наоборот... Я уже запутался.

Леднев пожал плечами: мол, что поделать.

— Не понимаю! — Дурман шагнул к раковине и нервно, с досадой переключая кран, автоматическими движениями вымыл стакан Леднева. — Не понимаю. Зачем вы сами себе яму роете? Вы же, отрицая себя как ученого, вы же сами себе подписываете смертный приговор! Формулу Кошечевой иглы вы украли и не помните, РЕВ у вас не работает. Это что же, государство пятьдесят лет тратило огромные деньги на мошенника и вора?

— Выходит, так. Глупое какое-то государство получается, да? — ехидно поежился Леднев.

Дурман медленно заиндевел. В глазах его застыл какой-то хтонический ужас. Он поставил стакан, не глядя, снова взял, обернулся вокруг себя, как слепой, сдернул с крючка полотенце.

— Думаю, — бескровным голосом прошелестел он, — в вашем предложении есть резон. Мы ее отпустим. А что. Интересный эксперимент, да, определенно... Да... Ну и что, что долгий? Быстро только кошки родятся, хе-хе... Понаблюдаем, посмотрим... — Руки его бессмысленно и бодро натирали стакан полотенцем до стекольного визга. — Поизучаем. А что. Мы это любим. И вы, и мы. У нас с вами много общего, так ведь, Дмитрий Антоныч?

Леднева слегка передернуло: «у нас с вами». Он едва не вспыхнул — нет между нами ничего общего! — но сдержался. В тесной маленькой кухне, стоя лицом к лицу со своим врагом, он впервые заметил, насколько тот мал ростом — Леднев видел перед собой его плешивую макушку с жидкими пучками волос над ушами, — мелькнула мысль: а ведь мне ничего не стоит... Полка с ножами — как раз на моей высоте, на расстоянии моей вытянутой руки. Схватить — и в шею.

— Как вам угодно, — пробормотал он и вышел.

Лег на диван, лицом в потолок. И почему я решил, что спасу ее? Даже если Дурман выполнит обещание и ее оставят в живых. Может, она совсем не хочет жить в том будущем, которое увидела?

Закрыв глаза. Что теперь? Он почувствовал себя ножом в киселе.

— А не хлопнуть ли нам по рюмашке в знак, тксзать, примирения?

Голос вежливый и сухой, немного усталый, неуловимо проникновенный. Мелкие шажки — туда-сюда — на мягких подошвах. Запах — суконный, фабричный, с прокисшей отдушкой безликого одеклона и свежим амбре отрыжки. Движения скованные — одежда шуршит при ходьбе, как у робота. Забавно, — подумал Леднев, — закрытыми глазами ты видишь как будто гораздо полнее, ярче. Может быть, именно поэтому я в детстве и зажмурился во время игры в прятки — не чтобы спрятаться от человека, а чтобы обнаружить человека?

Звякнуло стекло, забулькало что-то, разнеслось сивушными парами.

— Ну? Мир?

— Я ни с кем не воевал, — Леднев открыл глаза.

Дурман сидел перед ним в изголовье с рюмкой полынного самогона в руке, как заботливый врач с микстурой. И — да, это была именно та микстура, о которой Леднев мечтал на протяжении всего этого безумного дня. Стараясь сохранять достоинство, он приподнялся на локте и, деликатно взяв рюмку, опрокинул в рот.

— Вот. Правильно, — Дурман достал из-за пазухи серебряную флягу, налил себе в другую рюмку и, чокнувшись с воздухом, выпил. — В этой войне мы на одной стороне. Мы все — солдаты одного генерала.

— Пацука? — криво усмехнулся Леднев.

Следователь закатил глаза:

— Ох, Дмитрий Антоныч, вы же умный человек. Нехорошо. Мы кто, по-вашему? Лабазники? Наемники? Хлебалы при дворе? Одному государю послужили — накладно, зарезали — теперь другому послужим? Нет, бери выше. Мы только Богу вручены, вот наш небесный генерал, и мы его земное воинство, а буде кто ссучится, хоть сам Помазанник, — накормим железной крупой — как нашего новопреставленного, за то, что предал Завет.

— Завет? Какой завет? — тихо обалдевая, спросил Леднев.

Он чувствовал, как самогонка разносится по крови свежим, весенним, светло-зеленым ветерком. Хотелось смеяться и бежать, бежать куда-то вдаль. Будто он никакой не профессор, а молочный жеребенок. И он побежал, побежал... И почему-то именно в этот момент отчетливо увидел, что лежит, как бревно, на диване, уставив острый нос в потолок.

— Известно какой, — Дурман постучал по тумбочке рядом с ухом

Леднева.

Дмитрий Антонович скосил жеребячи глаза — на тумбочке лежал томик Нового Завета.

Следователь взял его и протянул Ледневу:

— Откройте на Иоанне Богослове. Откровение, шестая глава. И прочтите вслух.

— Я, знаете ли, привык читать эту книгу в одиночестве.

— Не капризничайте. Берите и читайте. Берите, берите.

Лучше не сопротивляться, решил Леднев — ему хотелось побыстрее избавиться от Дурмана и хоть немного напоследок побегать в зеленой траве на свободе, наедине с собой. Он взял книгу, нашел нужную страницу и забубнил:

— «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь»... Слушайте! — не вытерпел он. — К чему все это? Я вам что, мальчик на табуретке?

— Вам скучно? Вам кажется, в этом тексте нет смысла? — прищурился Дурман.

«Я бы сказал, что это поэзия», — хотел красиво отвертеться Леднев, но одумался: если так ответить, то получается, что священное писание — всего лишь художественный вымысел, симулякр. Не то чтобы он боялся наказания за крамолу, но сама мысль о религиозном споре вгоняла его в тоску.

— Не знаю. Будем считать, что мы просто многого не понимаем, — дипломатично повернул он.

— Вопрос в том, почему не понимаем, — сказал Дурман. — Мы не учитываем историческую контекстуальность языка. Если вам покажут нечто из будущего, чего не существует в настоящем, — вы не сможете даже приблизительно описать это нечто, так как способны оперировать только известными вам идеями и терминами. Допустим, человек 19-го века, чьи самые смелые футуристические ожидания связаны с паровым двигателем, попадает в наши дни. Более-менее адекватно наш хронолаз сможет описать только роботов, ведь культура к 19-му веку уже накопила множество идей об искусственных людях. Он назовет робота механическим человеком или живой ку-

клой, однако и современники, и потомки его поймут. Но попытайся он описать все остальное — и выйдет бред. Говорящий по гарнитуре покажется ему сумасшедшим. Зуз-тела он назовет призраками, воздушные экраны — миражами, а людей, которые ими управляют, — фокусниками или колдунами. Мир будущего, таким образом, в его описании будет выглядеть как мир, населенный безумцами, призраками, черными магами и живыми куклами. А теперь представьте человека времен Христа. Хоть он и апостол...

— А, так мы вернулись к Иоанну Богослову? — ребячливо перебил Леднев. — Нормальный крюк.

— Хоть он и апостол, — терпеливо продолжал Дурман, — но заключен в тот же исторический кокон, что и обычные его современники, пасущие коз на галилейских холмах. Уровень техники — осел с тележкой и водяное колесо. И вот ему отворяют зрение — дверь в грядущее: иди и смотри... Он смотрит — и видит последние дни человечества. Конец времен. Но как он может описать увиденное? Как человек эпохи гужевого транспорта. Отсюда — все эти метафоры про коней и всадников.

— Очень интересно, — пробормотал Леднев. — И что же на самом деле, по-вашему, означают эти метафоры про коней и всадников?

Дурман снова достал флягу: «мм?», Леднев кивнул: «угу» — и принял сидячее положение, скрестив ноги по-турецки и уперев худой позвоночник в спинку дивана.

— Никаких загадок не останется, — разливая по стопкам самогон, который выбулькивался из горлышка фляги тяжелыми венозными толчками, сказал Дурман и, подавая рюмку Ледневу, задержал руку на свету, рассматривая игру бледно-зеленых лучей в хрустальных гранях. — Если смотреть на главное — цветовую дифференциацию коней. Белый. Красный. Черный. Серый. Ничего не напоминает?

— Хм. Ну, положим, это похоже на то, как в народе называют наши секретные службы — серые, черные и красные. — Леднев принял рюмку и стремглав выпил, чтобы не чокаться с ним. — А Белый что такое?

Вторая стопка, казалось, прошла не в кишечник, а прямо в голову: все стемнело вокруг, и у Леднева открылось туннельное зрение: он теперь видел только Дурмана в конусе белого света, как шахтер с фонарем во лбу — и Дурман был весь как-то чудесно преображен в этом свете, но стоило отвести взгляд — Дурман исчезал как явление, переходил в периферийную тьму небытия, навсегда забывался,

словно его и не было, и его место занимали предметы, которые попадали в белый конус — тумбочка, угол стены, штора, — необычайно детализированные и тоже преображенные, исполненные мистического смысла, словно сама ткань вещей была прошита драгоценными нитями истины.

— А вы подумайте, — донесся далекий голос, Леднев повернулся на звук — и снова в его волшебный шахтерский фонарь попал Дурман — он вопросительно смотрел на Леднева, как учитель, ожидающий ответа.

Тот пожал плечами:

— Государь?

Дурман разочарованно вздохнул.

— Вы! Это вы, что ж тут непонятного. Вы и есть белый всадник. Вся наша Служба Секретной Науки в вашем лице. Белые халаты. Понимаете? Белый всадник — белые халаты! И вы первый среди них — как столп, как отец-создатель нейрорегенератора.

Леднев уронил голову в ладонь и тихо рассмеялся. Но тут же потерял Дурмана из конуса туннельного зрения и снова навсегда забыл о нем.

— ...Наши ученые-богословы пришли к выводу, — донеслось из тьмы, — что Иоанну Богослову была показана современная Россия. И в ней — четыре силы, предвещающие гибель человечества, Второе пришествие и Судный день. А чтобы апостол мог различить эти силы, адекватно воспринять и передать потомкам, Господь окрасил каждую из них в свой цвет. Ну, как тебе, Дима? А?

— Вставляет, — прошептал Леднев.

— Вот то-то же, ага? А как бы иначе эти цвета в точности бы соответствовали народным названиям наших органов? Заметь: народные названия. То есть никто сверху не мог симулировать это соответствие, знаешь, там — прочитал Откровение и такой: о, парни, а давайте-ка назовем наши органы по мастям четырех всадников Апокалипсиса. Это складывалось в языке последние полвека естественно, стихийно — и сложилось вместе с явлением. Серые — Тайная Служба Экономической Безопасности, или по-простому «кошельки». Черные — Служба Духовной Безопасности, или «рясы». Красные — это армия и все силовые структуры, или «фуражки». С самого начала, кстати, наиболее внятный по значению конь — красный. «И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга;

и дан ему большой меч», — прочитал он. — Ясно, что речь о войне. Здесь нет расхождений между древними и современными толмачами. Хотя, следует сказать, патристика не была однородной во мнениях, и, например, святой Андрей Кесарийский толковал красного всадника как-то иначе. Зато он более других приблизился к пониманию, что такое черный всадник. У него в руке мера, а его лошадь многословнее других животных. Она, эта лошадь, прямо говорит: «едея и вина не повреждай». О чем это? Конечно. Это про евхаристию. А что такое мера? Судные весы. Этой мерой мы измеряем добро и зло мира и воздаем нашим духовным — внешним и внутренним — врагам. Понятно, что Черный всадник — это черные рясы клира и шире — все черные кители Духовной безопасности и Внешней разведки. Ну? Видишь, как все совпадает?

Леднев тревожно огляделся. Он почувствовал тоску слишком рано подступающего похмелья. И точно: фонарь туннельного зрения угас. Его чистый, полный несказанного смысла луч разошелся, рассеялся в тусклом комнатном свете. Чудо исчезло.

— Теплая ламповая обыденность, — проговорил он. — Убогая кондовость вещей. Вот что я вижу. Все тупо по полочкам. Черное к черному, белое к белому, рясы, кители, халаты — чисто как в скорняжной лавке.

— Все видимость! Грубые покровы. Ну а как без них? Так нам истина и является — в нищенских ризах, а узрей мы ее во всем горнем грозовом блеске — ослепнем. — Дурман налил еще по стопке. — Я тебя понимаю, Дим. Тебя снедает тоска по красоте, которая у тебя редуцируется в погоню за всеми этими... — он кивнул на коробку с Мавкой, — глиняными человечками. Все ищут красоты, а населяют вокруг себя каких-то големов. Глиняных человечков. Может, и Бог так...

Он замолчал.

Третья рюмка прошла незаметно, и Леднев не сразу понял, в чем ее коварство.

— И апостол хотел красоты, — продолжал Дурман. — Вот и назвал серого всадника «смерть». Потому что в этом есть пафос. Да. Высокий пафос. Апостол, человек высоких страстей, записал, как понял. А как он мог записать? Серый всадник — это воры в седле власти? Клептократы с их компрадорами, которые косят бабло с земель преданного ему народа, пожирая его будущее, как Хронос пожирает

собственных детей? И народ ликует. Как это можно понять? Как растолковать, чтобы вышло не вульгарно? Ну, как... Вот, всадник с косой, срезающий время жизни человеческой, — то есть, Мрачный Жнец. Восходит к Хроносу. Вот исторический и символический контекст, в котором мыслит апостол и близкие к нему богословы. Именно так с античности изображалась смерть — мрачный жнец с косой, именно так изображали бледного всадника и художники, следуя традиции. Но мы-то теперь понимаем. Время. Здесь ключ к разгадке. А вовсе не в таргумах. Не в пресловутых трудностях перевода с одного древнего языка на другой древний язык. А в том, что нет перевода с языка будущего на язык прошлого.

Звук его голоса как бы членится на периоды и растягивается в спираль, сквозь которую Леднев проталкивается сознанием, как гусеница. Ему вдруг показалось, что он ползет сквозь этот разговор тысячи лет, он не мог вспомнить — когда все началось, где он, кто и зачем. Полынная самогонка. Это все полынная самогонка, напомнил ему другой, трезвый Леднев откуда-то из уголка ума.

— Страшная штука, — он растер ладонями лицо. — Как это остановить?

Он попытался зацепиться вниманием за какую-нибудь близкую мелочь, за краешек повседневности, чтобы прекратить это жуткое брюхоное сползание в пустоту. Царапина на лакированной поверхности тумбочки. Белая, с кудрей стружки. Он пригляделся. Царапина расширилась и превратилась в трещину — трещина раскрылась, он заполз в нее и снова провалился в безвременье. Прошли зоны световых лет.

— Как остановить? — переспросил Дурман где-то на другом конце вселенной. — Мы как раз этим и занимаемся прямо сейчас. Ты, я... Вся Россия. Миссия у нас такая, Дима. Старцы сказали. Ты спросишь: почему Россия? Так я тебе отвечу: а хуй его знает почему. Только одно известно — что Россия. А почему Россия — неизвестно. Просто кто-то правильно вкурил Откровение. И теперь мы имеем то, что веками искали всякие там славянофилы и западники — русскую идею. Исполнить Завет! Истребить весь внешний мир, над которым властвует князь Тьмы, и тем самым приблизить Судный день, Второе пришествие и Царствие Божие. Мы до сих пор не решались произнести это — потому что серые перешли под власть внешнего мира, где жизнь любой самой никчемной шкуры объявлена абсолютной цен-

ностью. Но теперь мы поставим серых на место. А место их — последнее в нашем ряду. Они должны идти за нами, а не наоборот. А ты — впереди нас.

—Я? Почему я?

— По порядку. Ты Белый всадник. Лучник со стрелами времени в колчане. Ну, сам подумай. Что такое репликантная медицина? Наука о бессмертии. Древние богословы веками чесали бороду: кто такой этот Белый всадник — то ли Христос, то ли Лжехристос? Но кто же мог тогда предвидеть, что придет человек в белом халате и принесет миру шприц с лекарством против тления и смерти. Лжехристос, лжевоскресающий. Лжевоскресающий! Понял, да?

Леднев расхохотался.

— Смешной ты, Дурман! И толмачи твои смешные. Я тебе таких версий сам насочиняю... вот прям из воздуха, — он зачерпнул рукой, раскрыл ладонь и дунул. — Четыре всадника — это четыре алхимических элемента, четыре стихии: Белый — эфир, Красный — огонь, Черный — земля, Серый — вода. И все обозначают смерть, поступательную гибель человечества. Белый — смерть от эфира — токсичная информация, которая поражает сознание. За ним идет Красный — огонь и война, кровь. За войной идет голод — Черный всадник с мерой в руке — смерть от бесплодной выжженной земли. И замыкает все это смерть от воды — какой-нибудь очередной вселенский потоп, Господь это любит. Остатки выживших смоются в апокалипсическую воронку вселенской канализации. А затем придет Ад. Как на картинке.

46. Огонь

Какая светлая ночь!

Высоко в небе стоит луна, а по ней внахлест мчатся бумажные облака. В глубоких черных прорехах мерцают звезды — большие, яркие, и маленькие, едва пульсирующие, а вон та, самая крошечная — то ли есть она, то ли нет — все время пропадает, такая пугливая: если смотреть на нее прямо — мгновенно прячется, а если рассеять взгляд, притвориться, что тебе все равно, — сразу увидишь ее.

Такая же, как я. То ли есть, то ли нет.

Кто я? Где?

Я умерла?

Нет. Боль. Я вся — одна сплошная боль. Значит, жива.

Слева — стена, справа — стена. Доски, щели. Что-то ветхое. Сарай. Крыши нет. Какие-то балки, обломки. Я в сарае с обвалившейся крышей. Где-то я его видела... Где? Крапивное поле, пожарный гидрант... Элеватор. Облава. Всем собраться по сигналу трубы. Зачем? Не помню... С трудом поворачиваю голову — и прямо перед собой вижу мертвое лицо Риты. Залитое лунным светом, все — в спутанных волосах, как в черной паутине. Рот приоткрыт, блестит в белоснежном оскале, и между зубов высунулся серый кончик языка, словно дразнясь. Значит, они все-таки нас убили. И спрятали в этом сарае. Я пошевелила рукой — она казалась чужой — кое-как завела ее под затылок. Сквозь слипшиеся от крови колтуны нащупала рану. Да. Они вырезали из нас светляков, прежде чем уйти. Значит, меня больше нет. Я свободна.

Я могу идти куда захочу. Под этим звездным небом. Идти, идти, идти — до самого края земли, и там, за краем, навсегда исчезнуть, как исчез когда-то отец. Идти в никуда. Больше некуда мне идти.

Где-то совсем рядом поет соловей. Если бы можно было стать его голосом. Или всего лишь веткой, на которой он сидит. Смолой и соком, которые текут и поднимаются от корней. Землей, куда уходят корни. Перегноем, из которого растет трава. Ритой, которая скоро станет перегноем. Всем чем угодно, только не тем, что я есть, что от меня осталось. Лучше бы не осталось ничего. Почему они меня не добились? Не заметили, что я еще дышу? Или им было все равно? Кончились камни, кончилась игра, боялись опоздать на обед — какая разница...

Как они там сейчас? Уже поужинали, уже прозвенел отбой, и с вечерней молитвой все улеглись по койкам. Спят. Утром их, как всегда, выгонят на зарядку, и физрук, как всегда, будет орать «целуйте землю, отжимаясь», и в окнах столовой будут мелькать локти поварих и бродить сонные тени дежурных. И так день за днем, день за днем, одно и то же. Но меня там больше не будет. Я больше не буду жить среди них и пялиться на все сквозь корку неясного смысла, не понимая: зачем это все? И почему оно именно такое? Узкие спальни, заставленные рядами железных кроватей, вафельные полотенца на спинках, пол, крашенный в семь слоев, разноцветно облезлый и вытоптаный до гнилой доски, заклеенные пластырем стекла, захватанные руками вы-

ключатели, засиженные мухами плафоны — один разбит, из черной дырки торчит мертвый патрон. Шкаф с косой дверцей, вечный этот шкаф, и всегда из него свисает, как язык из пасти старой собаки, чей-нибудь рукав или платок, и в каждой спальне точно такой же шкаф, и всё точно такое же, только цвет и узор слегка различаются. Вечное зеркало в черных оспинах — и перед ним крутятся-вертятся девочки — у всех одинаковые надежды, одинаковые одежды, выбирай: коричневая трудовая роба или домашняя форма — юбка-мешок, холщовая рубаха, кумачовый платок.

Неужели Бог создал Вселенную для того, чтобы обставить ее железными кроватями с вафельными полотенцами на спинках? Миллиарды звезд — и между ними несемся мы, на скрипучих пружинах 13-й уездной мебельной фабрики.

Зачем? Почему? Почему меня так пронзает вид каждой топорной детали? Волдыри на батареях. Кривые углы подоконников и ровные, в струну, края постелей. Есть ли какой-то смысл в этом безобразном однообразии? Каждая деталь быта мне кажется насмешкой над замыслом Бога. Разве могла быть в его планах идея такого стола, стула, шкафа — любого из этих грубо сляпанных предметов? Ах да, это не он, это мы. Только вот зачем мы ему, такие? Криворукие, криводушные. С такими поделками — грубыми, вялыми. Вот есть же ветка, соловей, облако, ветер — к чему сколачивать нашими кривыми руками хромой табурет? Непонятно.

Завтра они встанут и начнут все заново. Но я больше не буду, Господи. Я не буду никогда больше сколачивать вместе с ними этот хромой табурет. Никогда я не скрипну ржавой пружиной во сне, безмятежно переворачиваясь с боку на бок.

Внезапно удавкой захлестывает тоска. Мне хочется — нестерпимо, до спазма — оказаться там, среди них, в чистой постели, в прежней своей жизни, будто ничего не было. И чтобы, как всегда, щелкала в тишине ненавистная стрелка на больших настенных часах, и циферблат светился во тьме. И дыхание. Слышать отовсюду живое дыхание. Кто-то бредит, кто-то храпит, кто-то во сне ловит рыбу — пусть. Только бы кто-то дышал рядом. Только бы не так, как сейчас. Свобода? Зачем она? Что мне с ней делать, куда идти? На край земли, на край земли... Куда ни пойдешь — всюду будет край земли.

Или вернуться туда, приползти к ним: «вот, я жива», и пусть они меня добьют. Нет, не добьют. Они ведь не злые, было видно: они

делали с нами это не по злобе, без ненависти, а так, из какого-то бездумного удовольствия, из лихости. А тут я заявлюсь, жертва экзекуции, немой укор — какое уж тут удовольствие, какая лихость, одна морока. Могут и добить, конечно, но не воображай о себе много: больно ты им нужна. Не нужна. Я не нужна, вот в чем все дело. Не нужна.

«Не нужна! — раскатывается эхом голос отца Григория. — Ой, горе-страдание! Поплачь еще о себе, тоже польза!». Зачем вы здесь, батюшка? Вы же в мае еще отмаялись, богу душу отдали, скончались от кагора. «Зачем?! Зачем?! За совестью твоей пришел! — зловеще хохочет Григорий и черной тенью кружит надо мной. — Я-то что, выпил лишка — да и помер Гришка. А братьям нашим в срубах гореть, как раскольникам! Отец-настоятель Андрей, диакон Антоний, Лешка-пономарь и все причетники наши — все погибнут огнем из-за тебя, а все потому что пустили бабу в алтарь. Говорил я, говорил! От бабы жди беды! Баба и в рай пойдет — черта за пазухой пронесет». Какого черта? И как я, тварь ничтожная, виновата во всех этих грядущих бедах клира? «Да уж известно как. Станут тебя искать, а найдут по твоим следам дорожку в нашу тайную крипту. Грот иконописцев. Помнишь, что случилось в северном приделе два года назад? Братья сожгли его, чтобы спасти иконы. Теперь нужно сделать наоборот: сжечь крипту с иконами, чтобы спасти братьев. Ты поняла? Ты знаешь, что делать и куда идти? Вход — через северный придел, сгоревший алтарь, рычаг повернуть четыре раза — сперва вверх, затем направо, налево и вниз». Последние его слова звучат как инструкция. «Не перепутай! Крестом осени себя», — требует он. Я крещусь. «Теперь запомнишь». Отец Григорий медленно превращается в облако звезд, и, насквозь проколотый иглами света, колышется ветром и плывет, и плывет, не сходя с места, прощально угасая.

Не найдут.

Теперь я знаю, куда идти и что делать. Я знаю. Еще есть время. Еще поет соловей и не выпала роса. Я могу еще что-то исправить. Я успею. Там есть все, что мне нужно: деревянные доски, много-много бумаги, банки с растворителем, керосиновые лампы, спички, газовый баллон и хорошая обратная тяга.

47. Лунная программа

Где-то за стеной поет радио:

Грубым дается радость,
Нежным дается печаль.
Мне ничего не надо,
Мне никого не жаль.

Рассвет.
Пить. Очень хочется пить.
Воды...

Корчась от головной боли, он обернулся одеялом и, как раненый боец, пополз на кухню. И только упершись лбом в какую-то незнакомую дверь, вспомнил, что он не у себя дома.

Дверь открылась — и Леднев вошел.

Он оказался в большой комнате без окон. В центре стояла камера сенсорной депривации, специальная модель для РЕВ-сеансов. От обычной она отличается лишь тем, что в ее стенку вмонтирован электрический модуль для КМИ-соединения провода, который подключается изнутри камеры к телепатическому кортекс-шлему в голове испытуемого, с проводом, подведенным снаружи к компьютеру и дешифровальному аппарату. Внутренний провод достаточно длинный, чтобы человек в камере мог свободно дрейфовать на воде, не чувствуя его натяжения, и тонкий, как волос, чтобы его случайные прикосновения к телу не ощущались.

В остальном это традиционная Лилли-капсула — большая ванна с герметичной крышкой, заполненная раствором английской соли. Яйцо гидроневесомости в металлической скорлупе, сквозь которую не пробивается внешний мир. Ни звука, ни света, ни запаха, ничего, что удерживало бы связь ума с координатами пространства и времени. Идеальный фон для работы РЕВ-препарата — отсутствие всякого фона.

В комнате находилось несколько человек. За столами у мониторов сидели неизвестные, которые никак не отреагировали на его появление. Возле депривационной камеры с видом гостеприимного хозяина стоял Дурман. А за ним, у дальней стены, в медицинском уголке с кушеткой и набором кибер-ассистентов, он увидел сгорбленную спину

в белом халате.

— Иван Семенович? — узнал Леднев, испытав радость вперемешку с разочарованием.

Рыбкин с трудом, словно это доставляло ему мучительную боль, обернулся. Взглянул, быстро сморгнул, опустил голову.

Дурман вовремя заслонил его, скорым шагом выступив Ледневу навстречу:

— Дима! Проходи, проходи.

Откуда эта фамильярность? Ах, да... Он вспомнил: полынная водка. Леднев зажмурился от стыда: как так вышло? Он меня уменьшительным «Дима» и на ты, а я даже имени его не помню. Нет, понятно, что все эти особисты-невидимки обучены разным хитрожопым приемчикам – типа, как пить из одной бутылки с лохом и не хмелеть. Тем более противно. Неловко за себя.

— Куда? — спросил он сухо.

— Сам знаешь, — сплусился в фальшивой улыбке Дурман. — Это же твой метод. Метод профессора Леднева.

Знаю, знаю. По «методу профессора Леднева» сперва тебе, профессор Леднев, введут под череп телепатический кортекс-шлем — сеть нанозондов с датчиками. Это не больно, ты же сам знаешь. О да, теперь-то я знаю, как это не больно. Если вы не заметили, мне уже давно ввели. Ах, да. Конечно-конечно. Тогда переходим ко второму этапу. Сюда, пожалуйста, сюда. Разденься. Расслабься. Сейчас тебе введут внутривенную инъекцию РЕВ-препарата. Да, мне не терпится поскорее перейти к этому этапу. Ну еще бы, ради него ведь все и затевалось — РЕВ-препарат, ты ведь работал над ним двадцать последних лет. Готов? Сейчас Рыбкин, избегая смотреть на тебя, похлопает своей дружеской рукой по твоей вене, чтобы найти хороший вход для иглы. Инъекция начнет действовать через двенадцать минут. Дофига времени, чтобы переместить тебя в депривационную камеру, подключить твой кортекс-шлем к компьютеру и погрузить тебя в соляной раствор — вернее, положить на соляной раствор, это довольно-таки необычное ощущение, лежать на воде буратиной, но ты ведь купался в Мертвом море когда-то, полвека назад, главное тут — лежать смиренно. А ведь и правда, я и забыл, полвека — не шуточки. Вот и вспомнишь. Ты все вспомнишь, когда над тобой захлопнут крышку. Там, в полной темноте, тишине и невесомости, отрезанный от настоящего, ты проживешь заново свое прошлое, как впервые. Как впервые. Нет,

ну ты загнул. Пряма-таки все прошлое? Ну это уж ты загнул так загнул, Дима. Да, теа суфра, загнул. Размечтался, извини. Разумеется, не всё. Не всё. Если только в качестве *логоса* тебе не запустят в мозг слово «мама» — или какое там первое слово произносит младенец? «Дай»? Вот тогда ты проживешь все сначала. А если это будет, допустим, слово «Дурман» — тогда ты проживешь с начала всего лишь этот нелепый день.

Перед тем как захлопнуть над ним крышку, Рыбкин наклонился и тихо произнес:

— Простите меня. Я... я...

— Бросьте, — Леднев улыбнулся. — А помните, друг мой, как мы говорили о детстве, лягушках и прочей ерунде? Вы еще сказали, что у вас не было бабушки. Вот ведь!

Рыбкин присмотрелся сквозь Леднева к чему-то своему, замер... Вдруг в глаза его вошла какая-то мысль и все черты благодарно просветлели — Леднев много раз видел такой взгляд, когда давал толковому студенту на экзамене подсказку.

— Да, Дмитрий Антонович. Да, я все помню.

Крышка захлопнулась.

Леднев оказался в абсолютной темноте и тишине. Он лежал на воде, слегка покачиваясь и дрейфуя, не чувствуя веса и границ своего тела — благодаря температуре и плотности соляного раствора. Он и сам стал как соль, растворился в этой воде, или — как масло разошелся по ее поверхности, но маслом скорее были его мысли, а тело исчезло. Вскоре — или через века? — исчезло все: вместе с ощущением пространства исчезло и ощущение времени, и слова «вскоре» и «через века» перестали иметь какой-либо смысл. Осталось только то, что, вероятно, называется «я» — но оно никак не называлось, а просто висело маленькой серебряной гирькой в пустоте. Каким-то образом было понятно, что пустота — это то, что раньше называлось умом. И что гирьку можно переместить из «ума» в любое другое «место» — и она просилась в центр, чтобы все уравновесить. В центр чего? и что уравновесить? — спросил бы Леднев, но так как Леднева больше не было, а была маленькая серебряная гирька, она просто переместилась в центр всего — и все возникло заново. Он почувствовал и себя, и воду, ее легкие медленные колебания, и даже едва уловимые прикосновения КМИ-провода к телу — но теперь все сделалось

иным: и вода, и тело, и провод, и тьма, и воздух, и пустота — все было разным, но состояло из одних и тех же сверкающих гранул, словно разверзлась звездная карта. Он впервые почувствовал себя так полно и глубоко, так прозрачно и ясно, так отдельно от всего и так едино со всем. Так же полновесно и ярко он воспринимал всю материю вокруг. Он теперь не просто чувствовал прикосновения к коже тончайшего, толщиной с волос, КМИ-провода — теперь он знал все его изгибы, словно сам был током, бегущим по жилам электросхемы, соединяющей его мозг с кортекс-шлемом, а шлем — с компьютером. Избыточно длинный, провод завивался и скручивался у него под затылком, раздуваясь, дыша, блистая и клубясь, как живое рептильное тело. Вода бурлила, как вулканическое озеро на вершине горы. И только он, единственный, пребывал в покое. Как Вишну, первопричина всего сущего, вечный, изначальный — в колыбели воды, на огромном кольце змея Шеши.

— Внимание, — сказал Рыбкин операторам. — Запуск компьютерно-мозговой передачи. Даю логос: Союз-37.

— Принято.

— До запуска двенадцать секунд.

— Погодите, стойте! — всполошился Дурман. — При чем тут Союз-37? Что за хрень, вы уверены, что это правильный логос?

— Восемь секунд. Семь. Шесть. Пять...

— А! Пошло все к черту!

— Подтвердите логос.

— Союз-37.

— Димка! Выходи!

Под алыми веками плывет солнце. В жаркой, вязкой тишине жужжат мухи, ударяясь о стекло. Слышно, как за стеной, на кухне, гномьим шажком топочет бабушка, позвякивает посуда, шипит и стреляет маслом сковорода. Пахнет жареным луком и картошкой.

— Димка-а!

Он медлит, нежась в последнем, ласковом, тающем звуке сна: «мне ничего не надо, мне никого не жаль...». Звук обволакивает, покачивает, как волна, уходит.

Сквозь розетку в стене раздается щелчок, треск перепада тока —

бабушка включает радио.

— Вчера, 23 июля 1980 года, в 21 час 33 минуты по московскому времени с космодрома Байконур стартовал пилотируемый космический корабль «Союз-37». Члены экипажа — командир корабля, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Васильевич Горбатко и герой Социалистической Республики Вьетнам, космонавт-исследователь Фам Туан. Программой полета предусматривается стыковка с орбитальным комплексом «Салют-6» — «Союз-36». Это шестая международная экспедиция по программе «Интеркосмос»...

Он выпрыгивает из постели и, раскинув руки крыльями, несется по комнате: зzzzz! иу-иу! уоооууииии!

— Димка! — орут с улицы пацаны.

Пикирует к распахнутому окну с перекинутой за борт шторой, в складках которой держится запах утюга, жженой пыли и липового цвета. Во дворе — три солнечных макушки.

— Щас! — машет им Димка.

Секунда — и он уже одет, летит по лестнице с первой космической скоростью, перепрыгивая ступеньки.

— Куда! А завтрак? — несется вслед. — Дима, вернись немедленно!

Но он уже хлопает дверью подъезда и вылетает из его темного эха в ослепительное лучезарное утро.

13.11.2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. Письмо	5
2. Луч Правды	8
3. В гостях у сказки	14
4. Белые кляксы	18
5. Молодильное яблоко	23
6. Ветер, намеченный грубой кистью	26
7. Хаканарх	32
8. Смерть на Вихляйке	34
9. Автограф со слезами	39
10. Прозрачный изолятор	43
11. Халиф навек	48
12. Вина	52
13. Мавка	57
14. Сквозняк времени	60
15. «Кошки» Семицветовой	64
16. Бог из машины	68
17. Плоский мир Лидии Аркадьевны	72
18. Пустой оклад	75
19. Ловы и ревы	79
20. Крипта	88
21. Левый груст Весельчука	94
22. Мастерская	98
23. Прекрасная генеральша	103
24. Поцелуй	111
25. Умная буря	115
26. Дьявольский сквозняк	119
27. Новая нога для Ирины Васильковой	124
28. Зарница	128
29. Портной Государя	132
30. Бесцветные	137
31. Китайская шапочка	144
32. Черная невеста	149
33. Сердце Кокурекина	153
34. Праздник Единения	160

35. Мерцающий Глеб	165
36. Рита	169
37. Лебединое озеро	177
38. Ложные светляки	182
39. Тело №1	190
40. Венчание травой	194
41. Следователь Дурман	203
42. Сговор	208
43. Русский дух	212
44. Камень	217
45. Четыре всадника	228
46. Огонь	239
47. Лунная программа	243

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
«Русский Гулливер»

Ирина Батакова

БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СЕРЫЙ
роман

Руководитель проекта Вадим Месяц
Оформление и вёрстка Екатерины Перченковой

www.gulliverus.ru
russian_gulliver@mail.ru

Подписано в печать
Формат 60 x 90 1/16 . Печ. л. 8,5. Тираж 300 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии в АО «Т8 Издательские Технологии»
109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, кор. 5.
Тел.: 8 (499) 322-38-30